

ЗВЕЗДА

ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

1941

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

№ 4

СОДЕРЖАНИЕ

Из постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР о присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области искусства и литературы	3
Праздник советской культуры	5
<i>Илья Эренбург.</i> Стихи: 1. Рассвет в Париже. 2. «Не туманами, что ткали парки...» 3. «Как дерево в большие холода...» 4. «Не раз в те громкие большие годы...» 5. «Белесая, как марья, мгла...» 6. «В лесу деревьев корни ешлетены...»	7
<i>Николай Чуковский.</i> Лето. Роман.	9
<i>Илья Абраменко.</i> Стихи об Ойротии	55
<i>А. Котовщикова.</i> Горный лес. Повесть.	57
<i>Виктор Головин.</i> Мамонтовый зуб. Стихотворение.	149
<i>Г. Блок.</i> Один день. Рассказ.	150
<i>Николай Волков.</i> Парус. Стихотворение.	156
<i>И. Кратт.</i> Тшэка. Рассказ.	157
—	
<i>В. Евгеньев-Максимов.</i> Из прошлых лет	161

БИБЛИОГРАФИЯ

<i>Г. Рыкова.</i> Лев Вайсенберг. «Детство Баджи»	171
<i>Л. Борисов.</i> Александр Беляев. «Звезда Кэп»	172
<i>Л. Борисов, Л. Овалов.</i> «Поездка в Ереван»	173

172/50

<i>С. Полякова. М. Свешников. «Тайны стекла»</i>	174
<i>Н. Николаев-Бергин. «Мордовские поэты»</i>	175
<i>А. Амстердам. Р. Суинглер. «Нет выбора»</i>	176
<hr/>	
<i>Е. Малкина. «Владимир Маяковский»</i>	178
<hr/>	
<i>Вл. Рудман. С. А. Козин. «Джангариада»</i>	180
<hr/>	
<i>И. Березарк. С. Дурьлин. «Айра Олдридж»</i>	182
<i>Э. Голлербах. О. Лясковская. «Карл Брюллов»</i>	183

**ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
О ПРИСУЖДЕНИИ СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ
РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ**

Во исполнение Постановлений Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 20 декабря 1939 г. и 20 декабря 1940 г. о присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области искусства и литературы в период последних 6—7 лет, Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

Присудить Сталинские премии за выдающиеся работы в области:

и. ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ

ПРЕМИИ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ В РАЗМЕРЕ 100.000 РУБЛЕЙ

1. Толстому Алексею Николаевичу, действительному члену Академии Наук СССР, за роман «Петр 1-й».
2. Сергееву-Ценскому Сергею Николаевичу — за роман «Святопольская страда», опубликованный в 1939—1940 гг.
3. Шолохову Михаилу Александровичу, действительному члену Академии Наук СССР, за роман «Тихий Дон», опубликованный в 1940 г.

ПРЕМИИ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ В РАЗМЕРЕ 50.000 РУБЛЕЙ

1. Вирте Николаю Евгеньевичу — за роман «Одиночество», опубликованный в 1935 г.
2. Кначели Леону Михайловичу — за роман «Гвади-Бигва», опубликованный на грузинском языке в 1938 г. и на русском языке в 1939 г.
3. Новикову-Прибою Алексею Силычу — за роман «Цусима», опубликованный в 1935 году (часть II).

к. ПОЭЗИИ

ПРЕМИИ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ В РАЗМЕРЕ 100.000 РУБЛЕЙ

1. Асееву Николаю Николаевичу — за поэму «Маяковский читается», опубликованную в 1940 году.
2. Купале Ивану Домениковичу — за сборник стихов «От сердца», опубликованный в 1940 году.
3. Тычине Павлу Григорьевичу — члену Академии Наук УССР, за сборник стихов «Чувство единой семьи», опубликованный в 1938 году.

ПРЕМИИ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ В РАЗМЕРЕ 50.000 РУБЛЕЙ

1. Джамбулу Джабаеву — народному поэту Казахской ССР, за общеизвестные поэтические произведения.
2. Лебедеву-Кумачу Василию Ивановичу — за тексты к общеизвестным песням.
3. Леонидзе Георгию Николаевичу — за поэму «Детство вождя», опубликованную в 1939 году.
4. Михалкову Сергею Владимировичу — за стихи для детей.
5. Твардовскому Александру Трифоновичу — за поэму «Страна Муравия», опубликованную в 1936 году.

л. ДРАМАТУРГИИ

ПРЕМИИ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ В РАЗМЕРЕ 100.000 РУБЛЕЙ

1. Треневу Константину Андреевичу — за пьесу «Любовь Яровая», поставленную в новой редакции в 1937 году.
2. Корнейчуку Александру Евдокимовичу — за пьесы «Платон Кречет» и «Богдан Хмельницкий», поставленные в 1936 и 1939 гг.
3. Погдину Николаю Федоровичу — за пьесу «Человек с ружьем», поставленную в 1937 году.

ПРЕМИИ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ В РАЗМЕРЕ 50.000 РУБЛЕЙ

1. Вургун Самеду — за пьесу «Вагиф», поставленную в 1939 году.
2. Крапиве Кондрату Кондратьевичу — за пьесу «Кто смеется последним», поставленную в 1939 году.
3. Соловьеву Владимиру Александровичу — за пьесу «Фельдмаршал Кутузов», поставленную в 1940 году.

м. ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ

ПРЕМИИ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ В РАЗМЕРЕ 100.000 РУБЛЕЙ

- Грабарю Игорю Эммануиловичу — заслуженному деятелю искусств, профессору, за книгу «Репин», опубликованную в 1937 году.

ПРАЗДНИК СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Лучшие люди науки, техники и искусства, которых знает, уважает и любит советский народ, получили высокую награду — премии имени великого Сталина. Они награждены за то, что своими творческими дерзаниями, талантом и упорным трудом обогатили социалистическую культуру, двигают ее вперед. Список лауреатов Сталинской премии, список их выдающихся работ — это внушительная демонстрация грандиозных побед культурной революции, яркое свидетельство мощи советского строя, оплодотворяющей силы социализма.

Постановления Совета Народных Комиссаров СССР о присуждении Сталинских премий — документ огромного исторического значения.

Вспомним, сколько злопыхательских предсказаний о якобы неизбежном поражении большевиков источали всевозможные враги пролетарской революции. Сколько было произнесено ими ядовитых слов о культурной отсталости России, которая приведет к краху попытку построить социалистическое государство. Ленин, отвечая всем этим кликушам, писал:

«Для создания социализма, — говорите вы, — требуется цивилизованность. Очень хорошо. Ну, а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки цивилизованности у себя, как изгнание помещиков и изгнание российских капиталистов, а потом уже начать движение к социализму?»¹

И еще:

«Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры (хотя никто не может сказать, каков этот определенный «уровень культуры»), то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти

и советского строя, двинуться догонять другие народы».¹

Прошло немного лет, и весь мир мог убедиться в правоте ленинских слов. Революционное завоевание пролетариатом государственной власти, материальное и духовное раскрепощение трудящихся, политические и экономические основы советского строя — вот предпосылки, которые обеспечили подлинную культурную революцию в нашей стране. Именно на этой основе Советский Союз достиг таких колоссальных успехов и в области народного хозяйства и в области науки и искусства. Теперь наше молодое государство во многих отношениях не только догоняет наиболее развитые капиталистические страны, но и обогнало их. В то время как в мире капитализма наблюдается гниение, упадок культуры, у нас наука и искусство расцветают с каждым годом все пышнее. И перспективы этого расцвета беспредельны. Они обеспечиваются социалистическими условиями жизни, талантливостью советского народа, тем, что ведет нашу страну партия Ленина—Сталина.

Присуждение Сталинских премий явилось радостным праздником не только для советской интеллигенции, но и для всего советского народа. Страна награждает и чествует передовых работников культурного фронта, чье патриотическое служение своей родине, своему народу дало выдающиеся результаты.

Эти результаты признаны и за советским искусством, за советской литературой. Имена писателей, создавших большие идейно-художественные ценности, написавших выдающиеся произведения о родине, о жизни и борьбе народа, значатся в числе лауреатов Сталинской премии.

Среди них мы видим людей разных возрастов, разного литературного стажа. Здесь — такие крупные мастера с много-

¹ Ленин — «О нашей революции». Соч., т. XXVII, стр. 401.

¹ Там же, стр. 400.

летним стажем, как А. Н. Толстой и С. Н. Сергеев-Ценский; своим талантом они выдвинулись еще до революции, но только после Октября, только в советской действительности по-настоящему обрели себя, вышли на широкие просторы творчества. Рядом с ними — Михаил Шолохов, начавший свою литературную работу в 1923 году, замечательный художник, возвращенный социалистической революцией. И дальше — Н. Вирта, представитель еще более молодых писательских кадров, которому присуждена Сталинская премия за его первое произведение.

Тут нашла свое отражение одна общая весьма важная черта нашей действительности — сочетание, единство старых и молодых кадров.

И другое великолепное качество советского общества отражает состав лауреатов. Это — великое содружество трудящихся всех национальностей. Среди писателей, получивших Сталинские премии, мы находим наряду с русскими прозаиками, поэтами и драматургами — поэта Белоруссии Купалу, поэта Украины Тычину, украинского драматурга Корнейчука, грузинского поэта Леонидзе, азербайджанского драматурга Вургуну, народного певца Казахстана Джамбула и других.

Радость и счастье переживают творцы многонационального социалистического искусства.

«Могу ли я выразить чувство свое, когда я услышал о присуждении мне Сталинской премии? — говорит Павло Тычина. — Еще и весна не успела раскрыть над нами свои крылья, а в душе моей уже звенят и заливаются жаворонки под небом высоким!..»

Высокая награда вливает в меня новые силы для творчества. Я рад за всех, кто получил Сталинскую премию; рад за науку нашу, литературу, искусство; рад за себя. И сами собой выливаются из души слова благодарности за такую большую заботу о всех нас — советскому правительству, коммунистической партии, мудрому, направляющему строительство жизни нашей — великому Сталину».

Эти слова красочно и точно характеризуют чувства и выражают свойства советских людей.

Радость и гордость, вызванные успехами, не приводят советского человека к самоуспокоенности, зазнайству. Наоборот, они рождают страстное желание творить

еще более замечательные ценности во славу родины, на благо народа. Справедливо сказал композитор Шостакович: «Сталинская премия — это не только почетная награда, но в то же время — акт большого доверия. Это доверие я обязан оправдать своими будущими произведениями».

Большие достижения советского искусства, советской литературы бесспорны. Но, празднуя свои победы, мы не можем и не должны забывать о наших недостатках, о наших слабых местах. Мы, в частности, не можем забыть, что литературная критика все еще находится в неудовлетворительном состоянии. Необходимо решительно выправить положение на этом участке. Литературная критика должна преодолеть те недостатки и выполнить те задачи, о которых сказано в известном постановлении ЦК ВКП(б).

У нас еще слишком мало появляется произведений на актуальные современные темы, произведений, показывающих дела и людей нашей сегодняшней героической действительности. Сюда должно быть направлено усиленное внимание писателей, критиков, всей литературной общественности.

«Сталинские премии показали, что наш народ в особенности ценит ту работу, которая направлена непосредственно на помощь государству, на воспитание в народе патриотических чувств, на те темы, которые связаны с нашей героической современностью», — писала «Правда».

Эти слова являются призывом и руководящим указанием для советской литературы.

В продолжающемся творческом соревновании художественные произведения, посвященные героике наших дней, должны занять почетное место.

По постановлению правительства Сталинские премии будут присуждаться ежегодно. Это — мощный стимул для дальнейшего творческого подъема. Создать произведение, достойное премии имени вождя народов, — об этом счастье должен мечтать каждый литератор, к этому он должен стремиться. А это значит работать так, чтобы иметь право повторить прекрасные слова Маяковского:

...я
народа водитель
и одновременно —
народный слуга...

Илья Эренбург

РАССВЕТ В ПАРИЖЕ

(1938)

* * *

Ногти, ночи цвета крови,
Синью выведены брови,
Пахнет мускусом крысиным,
Гиацинтом и бензином,
Носит счастье на подносах,
Жадно роется в отбросах,
Ищет утро, ищет небо,
Ищет корку злого хлеба.
В этот час пусты террасы,
Спят сыры и ананасы,
Спят дрозды и лимузины,
Не проснулись магазины.
Этот час — четвертый, пятый
Будет чудом и расплатой,
Небо станет, как живое,
Закричит оно о бое.
Будет нежен, будет жаден
Разговор железных градин,
Город, где мы умираем,
Станет горем, станет раем.

Не туманами, что ткали парки,
И не парами в зеленом парке,
Не длиной, а он длиннее сплина,
Не трезубцем моря властелина,
Город тот мне новым горем дорог.
По ночам я вижу черный город,
Горе там сосчитано на тонны,
В нежной сырости сирены стонут,
Падают дома, и день печален
Средь больших уродливых развалин.
Но живые из щелей выходят,
Говорят, встречаясь, о погоде,
Убирают с тротуаров мусор,
Покупают зеркальце и бусы.
Ткут и ткут свои туманы парки,
Зелены загадочные парки,
И еще длинней печали версты,
И людей еще темней упорство.

* * *

Как дерево в большие холода,
Ольха иль вяз, когда реки вода
Упала в обморок и ходит вьюга,
Как дерево обманутого юга,
Что, к майскому готовясь торжеству,
Придумывает сквозь снега листву,
Зовет малиновок и в смертной муке
Иззябшие заламывает руки,
Ты в эту зиму с ветром говоришь,
Расщепленный, как старый вяз,
Париж.

1941

* * *

Не раз в те громкие больные годы,
Под шум войны, средь нищенства
природы,
Узнав долготерпенье человека,
Огни ракет и затемнение века,
Я перечитывал стихи Ронсара,
И естество полуденного дара,
Игра любви, печали легкой тайна,
Слова, рожденные как бы случайно.
Законы строгие бездумной речи
Пугали мир ущерба и увечий.
Как это просто все! Как недоступно!
Любимая, дышать и то преступно.

* * *

Белесая, как марля, мгла
Скрывает мира очертанье,
И не растрогает стекла
Мое убогое дыханье.
Изобразил на нем мороз,
Чтоб сердцу биться не хотелось.
Корзины вымышленных роз
И пальм былых окаменелость.
Язык безжизненный зимы,
И тайны памяти лоскутной.
Так перед смертью видим мы
Знакомый мир, большой и смутный.

* * *

В лесу деревьев корни сплетены,
Им снятся те же медленные сны,
Они поют в одном согласном хоре —
Зеленый сон, земли живое море.
Но и в лесу забыть я не могу:
Чужой реки на мутном берегу,
Как перст один, непримирим и
страстен,
С ветрами говорит высокий ясень.
На небе четок каждый редкий лист.
Как одиночество, твой голос чист!

Николай Чуковский

ЛЕТО

РОМАН

(Окончание)

Глава одиннадцатая

САМАРА

34

Самару ждали с нетерпением, уставали ждать, забывали о ней, снова ждали, снова забывали и, наконец, добрались до нее совершенно неожиданно.

День был жаркий невыносимо; за все плавание ни разу еще не видали такой жары. Солнце валяло с ног. Ветер дул душный, горячий. Воздух был бурным от раскаленной пыли. И в этой жаре, в этой бурой пыли, под этим обжигающим ветром на огромной грязной пристани произошла встреча приехавших женщин с самарцами.

Тут были и медные трубы, и знамена, и делегации, и речи. Но в духоте и суматохе трудно было что-нибудь разобрать. Женщины собирали и связывали свои мешки, платки, чайники; толпились на палубах, жались к сходням, торопясь покинуть баржи; на пристани переключались, теряя друг дружку в переполохе; за пристанью на берегу, отыскав водопроводный кран, устремились к нему все разом: толкались, брызгались, бранились, смеялись, пили воду из горстей. К незнакомым самарским ораторам, беспрестанно стирившим испарицу со своих лбов и щек, прислушивались кое-как, в пол-уха, стараясь только угадать, куда теперь поведут.

Впрочем, одного из самарцев все же запомнили, потому что он суегнулся больше других. Коротенький, молоденький, одет он был так, как тогда одевались многие:

посмотришь на него снизу — военный (высокие сапоги, галифе с кожей на заду), посмотришь на него сверху — штатский (серая толстовочка с расстегнутым воротом и карандаш, торчащий из кармашка). Лицо у него тоже было самое обыкновенное — безбровое, с бесцветными глазками, которые все что-то щурились и как будто подмигивали, с желтыми усишками, с желтыми волосами, гладко причесанными, примасленными, ярко блестящими на солнце.

Звали его товарищ Козин. Некоторые видели его еще в Ярославле, куда он приезжал представителем самарских организаций. Здесь, на самарской пристани, сразу бросалось в глаза, что все дело встречи ткачих поручено именно ему. Он распоряжался оркестром, делегациями, он заставил ткачих построиться в колонну, загоняя их в ряды, — командовал ими так, как даже Звягин не посмел бы командовать, — он определял порядок выступлений ораторов. В числе прочих он и сам произнес небольшую приветственную речь. И его, пожалуй, выслушали даже внимательнее, чем других, потому что в речи своей он назвал несколько имен.

Он назвал Устинью Горячову и Звягина. Про Устинью он сказал, что ее заслуги очень велики. Про Звягина он сказал гораздо больше. Он сказал, что Звягин сам изобрел этот поход за погибающим хлебом, что Звягин убедил ярославских работниц, что Звягин достал буксир и две баржи, что Звягин связался с Самарой. Он назвал Звягина настоящим предводителем рабочего класса. Звягин

слушал его с насупленным, угрюмым лицом, поминутно стаскивая с головы фуражку и вытирая платком лысину.

Однако в Самаре Звягин больше не был предводителем. Ему нечего было делать — всё делал за него товарищ Козин. Построив женщин в колонну, распорядившись, кому нести знамена, товарищ Козин повел их через весь город туда, где им предстояло жить до отъезда на поля.

Солнце висело на самой верхушке неба, и на улицах не было ни одной тени. Почти все женщины шли босиком и, обжигаясь, приплясывали на раскаленных камнях мостовой. Пыль набивалась в глаза, в рот, в ноздри. Самара предстала пред ними огромным адом, полным горячей известки, булыжного грохота, пламени, грязи. Обесиленные, распаренные, добрались они, наконец, до какого-то длинного, каменного, двухэтажного здания с разбитыми окнами. Возле этого здания товарищ Козин приказал колодце остановиться. Здесь им предстояло жить.

За последние годы этот несчастный дом, вероятно, не раз занимали под казармы, под канцелярии, под склады. Внутри все двери были сорваны с петель и, должно быть, сожжены; ни одна комната не запиралась, гуляй где угодно. Даже многие половицы были сорваны с полов, — тоже, наверно, для отопления, — и, шагая по полу, приходилось прыгать через черные ямы. Обои, потерявшие от грязи цвет, висели лохмотьями. На стенах были следы пуль — здесь не то сражались, не то упражнялись в стрельбе. Никакой мебели во всем доме, ни стола, ни стула. Черная от копоти паутина свисала с потолков. Сквозь выбитые стекла окон в дом врвалось множество душных сквозняков, несущих ту горячую, бурую пыль, которая крутилась над улицами города.

Этот дом отвели для жилья ткачихам, и они расположились в нем огромным табором. Заняв оба этажа, — все лестницы, комнаты, коридоры, — они разлеглись на полах, как лежали на палубах барж. На дворе возле пожарных кранов полоскали белье. Сушили его, протянув в комнатах веревки. Перекликались, смеялись, пели. Часами смотрели на улицу, облепив все подоконники.

Дом этот, по правде сказать, никому не понравился. Не понравилась и Самара.

Грустили по баржам, по изменчивым волжским берегам, по небу, по вольному житью на реке, к которому успели привыкнуть. Больше всего не понравилась задержка. Хотелось скорее ехать в степь.

— Когда поедет? — со всех сторон спрашивали товарища Козина, пробегавшего мимо по коридорам.

— В свое время, в свое время, — отвечал он бойким тенорком.

Товарищ Козин то исчезал, то появлялся вновь, всегда на бегу, всегда торопясь. Сначала он бегал добывать для женщин хлеб и добыл его много — привезли на трех возах. Потом достал для всех талоны в какую-то столовую, куда пускали зараз не больше сорока человек; многим пришлось ждать обеда до темноты, но зато накормили хорошо: суп с воблой, а на второе — овсяная каша. Впрочем, такая еда в Самаре была не в диковинку.

Глядя на хлопоты и беготню товарища Козина, Звягин все порывался помочь ему, побегать вместе с ним. Но Козин не брал его с собой. Только на другой день он предложил Звягину:

— Пойдем добывать поезд!

Сказал он это в комнате, переполненной людьми, сказал громко. Все слышали его слова и заволновались. Долговязый Виктор Иванов, стоявший у стены, нерешительно подошел к обоим мужчинам и спросил неуверенным голосом, не возьмут ли они и его с собой.

Звягин, возможно, и взял бы его, но Козин, холодно оглядев Виктора снизу вверх, сказал:

— Нам тебя не нужно.

И Виктор, сутулясь и неуклюже ступая, отошел обратно к стене.

Выйдя вместе со Звягиным на жаркую самарскую улицу, Козин проговорил:

— Я тебя нарочно в речи помянул. Понимаешь?

— Не понимаю, — сказал Звягин.

— А вот этот носатый из Москвы...

— Ну и что?

— А вот то, что его специально прислали, чтобы ему потом вся честь досталась. Понимаешь?

Звягин не сказал ничего. Козин сбоку, исподтишка, посмотрел на него. Лицо Звягина было угрюмо: он, видимо, размышлял. Козин, удовлетворенный, отвернулся.

Вся Самара была в тифу.

На вокзале, среди огромной толпы ожидающих, каждый день находили всё новые трупы. Мертвых некому было убирать, и они так и лежали по нескольку суток на вокзальном полу, среди мешков и спящих. Соседи раздевали их догола и снятую с трупов одежду продавали на базаре.

Трупы находили на улицах, на пустырях, в разрушенных зданиях, в скверах, в подъездах. Для борьбы с эпидемией создана была тройка; эта тройка получила чрезвычайные полномочия. Ей предоставлено было право конфисковать любое имущество, мобилизовать людей и лошадей в любых размерах, принимать против лиц, не выполнявших ее распоряжения, любые меры, вплоть до расстрела.

Тройка взялась за работу. Весь медицинский персонал был мобилизован на борьбу с тифом. Во всех лучших помещениях города были устроены тифозные бараки. Домохозяйева, под угрозой расстрела, должны были ежедневно сообщать в тройку обо всех заболевших. Выздоровливающим от тифа стали выдавать по полфунта варенья в неделю на человека. Доктора Филатова и доктора Левина, в бараках которых были обнаружены хищения продуктов, грязь и слишком большая смертность, по указанию тройки, арестовала ВЧК. Однако, ввиду отчаянной нехватки врачей, они были почти сразу выпущены, с указанием, что, если, благодаря их усилиям, эпидемия пойдет на убыль, они будут помилованы. Доктор Левин и доктор Филатов продолжали работать в бараках, но все еще не были уверены в своей судьбе, так как эпидемия пока не уменьшалась.

И, естественно, в Самаре никто не удивился и не встревожился, когда оказалось, что на баржах, прибывших из Ярославля, находится семь больных женщин и одна мертвая. Благодаря замечательной расторопности товарища Козина, больных удалось немедленно отправить в барак, а мертвую — в покойницкую.

Ничего удивительного не было и в том, что за три дня пребывания ярославских ткачих в Самаре среди них заболело одиннадцать человек. Вши ползали по полам и стенам того здания, где поместили ткачих; вши сыпались на них с по-

толка. Тут были, вероятно, и вши, которых они привезли с собой, и местные, оставленные им в наследство полками, ночевавшими в этом здании до них.

При всей своей расторопности товарищ Козин против вшей был совершенно бессилен, потому что в Самаре не было ни одного куска мыла и из-за отсутствия топлива не работали ни одна баня, ни одна прачечная. Но зато огромные связи давали Козину возможность устраивать заболевших в барак вне всякой очереди. Больных женщин, чуть только их обнаруживали, увозили, и Викторю с Тасей и Шишей нечего было делать.

Лишенные возможности спрятаться в трюм, они жили теперь вместе со всеми на полу большой, грязной, ободранной комнаты во втором этаже. Викторю и Тасю привела в эту комнату Шиша. Она выбрала ее потому, что здесь были только молодые. Старух Шиша сторонила.

Они втроем сели в угол и сразу почувствовали, что на них глядят со всех концов. Одни разглядывали их исподтишка, смущаясь и скрываясь, другие — совершенно открыто. Виктор, чувствуя, что на него смотрят, обливался потом, Шиша хмурилась.

Впрочем, Шишу разглядывали без всякой враждебности. Напротив, в устремленных на нее взглядах было не только любопытство, но и почтение: ведь она заботилась о больных и оставалась с ними до самой их смерти. Очень многие ткачихи помоложе улыбались ей приветливо и дружелюбно, и Шиша, возможно, не осталась к их улыбкам равнодушна, хотя и не подавала вида.

Наконец, Верка-рыжая попросила ее:

— Ты бы спела!

И сейчас же отовсюду закричали:

— Спой! Спой!

— Жарко, — ответила Шиша хрипло.

Петь она отказалась, но разговор между нею и ткачихами, завязавшись, уже не прекращался ни на минуту. Это был в высшей степени вежливый разговор о всяких посторонних вещах: о том, что в Самаре летом жарче, чем в Ярославле, а зимой, говорят, холоднее, о том, какие морозы бывают на Урале (Шиша две последние зимы прожила в Перми, а одна ткачиха была родом из Екатеринбургской губернии), о том, что от кислого зубу чернеют, о том, как квасить капусту (Шиша, оказывается, тоже умела квасить

капусту). Шиша не только не разу не произнесла ни одного скверного слова, но изо всех сил старалась, чтобы разговор получился как можно приличнее. Это был очень приличный, вежливый разговор, доставлявший всем участникам удовольствие именно тем, что он такой приличный и вежливый.

После этого разговора Шиша отошла в угол и сняла тихонько свои огромные серьги. Она больше не хотела носить их. Без серег лицо ее стало проще, обыкновеннее и даже добрее.

Спустя несколько часов Шиша настолько сошла со своими новыми соседками, что разгуливала с ними по всему зданию (избегая впрочем той комнаты, где сидела Варвара Петровна). Глаза Шиши возбужденно блестели.

Когда стемнело и стало чуть-чуть прохладнее, она согласилась, наконец, спеть свою песню про страдания дочери начальника станции. Она запела, сидя рядом с девчонками на подоконнике раскрытого окна. Голос ее, грудной и хриповатый, всем очень нравился. Девчонки малопомалу стали робко подпевать ей тоненькими-тоненькими голосками. Все окна были раскрыты настежь, и песню Шиши слушали во всем доме.

Глава двенадцатая В СТЕПИ

36

Добывая для ткачич поезд, товарищ Козин наглядно показал Звягину, какой он деятельный и энергичный человек, какие у него в Самаре высокие связи, какие влиятельные и могущественные люди знают его и считаются с ним. Прежде чем обратиться к железнодорожному начальству, он повел Звягина по различным гражданским и военным учреждениям, всюду прося содействия и всюду получая мандаты, рекомендации, удостоверения. Почти каждый работник, к которому они обращались, еще совсем недавно, по его словам, находился у него в подчинении.

— Они все подо мной ходили, — говорил он Звягину. — Всё, бывало, спрашивали: «Что прикажешь, товарищ Козин? Какое твое мнение, товарищ Козин?» Это только теперь они в люди вышли. Настоящих-то людей, которые революцию

делали, обошли, позадвинули. Ну, мы не жалуемся, наше от нас не уйдет.

Случалось, что он вдруг останавливался перед дверью и посылал Звягина одного:

— Ты пойдй, поговори с ним, а я тут подожду.

Но по большей части его встречали как старого знакомого, как совсем своего человека и старались исполнить все, что он просил. Один крупный продовольственный работник сказал Звягину:

— Держись Козина! Он в казачьих станциях все ходы и выходы знает. Он сам казак.

— Ты разве казак? — спросил Козина Звягин.

— Ну, какой я казак! — сказал Козин и засмеялся. — Папаша мой был из казачков.

Набрав целый ворох бумажек, двинулись они в железнодорожные организации. Там уже знали о них и хотели им помочь. Но на первых порах оказалось, что нет ни порожнего состава, ни свободного паровоза. Все это нужно было добыть.

Козин и Звягин день и ночь провели на путях без сна и без еды. Сами разыскивали в разных концах вагоны, дежурили возле этих вагонов, чтобы их никто не увел, следили за маневрами, сговаривались с машинистами. И через сутки у них на дальнем, зеленом от ржавчины пути был готов состав из четырнадцати товарных вагонов, а перед составом пытел чахлый паровоз, выпуская жидкие струйки пара.

Женщины опять построились в колонну и двинулись по душным самарским улицам к вокзалу, таща мешки, чайники, знамена. Самое большое знамя с надписью «Ни одного фунта хлеба разбойникам капитала» несли впереди всех Маня Борисова и Шиша.

Трудно сказать, каким образом древко знамени очутилось в руках у Шиши. Вряд ли кто-нибудь нарочно, с заранее обдуманым намерением вручил ей знамя. Вероятнее всего, она просто подвернулась случайно. Но, получив знамя, она уже больше его не выпускала из рук. Маню Борисову сменила другая девчонка, ту — еще одна, а Шиша, с сосредоточенным, строгим лицом, все несла да несла свое древко. Когда какая-нибудь женщина подходила к Шише, чтобы сменить, Шиша, ни слова не говоря, отталкивала ее плечом. Так до-

несла она знамя почти до самого вокзала.

Недалеко от вокзала к ней подошла Устинья Горячова и взялась обеими руками за древко. Шиша, не глядя, и ее гихнула плечом, но Устинья рук не убрала. Шиша взглянула на нее и отступилась от знамени. С Устиньей спорить она не осмелилась.

На площади перед вокзалом и на вокзале стояли, сидели, лежали десятки тысяч человек. Плакали дети, пели слепцы, бредили больные, бабы спали на голых камнях, мужики пили воду из ржавого бака, черпая ее казенной кружкой, висевшей на цепи; дно кружки было пробито гвоздем, чтобы не украли, и тонкая струйка воды бежала по черным и рыжим бородам. У всех были мешки. Бабы прятали мешки под подолаы, мужчины заслоняли их спинами. Вся эта толпа жила здесь неделями в ожидании поездов. Но поездов почти не было, а те редкие эшелоны, которые иногда проходили через самарский узел, везли либо хлеб из степей в центр страны, либо красноармейцев из центра в оренбургские степи.

Когда, шагая через рельсы, ткачихи увидели, наконец, свой поезд, он был осажден толпой. Люди окружали вагоны со всех сторон, лезли в раскрытые двери. Их обороняли вооруженные винтовками молодцы из железнодорожной охраны.

Один из вагонов защищал сам товарищ Козин. Стоя в дверях вагона, он отпихивал мешочников сапогами и прикладом, а они хватали его за начищенные сапоги с высокими каблуками и норовили стащить вниз, и несколько раз это им удавалось.

Ткачихи прорвались к поезду, опрокидывая всех, кто стоял на пути, шагая по мешкам. Подсаживая друг дружку, набились в вагоны. Кой-где под нарами (в вагонах были нары) обнаружили мешочников, пробравшихся туда, несмотря на вооруженную охрану. Их шумно выволакивали из-под нар, ухватив за что придется, выкидывали из вагона и швыряли им вслед мешки.

Наконец, все кое-как разлеглись и расцелись по нарам, и поезд после долгого ожидания, после бесконечных гудков, свистков, толчков, рывков, пыхтений двинулся. Он шел еле-еле, так медленно, что можно было выскочить на ходу и итти рядом с вагоном, нисколько не отставая.

Многие надеялись, что со временем он ускорит свой бег, разойдется, но время шло — а поезд тащился попрежнему.

Грязные окраины Самары тянулись бесконечно. Когда домишки, наконец, остались позади, началось кладбище паровозов.

Десятки огромных, черных чудовищ валялись под насыпью. Сквозь их вывороченные, разбитые внутренности проросла седая степная трава.

Когда кладбище паровозов кончилось, началось кладбище вагонов. Оно было еще громаднее. Тут были вагоны самые разные: и платформы, и товарные, и пассажирские, и даже мягкие первого класса, выкрашенные в синий цвет. От одних остались лишь груды покалеченных досок, у других сохранились в целости даже стекла. Одни лежали набок, другие — вверх колесами, третьи стояли дыбом, а некоторые торчали в таких странных положениях, что все только диву давались, как их могло этак расшвырять. Многие, напротив, стояли на всех своих четырех колесах; казалось, поставь их на рельсы — и они пойдут. Такие вагоны, видимо, теперь служили для жилья; возле них висели веревки, на которых сушилось какое-то тряпье. Впрочем, сказать с уверенностью, что там живут, было трудно: торчат из иного разбитого вагона чьи-то босые ноги, а кто их знает, живые это ноги или ноги трупя.

Наконец и вагонное кладбище осталось позади, и кругом раскинулась пустынная степь, заросшая жесткой, сухой, пахучей травой. Солнце нагрело крыши вагонов, в поезде стало душно, и все приоткрылось. Знойный воздух дрожал над степью.

Паровоз останавливался перед каждой стрелкой, перед каждым мостом, semaфором, подъемом, и всюду стоял чуть ли не го часу. Если неподалеку находился какой-нибудь овражек, на дне которого трава казалась зеленее, девочки выскакивали из вагонов, сбегали вниз, искали воду. Но воды в степи не было. Разочарованные, они рассаживались по обочинам железнодорожной насыпи, скрываясь от солнца в короткой тени, отбрасываемой вагонами, и ждали гудка. После гудка карабкались в вагоны. Многие вставали с травы только тогда, когда поезд уже трогался; шли с ним рядом и влезали в вагоны на ходу.

Вечером, в седьмом часу, когда солнце уже опускалось, они впервые увидели верблюда. Облезлый и тощий, с повисшим набок горбом, он стоял возле самых рельс. Когда поезд подошел к нему, он даже шагу не ступил, чтобы отойти в сторону. Поезд прогремел мимо него на расстоянии полуаршина, и маленькая голова на длинной шее заглянула попеременно в раскрытые двери каждого вагона. И из каждого вагона по очереди вырывался крик удивления и ужаса, и на всех нарах долго еще спорили, что это был за зверь.

После захода солнца стемнело почти сразу. Кузнечики в темной степи гремели так громко, что заглушали ляг колес. Стало прохладнее, и во всех вагонах оживились, повеселели. Перекликались из вагона в вагон. В том вагоне, где ехала Шиша с девчонками, начали петь.

Шиша теперь от девчонок не отходила. С Виктором и Тасей она почти не видалась, те ехали где-то в другом вагоне. Девчонки совсем к ней привыкли и больше не дичились. Они даже чуть-чуть превеличивали свою дружбу с ней, словно хотели кому-то этим досадить. Вместе с ними, обнявшись, сидела она в дверях вагона. Свесив ноги вниз, они пели; их нестройные и шумные голоса неслись к ясным звездам, густо рассыпанным по небу, к зарницам, мигавшим вдали.

Вдруг поезд остановился. Человек с фонарем подошел к их вагону и направил свет прямо им в лица.

— Пойдем! — услышала Шиша голос Звягина.

Шиша сразу все поняла и спрыгнула на землю. Звягин торопливо шел вдоль состава, и она шагала за ним, стараясь не отстать от его качавшегося фонаря.

Опять больные...

Их обнаружили разом в нескольких вагонах. Вокруг фонаря, поставленного на грудь старых шпал, решали, что с ними делать дальше. На этом совещании Шиша разглядела Виктора, старую Борисиху, Устинью Горячову, Звягина, товарища Козина. Товарищ Козин предложил доехать до ближайшей станции и там выгрузить больных, как делали в волжских городах. Но Звягин сказал, что в волжских городах есть доктора и больницы, а на здешних станциях даже воды хорошей нет и оставлять тут больных — все равно что бросать их на верную смерть. Кроме того, из любого волжского города есть

надежда добраться до Ярославля, а отсюда, из степи, попробуй, доберись!

Все согласились со Звягиным. Товарищ Козин тоже как будто согласился, во всяком случае ничего не возразил. Решено было везти больных с собой до Бузулука. Для того чтобы изолировать их от здоровых, Звягин распорядился предоставить им отдельный вагон, самый задний. Всем пришлось потесниться: пассажиров заднего вагона разместили по всему поезду.

И вот в заднем вагоне, за наглухо закрытыми дверьми, над бормочущими в бреду женщинами, при свете того самого фонаря, который недавно озарял трюм баржи, опять встретились Виктор, Тася и Шиша.

Через два часа поезд снова остановился. Была глухая ночь. Весь состав спал. В тифозном вагоне тоже спали.

Вдруг Шиша услышала осторожный стук в дверь. Взяв фонарь в руку, она переступила через спящего Виктора и отодвинула дверь в сторону. За дверью стоял Козин. Он зажмурился от света.

— Выходи! — сказал он ей шопотом. — Пойдем со мной за вагон. Мы тут долго стоять будем.

Она ничего не ответила.

Он протянул руку и взял ее за босую ногу.

— Пойдем, пойдем! — шептал он.

Она с шумом захлопнула дверь, едва не прищемив ему пальцев.

— С ума сошла, — сказал он, оставшись в темноте.

37

На четвертые сутки добрались до Бузулука; привезли девять больных и одну мертвую. Пообедав на вокзале (обедали в несколько смен, ели мясные щи, и всем хватило), поехали дальше, и еще через сутки прибыли на станцию, где нужно было вылезать.

Вокруг станции стояло десятка два домиков, сделанных из глины, смешанной с соломой, и несколько тополей. Все здесь было странно, непохоже на родные места. Но страннее всего было то, что по улице без всякого присмотра бродили куры, и никто не нападал на них, чтобы схватить их, унести и съесть. А когда три пожилые ткачихи постучали в какое-то окошко и попросили воды, на крыльцо вышла хозяйка и вынесла им полведра молока и, когда они

выпили молоко, денег брать не захотела.

— А что ж это нам рассказывали, будто здесь никого не осталось, будто все к белым ушли? — спросила у нее Борисиха.

— То казаки ушли, — ответила хозяйка. — А тут на станции казаков не было.

— А вы кто ж?

— А мы крестьяне.

Через час после приезда был готов обед. В огромный котел зеленой солдатской кухни на колесах насыпали крупы и накрошили баранины. Жирную эту кашу с бараниной ели доотвалу, сколько в кого влезет, а кости швыряли собакам. Тут такая еда, видимо, считалась ни во что: когда некоторые ткачихи подозвали здешних ребятшек и предложили им этой каши, те не стали есть.

Кухней на колесах и всем обедом распоряжался местный продкомиссар Колун, заранее по телеграфу вызванный Козиным на станцию. Пожилой, усатый, толстый, в сером парусиновом пиджаке и в парусиновом картузе с большим козырьком, Колун нисколько не был похож на тех молодых продкомиссаров из рабочих, которых они столько видели в городах на Волге. И вел он себя как-то странно: перед Козиным и Звягиным всё стаскивал с головы картуз и всё кланялся. Козин объяснил это Звягину тем, что товарищу Колуну до недавнего времени пришлось жить под белыми и он еще не приобвык. Впрочем, Козин, кажется, хорошо его знал. Колун как будто считал Козина очень большим начальством и, что бы ему Козин ни сказал, все кланялся и приговаривал:

— Будет сделано. Сейчас... сейчас...

За обедом Звягин объяснил, что отсюда, со станции, отправятся они пешком в станцию Ильинино, которая находится в ста верстах от железной дороги. Решили пораньше лечь спать, чтобы завтра, чуть свет, тронуться в путь. Улеглись едва стемнело: некоторые — на сеновале, большинство — на поляне, под открытым небом.

Ночь была нежданно-холодная, — до странности холодная ночь после такого жаркого дня, — и все обрадовались, когда их подняли, хотя заря только еще занималась и звезды ясно были видны на небе. Оказалось, у Колуна в его кухне на колесах уже готов кипяток. Торопливо напились кипятку, слегка согрелись, пожевали хлеба и, за домишками, построились в ко-

лонну на широкой, вытопанной скотом дороге, уходящей в степь.

Пыль была еще совсем холодной, когда тронулись в путь. Звезды гасли; по просторному небу двигались многоцветные волны света. Восточный край степи горел так ярко, что туда больно было смотреть. Внезапно, как стрелы, брызнули из-за горизонта лучи, и огромное солнце поднялось оттуда, удивительно быстро, на глазах у всех. Тени женщин, шагавших по дороге, пересекли всю степь до другого края неба.

По бокам дороги кое-где торчала колючая щетка стерни. Здесь, возле станции, весь хлеб был уже сжат и обмолочен. Те брошенные, погибающие хлеба, ради которых они, оставив голодных детей, выехали из Ярославля, находились не тут, не вблизи железной дороги: хлеба, всё еще были далеко, где-то там, в глубине степей, возле станции Ильинино и окружающих ее хуторов.

Товарищ Колун несколько дней назад собственными своими глазами видел богатейшую ту пшеницу. Казаков там сейчас нет. А вот далеко ли казаки ушли и не попытаются ли вернуться домой, — этого товарищ Колун не знал. Красная армия, по слухам, загнала их чуть ли не под Актюбинск, но не остались ли некоторые тут и не бродят ли они вокруг станций, прячась по балкам, сказать трудно.

Впрочем, товарища Колуна это, кажется, и не занимало. Он думал только о том, как бы угодить товарищу Козину, и пытался от старания. Нужно сказать, что пользы он своими хлопотами принес немало. Он устроил целый обоз, который сопровождал женщин в пути, — обоз, состоявший из солдатской кухни и пяти возов. Кухню и возы тащили волы, к удивлению ткачих, никогда не видавших, как ездят на волах. Возы нагружены были дорожным скарбом.

Сам Колун ехал на пропыленной таратайке, которую тащила маленькая степная лошаденка. Таратайка трещала как пулемет. Едва они отошли от станции на версту, как он посадил Козина в свою таратайку и сказал Звягину:

— Вы идите шляхом все прямо, а мы поедем тут кругом по хуторам, пошукаем чего-нибудь к обеду.

Таратайка, грохоча, подскакивая, свернула вправо; облако пыли скрыло ее. Это

облако пыли долго еще мчалось по степи и, наконец, исчезло за бугром.

Вся степь была бугристая, и дорога, по которой шли женщины, то взбиралась на пологие спины бугров, то спускалась в ложбины между ними. И с вершины каждого нового бугра они, оглянувшись, видели все те же пять тополей, растущие среди домиков возле станции; только всякий раз тополя эти были чуть-чуть меньше. И казалось, что никуда нельзя уйти от этих тополей, хоть шагай всю жизнь.

Тени бредущих женщин мало-помалу становились все короче. Дорожная пыль нагрелась и жгла пятки. Строй давно уже был нарушен: все старались идти не по дороге, а по обочинам, по узеньким тропкам, которые вились кругом. Становилось все жарче; солнце пекло нестерпимо, и спрячется от него было некуда. Иногда налетал ветер, волнуя ковыль, словно море; но и ветер был душный и не приносил облегчения. Час проходил за часом; солнце подымалось все выше; нагретый воздух дрожал над степью. Женщины поминутно подходили к возу, на котором стоял огромный бак с водой, и пили теплую, мутную воду. Давно уже многие отстали. Отряд растянулся версты на две.

Когда стало казаться, что идти дальше уже невозможно, вдруг где-то сбоку появилось облачко пыли и полетело прямо на них, увеличиваясь. Внутри облака что-то грохотало, тархтело, и, едва пыль рассеялась, все увидели таратайку, в которой сидели товарищи Колун и Козин. У них в ногах лежали четыре бараньих туши; за их спинами сложены были туго набитые мешки.

— Обедать! Обедать! — закричал Колун, приподнявшись и взмахнув рукой.

Таратайка шагом поехала в сторону от дороги, и весь отряд потянулся за нею следом.

Через минуту они уже стояли над глубоким, узким оврагом, на дне которого сквозь ветви ив сверкала черная, жирная грязь. Оттуда повеяло сыростью и прохладой, и все, торопясь, побежали вниз по крутому склону.

Весной в этом овраге тек ручей; но сейчас он пересох и разбился на ряд мелких луж с мутной, зацветшей водой. Однако тут же был глубокий колодец с журавлем. Раскачивая журавель, достали чистой, холодной воды для людей и для волов. Пока Колун, с помощью добровольно вызвав-

шихся хозяек, варил в солдатской кухне кашу с бараниной, все разлеглись под ивами в зыбкой, прозрачной тени листьев.

В рыжих, глинистых стенах оврага жили стрижи; они проносились над головами не трепеща крыльями. Гораздо выше их, в неизмеримой высоте, в сиянии неба, кружил коршун, вычерчивая восьмерки, перепадая с крыла на крыло.

Опустив ноги в липкую грязь, лежа на спине и, сквозь отверстия в листве, глядя на коршуна, женщины начинали дремать. Когда обед был готов, почти всех пришлось расталкивать. Есть не хотелось. Однако ели — еще не пропала голодная привычка съесть все, что дают. Поев, опять начинали дремать. Тень передвигалась и оставляла их на солнцепеке; они в полусне переползали вслед за тенью.

Впрочем, тени давно уже всё росли и росли.

Самое жаркое время дня уже осталось позади. Наконец, все дно оврага оказалось в тени. Тогда начали просыпаться.

Все котлы и чайники наполнили водой. Волы медленно поползли вверх по склону, Женщины потянулись за ними.

Наверху день был еще в самом разгаре, жгло солнце, душный ветер шевелил траву. Но голубизна неба стала нежнее, лучи косее — предчувствовался вечер.

С ближайшего бугра, оглянувшись, они далеко-далеко позади увидели тополя станции. И впервые увидели они другие тополя, так же далеко, но впереди. Это были тополя того хутора, где им предстояло провести ночь. С каждого нового бугра тополя станции казались все меньше и, наконец, совсем пропали; а тополя хутора все увеличивались. И, озаренные спускавшимся солнцем, которое становилось всё огромнее и краснее, через беспредельную степь шли они к этим тополям.

Колун и Козин на таратайке умчались далеко вперед — готовить ночлег. Когда зашло солнце, они уже приближались к хутору. Козин внезапно приказал Колуну остановиться и вылез из таратайки на дорогу.

— Поезжай один! — сказал он ему. — Ты там и без меня справишься.

Колун ничего не спросил. Стегнул лошадь и умчался.

Оставшись один, Козин влез на придорожный бутор и стал ждать приближения женщины.

Темнота уже разливалась по степи, как злага. Под горячим и мрачным закатом степь казалась бушующим морем. Сидя на вершине бугра, Козин даже ноги поджал—чудилось, волны вот-вот плеснут по его сапогам с высокими каблуками.

Он был рад одиночеству. Он мечтал. Перед величавым этим морем думал он о своей величавой грядущей судьбе. Он маленький с виду, неприметный, но он такой человек! Никто еще не знает, какой он человек! Он себе многое может позволить. . .

Сквозь однозвучный треск кузнечиков услышал он вдруг отдаленный шум. Сначала шум этот был как шелест ветра; потом стал громче, явственнее. Женщины, скрытые тьмой, шли по дороге через темную степь. Шум их движения ширился, нарастая. Мало-помалу в общем этом шуме Козин стал различать мягкий топот их шагов, шорох их юбок, их дыхание. Вот они, наконец, прямо под ним. Он не видел их, но он чувствовал, как они там, у подножья холма, движутся с неуклонностью и силой.

Перед этой силой он испытывал некоторую робость. Но он побеждал свою робость радостной мыслью, что он сам привел эту силу сюда, хотя никто про то не знает. Ему повинуется эта сила и сделает то, что ему будет нужно.

Не торопясь, он сошел с холма и остановился у края дороги. Они проходили мимо него так близко, что он мог бы дотронувшись до каждой, протянув руку, — и не замечали его. Но он зорко вглядывался в них и многих узнавал: то по росту, то по белому платку, то по походке. Вот плавно и бесшумно прокатилась Устинья Горячова. Вот, крупно шагая, раскачиваясь, прошел Виктор Иванов, — его не трудно узнать, он выше всех. Козин насторожился. Она где-то тут, близко. Он напряженно вглядывался. Нет, возле Виктора ее не видно. Но вот идут девочки, тесно, густо, точно лапша. Она тут, тут!

Он безошибочно угадал в темноте Шишу и схватил ее за руку. Не вскрикнув, не произнеся ни звука, она стала выворачиваться, стараясь освободиться. Однако он держал ее крепко и, вытаскивая из толпы, тянул за собой прочь от дороги. Они молча боролись; он чувствовал ее дыхание у

себя на щеках. Вдруг она нагнулась и укусила его за палец.

Растерявшись от боли, он выпустил ее. И она сразу пропала в темноте. Охваченный яростью, он кинулся за нею. Но сейчас же ударился боком о край телеги. Он шопотом выругался. Медленно ползущая телега преградила ему путь.

Он стал уже обходить телегу, как вдруг над самым его ухом кто-то почти беззвучно произнес:

— Вася!

— Это вы, тетечка? — спросил он шопотом.

Варвара Петровна ехала на возу, свесив длинные свои ноги, и он находился как раз возле ее колен. Ей позволили, из уважения к ее возрасту, ехать, а не итти, и она почти всю дорогу ехала. Еще какие-то старухи сидели на возу, тряслись в темноте и дремали.

— Тише! — прошептала Варвара Петровна. — Крупные тут звезды, ровно горох. Я здешние звезды помню, хотя и маленькая была. Погоди, погоди, куда это ты торопишься? — сказала она, заметив, что Козин хочет уйти. — Мне на тебя все издали глядеть приходится. Не уходи.

— Увидят, — прошептал Козин. — Я пойду.

— Не увидят. Если тихо будешь, никто не увидит. Эти не в счет, — кивнула она в сторону старух. — Спят всю дорогу.

— А он ни о чем не догадывается? — спросил Козин.

— Данила? Нет. Он всегда недогадливый был. Всегда себя умным считал, а такой простой, что я, бывало, даже смеялась. Да и с чего б ему догадаться.

— А не спрашивал, не родственники ли мы с тобой?

— Вот еще! Мало ли Козиных на свете! — сказала Варвара Петровна. — Он тебя никогда прежде не видел. Он уже один жил, когда я тебя от брата выписала. Я им всем всегда говорила, что у меня родственников никого нет.

— Кому всем?

— Своим сиротам.

— Смотрите, тетечка, чтобы он ни о чем не догадался! — сказал Козин настойчиво. — Я вас взял только потому, что на вас во всем полагаюсь. Здесь такие места! Здесь в такое время такому человеку, как я, такое счастье привалить может!

Он замолчал и задумался.

Но вдруг вспомнил и заторопился, побежал.

— Пстой, погоди! — опять остановила она его.

— Я ведь знаю, за кем ты бежишь. Дурак ты, за такой швалью бегаешь, тьфу!

Он остановился. Как это она пронюхала?

— Я ведь тебя знаю, я ведь тебя издали по глазам угадываю, — продолжала она. — Брось ты с нею путаться! Я тебя в чистоте воспитывала, а ты такой грязью не брезгуешь. Тебе жениться надо. Я тебе хорошую невесту подыскала.

— Обойдусь и без вашей невесты, — сказал Козин.

Однако, видимо, его любопытство было задело.

— Узнаешь — не обойдешься, — сказала Варвара Петровна.

— А кто такая?

— Данилы племянница.

Где-то впереди два-три звонких девичьих голоса запели: «Это есть наш последний и решительный бой». Закат давно потух, звездное небо было удивительно просторно и высоко. К поющим присоединялись все новые и новые голоса. Темнота скрывала всех, никого не было видно, но по голосам женщины знали, как их много. Казалось, вся степь от края до края двигалась и торжественно пела чистыми, высокими голосами.

Глава тринадцатая

СТАНИЦА

39

До станицы Ильинино шли трое суток, останавливаясь на отдых либо в редких хуторах, либо просто табором в степи. Хутора здесь были большие, по многу домов — целые деревни, а не хутора; случалось, даже с церквями. Все хутора стояли пустыми. В некоторых домах даже двери настежь: заходи кто хочет. Ни людей, ни собак. Иногда, впрочем, на стук вылезала какая-нибудь полуслепая старуха.

— Ты что, бабушка, — хозяйка?

— Нет, не хозяйка.

— Сторожить, что ли, оставлена?

— Да так... помаленьку...

— А где ж хозяева?

— Не знаю.

И уйдет, спрячется за печку, чтобы поменьше разговаривать.

Чем дальше отходили они от железной дороги, тем чаще видели возле хуторов нежатую пшеницу. А еще больше пшеницы было сжатой, но необмолоченной, стоявшей в снопах посреди полей.

Женщины дивились такому богатству, брошенному и никем не подобранному. И чем дальше они шли, тем сильнее им приходилось дивиться. А уж самое Ильинино удивило их больше всего.

Станица Ильинино была велика — на севере не во всяком уездном городе столько построек и улиц. Большая церковь с золотым куполом, каменный дом священника, лавки, базар, множество белых домиков с тополями. И все это точно на дно моря опущено, точно потонуло, — такое безлюдье...

Одичалые собаки бродили по пыльным улицам. Индейки и куры, сбегавшие с опустелых дворов, жили в бурьянах, несли там яйца, высиживали цыплят. Гуси и утки — белые, сизые, серые, — переселились на речку, гоготали там, плавали, крякали и никогда не возвращались домой. Волы паслись в неубранной пшенице и уныло мычали, тяготясь своей свободой, тоскуя по ярму, по хлеву. Перезрелые арбузы и дыни трескались на баштанах. Верблюды одиноко паслись на вершинах окрестных бугров. Не было здесь только лошадей. — казаки, уходя, увели их с собой.

Женщины вступили в станицу к концу дня, перед закатом, и Колун повел их ужинать и ночевать на двор попава дома. У сбегавшего попа в доме была обширная кухня, а во дворе — баня. Поужинав, разлеглись кто где, прислушиваясь к пенью сверчков, которые неистовствовали в стенах еще оглушительнее, чем кузнечики в степи. Старались поскорее заснуть, чтобы поскорее проснуться и принять во владение богатства этой дальней земли, до которой так долго и так трудно шли, ехали, глыли.

На утро выяснилось, что в станице все-таки кое-кто остался. Горсточка людей из числа самых беспомощных и бездоленных. Было тут несколько безруких и безногих да десятка полтора стариков и старух да несколько вдов с малыми детьми. Они жили в самых скверных хатах, хотя рядом стояли пустыми хорошие дома. Числились они, большей частью, не казаками, а крестьянами или, как их здесь называли,

«иногородними». Ушедших с Дутовым казачков называли они с ненавистью «дворянская кровь», но говорили о них шопотом да и то неохотно и редко. Вся родня этих «иногородних» была либо убита дутовскими карательными отрядами, либо ушла с Красной армией, о чем здесь поминали тоже шопотом и неохотно.

Ушедшие казаки не все ушли к Дутову. Немало казаков ушло и в Красную армию. То были бедные казаки, и назывались они «фронтовиками», потому что большинство из них всю германскую войну провело на фронте и вернулось домой только после Брестского мира. «Фронтовиков» не называли «дворянской кровью», это были свои, а под «дворянской кровью» подразумевали «домовитое казачество», богатое и могущественное. «Домовитое казачество» владело почти всеми землями вокруг; «домовитое казачество», — все до одного человека, — ушло к Дутову, запугиванием и силой уведя с собой из станицы всех, кого могло увести.

Во всем этом ярославцы разобрались не скоро. Для них, горожан, да еще приехавших с другого конца страны, все это долго оставалось чуждым и не совсем понятным. Но с первого же дня они заметили удивительный и неправдоподобный страх оставшихся в станице жителей перед дутовцами. Дутовцы были разбиты и загнаны в дальние степи, но боялись их так, будто они находились здесь, под боком.

— Что ж вы пшеницу не пробовали обмолотить? — спрашивал Звягин в некоторых дворах.

— Как ее обмолотишь? — отвечали ему. — Она хозяйская! Хозяева сами к молотбе обещали вернуться.

Пшеница здесь была почти вся сжата, но не обмолочена. Жали ее, видимо, второпях, ни собрать, ни свезти не успели, и лежала она в полях. — кое-где в скирдах, а кое-где так. — и обсыпалась.

Нужно было приниматься за работу, но никто не знал, с чего начинать. Пока ехали, думали: лишь бы добраться до хлеба, а там уж догадаются, как его взять. А теперь, когда перед ними был целый океан хлеба, они ходили кругом, подталкивали друг дружку и не знали, что делать.

На рассвете Устинья Горячова собрала женщин побойчее и отправилась с ними по дворам собирать всякого рода орудия, которые могли бы помочь в работе. Во дворах богатых казаков оказалось много

сельскохозяйственных машин: замысловатые конные жатки, ручные молотилки «Мак-Кормик», конные «ланца». Женщины выкатывали их на улицу и с опаской разглядывали. Эти машины несколько не были похожи на ткацкие и прядильные станки. Как управлять ими, не знали и ткачихи, которые пришли на фабрику из деревни: в северных губерниях крестьяне жали хлеб по-старинке — серпами, а молотили цепами или катками. Но серпов у казаков было мало, а цепов и вовсе не было.

Зато кос нашли порядочно, и женщины, знакомые с деревенской работой, решили несжатую пшеницу скосить. Охотниц косить сразу набралось более сотни, и косы мигом разобрали. До несжатой пшеницы было далеко, версты две, и, блистая косами на солнце, повалили туда толпой.

Взялись за работу с жаром, весело, лучшие косарихи выхвалялись друг перед дружкой своим умением. По правде сказать, особого умения ни у кого не было, и косьба шла довольно нестройно. Те, кому кос не досталось, связывали пшеницу в снопы. Это тоже для большинства было делом незнакомым; умелые обучали неумелых.

Солнце жгло нестерпимо, укрыться от него было негде, но работы никто не бросал. Товарищ Колун привез на телеге целую бочку воды, и когда ее выпили, поехали к реке, чтобы наполнить бочку снова.

Так, неуверенно, — ощупью и наугад, — принялись ткачихи за то дело, ради которого приехали сюда.

40

Сжатая пшеница была разбросана в степи на громадном пространстве, и все чувствовали, что ее нужно подвезти поближе к станице и сложить где-нибудь в одном месте. Если бы в станице были лошади, это оказалось бы делом несложным. Но лошадей не было. Были волы. Однако к волам ткачихи не привыкли.

Волы паслись на свободе в высоких бурьянах вокруг станицы, и женщины робели, увидев их рога, торчавшие из-за чертополоха. Встретив медленно бредущего вола, они шарахались в сторону и далеко обходили его.

Однако нашлось все же несколько смелых и отчаянных баб, которые, вооружась кольями, подступили к ним, чтобы загнать их в станицу и запречь в возы. И малопомалу все убедились, что огромные, рога-

тые эти звери на удивление смирны и послушны и что их можно гонять куда угодно. Конечно, без местных жителей их все равно запречь не удалось бы, потому что запрягают их совсем не как лошадей. Но кой-кто из местных помог и даже научил, когда надо кричать: «Цока! Цока!», а когда: «Цобе! Цобе!». И по степи покатали повозки, и в каждой повозке стояла женщина и, отмахиваясь от слепней, длинной хворостинной погоняла пару волов.

С коровами дело обошлось проще — с ними многие умели обращаться. Их загоняли в хлев и доили. Молока пили сколько душа просит, делали творог, сбивали масло. Матери, оставившие в голодном Ярославле детей, плакали, что сами едят такое добро, а детям не могут дать ни кусочка, плакали, вытирали слезы и ели. Первое время все очень много ели, долго не могли привыкнуть к еде, часто говорили о ней и жевали, жевали даже через силу.

Действие сытости было удивительно. Прежде всего исчез тиф: с той минуты, как вылезли из вагонов, не заболел ни один человек. Многие изменялись и полнели просто на глазах: к вечеру становились толще, чем были утром. Старую Борисиху, например, было не узнать: все тело ее, недавно состоявшее как бы из пустых мешков, вдруг выпрямилось, налилось, округлилось, стало гладким, и Борисиха так помолодела, что Устинья Горячова сказала ей:

— Тебя, Авдотья, в пору второй раз замуж выдавать!

Дело дошло до того, что простоквашу стали употреблять для стирки вместо мыла. Простокваша отлично растворяла жир, грязь, в ней наловчились стирать дочиста.

Катя, увидев, что рубаха на Звягине вся пропотела и даже пошла пятнами, сказала ему:

— Дядя Данила, дай, я рубаху твою постираю.

Но Звягин, не взглянув на нее, хмуро ответил:

— Я сам!

Дома, в Ярославле, он не позволял ей подметать пол; здесь не давал стирать свою рубаху. Он всю жизнь прожил бобылем и привык сам за собой смотреть. Однако Катя все-таки раздобыла бы его рубаху, если бы он не был так хмур, угрюм и зол в эти первые дни станичного житья. Катя побоялась с ним связываться. «Потом как-нибудь». — подумала она.

Звягин был зол потому, что работа в

станции налаживалась слишком медленно, и, главное, потому, что он не знал, как ее наладить. И косьбу пшеницы и подвозку снопов женщины начали сами, без него, не спросив у него ни совета, ни разрешения. Он им не запретил, но чувствовал, что не с этого следовало начинать, что большинство болтается без дела, что нет никакого плана работ, никакого порядка, что нет учета ни сил, ни времени, ни хлебных запасов, что гораздо важнее косьбы — молотба уже сжатого хлеба.

Тут в молотбе — вся суть. Сжатого хлеба и без того много, так много, что всего и не осилишь, а молотба даст зерно, которое можно грузить и везти. Нужно за самый короткий срок намолотить и вывезти как можно больше зерна. В этом вся задача. Как ее выполнить, он еще не знал, но чувствовал, что браться за нее нужно по-военному: точно, ясно. Придя к решению действовать по-военному, он написал угольком на двери крайней горницы попова дома: «Штаб».

Штаб состоял из трех человек: самого Звягина, Устиньи Горячовой и товарища Козина.

— Может, еще кого ввести нужно? — спросила Устинья и поглядела на Звягина испытующе.

Он сразу понял, кого она имеет в виду, и напустился.

— Московского? — сказал он. — Чтоб ему потом вся честь досталась?

Но спохватился, отвернулся и замолчал.

С Виктором он, как покинули баржи, совсем разошелся. Не только не разговаривал с ним, а даже не смотрел на него никогда, отворачивался. К Шише относился попрежнему, подходил к ней, когда близости не было Устиньи, любил ее послушать, но Виктора избегал, сторонился. Теперь странным казалась, что в Казани они так дружно ходили в губпродком выпрашивать хлеба. После Самары Звягин был неразлучен только с одним человеком — с товарищем Козиним.

Их всюду видели вместе, и, отдавая какое-нибудь распоряжение, Звягин всегда поглядывал на Козина, как бы стараясь отгадать, нравится ли оно ему. Но Козину неизменно нравилось все, что делал Звягин. Когда он слушал Звягина, на небольшом его личике появлялось выражение восторга. Находясь в постоянном общении с Козиним, Звягин кое в чем стал ему подражать и, между прочим, перенял у не-

го было привычку говорить про себя: «Я такой человек!»

— Взяла косу — положи на место, а не бросай в поле! — кричал он женщинам. — Я беспорядка не люблю, я такой человек!

Но однажды он назвал себя «таким человеком» в присутствии Устиньи Горячовой, и Устинья засмеялась. Он поглядел на нее злобно; однако с тех пор «таким человеком» себя не называл.

Ни в подвозке снопов, ни в косьбе Устинья участия не принимала. Она родилась и всю жизнь прожила подле фабрики и не умела косу в руках держать. Ее тянуло к машинам, и она все старалась разобратся в молотилках. Она видала и не такие машины, и понять молотилку оказалось не так уж трудно: вот барабан, вот дека, отсюда солома полезет, отсюда полетят полеза, вот грохот, из которого должно сыпаться зерно.

На вторые сутки после прихода в станицу Устинья и Звягин выбрали место для тока, разровняли его, расчистили. И поставили на току молотилку.

Лошадей, чтобы пустить молотилку в ход, не было. Местные жители впрягать волов не советовали, говорили, что в молотьбе волы плохи, а уж лучше впрячь верблюдов. И пришлось приниматься за верблюдов.

К верблюдам женщины никак не могли привыкнуть и боялись их смертельно. Вол как-никак знакомого коровьего рода, а верблюд ни на что не похож. Про него говорили:

— Он словно змей! Голова у него змеиная!

К верблюдам, жевавшим на соседнем бугре какую-то колючую траву, пошел сам Звягин. У подножья бугра стояли женщины и, притихнув, смотрели, как неторопливо и уверенно Данила идет все выше, держа в руке толстый канат. Верблюды подняли головы и смотрели на него сверху маленькими строгими глазами. Всякий раз, когда он пытался к ним приблизиться, они отшатывались от него ленивым, почти неприкрытым движением. Они не убегали от него, но и не подпускали его к себе. Они словно дразнили его. Он беспокойно посмотрел вниз, не смеются ли над ним? Но никто не смеялся. Напротив, женщины следили за ним с явной тревогой и дивились его смелости.

Это Звягина приободрило. Он вдруг подпрыгнул и ухватился левой рукой за

кольцо, вставленное в ноздри верблюда. Верблюд, расставив передние ноги, потнул головой, но Звягин уже всунул в кольцо канат.

Звягин свел верблюда с бугра и повел его сквозь толпу к току. Женщины шарахались перед ними. Верблюд надменно и равнодушно шел за Звягиным, переставляя свои странные, двупалые ноги. Время от времени он с необыкновенной ловкостью плевал в Звягина желтоватым комком слюны.

41

Через два дня молотили уже на трех токах.

Двенадцать верблюдов и шесть бригад работниц были прикреплены штабом к молотьбе. Молотили в две смены: три бригады работали от первого проблеска утренней зари до полудня, а другие три бригады — от полудня до полной тьмы.

Пыль так густо стояла над токами, что, только подойдя вплотную, можно было хоть что-нибудь разглядеть. Все принимавшие участие в молотьбе от пыли казались поседевшими — седые волосы, седые брови. В этом облаке пыли, высоко подняв голову, мерно ходили запряженные парой верблюды. Их водили бесстрашные девки, специально приставленные Звягиным к этому делу. Остальные все еще побаивались верблюдов, а эти девки так обнаглели, что без всякой робости пролезали у них под животами.

Молотилки стучали оглушительно. Беспрерывно подъезжали запряженные волами возы и подвозили все новые и новые снопы. Солома потоком текла из молотилок, и женщины, вооруженные граблями, едва успевали оттаскивать ее в сторону. И тяжелое пшеничное зерно безостановочно сыпалось в пустые мешки, найденные Устиньей Горячовой в брошенном лабазе посреди станицы.

Работа шла точно, напряженно и налаженно. Фабричные работницы, придя на работу в деревню, принесли с собой свои трудовые навыки, принесли несвойственную деревенским жителям привычку к совместному, высокоорганизованному труду. Каждая из них, как у себя на фабрике, твердо знала, за какую часть работы она отвечает. Шесть бригадирш отвечали за работу своих бригад. Члены штаба — Данила Звягин и Устинья Горячова — руководили всем и отвечали за все.

Третий член штаба — товарищ Козин — молотьбой занимался мало. Он ведал, главным образом, продовольствием. Рано утром садился он с товарищем Колуном в тарайку и исчезал в степи. Где они там рыскали, за горизонтом, никто не знал. Но к обеду они возвращались, везя либо несколько кругов сотового меда, либо пару копченых свиных туш, а то пригоняли запряженную волами мажару, на которой громоздились бочонки с мочеными яблоками, солеными огурцами или сливовым повидлом. Все съедалось немедленно, и никто не спрашивал у Козина, откуда он это достал.

Кроме того, Козин взял на себя труд от имени всего отряда держать связь с самарскими и бузулукскими советскими и партийными организациями. В эту часть его деятельности Звягин тоже не вмешивался, потому что никого из местных работников не знал. Козин постоянно писал кому-то какие-то отчеты и рапорты. Разговаривал по телефону (полевому, проведенному весной, когда тут шли бои) со станцией железной дороги.

Иногда в станицу приезжали бузулукские работники. Козин кормил их обедом, поил чаем и показывал молотьбу. Стоя вместе с ними за спиной Звягина, он им шептал:

— Вот это голова! Сам все выдумал, сам всем заправляет! Башковит!

Звягин слышал этот шопот, но не подавал вида, и только крупные капли пота выступали у него на лбу.

Козин уверял Звягина, что все эти влиятельные люди очень довольны работой ярославских ткачих и не понимают только одного: отчего они молотят хлеб лишь в станице и не трогают тех громадных хлебных запасов, которые брошены в соседних хуторах?

Вообще он при всяком удобном случае повторял, что хлеб, оставленный в станице, — ерунда, что главные хлебные богатства находятся в хуторах и что они совершат большую ошибку, если будут работать только в станице.

Звягин, обычно дороживший мнениями товарища Козина, разговоры об отправке работниц на хутора слушал неохотно. Ему вначале казалось нелепым ехать собирать хлеб куда-то за много верст, когда здесь, под носом, столько неубранного хлеба. Но дней через пять, когда окончательно наладилась молотьба на трех токах, ему стало

казаться, что Козин, пожалуй, прав. Как ни много хлеба вокруг станицы (сколько именно, он, в сущности, не знал), но ему придет со временем конец. А Звягин вошел уже в раж, в азарт, успех подстегнул его, он мечтал уже о неслыханном размахе хлебозаготовок.

Кроме того, когда бригады на молотьбе как следует сработались, выяснилось, что людей здесь слишком много и, действительно, можно без всякого ущерба послать на хутора немало работниц. Человек даже около двухсот. И вопрос об отправке небольших отрядов на отдельные хутора был решен.

Глава четырнадцатая НА ХУТОРА

42

Когда слух об отправке на хутора обошел всех, Катя сразу решила, что в станице она не останется. Тут она слишком часто встречала Виктора.

Виктору досталась несложная, но тяжелая работа — собирать снопы, связанные другими, и накладывать их в телеги. На эту работу определены были самые неумелые из женщин, и Устинья Горячова, посылая его вместе с ними, усмехнулась. Он однако ничего, видимо, не заметил и, день за днем, таскал на себе снопы с утра до вечера в открытой степи под огненным солнцем.

А Катя в первые дни подвозила снопы к молотилке. Эта работа досталась ей случайно и показалась веселее других, потому что ей нравилось управлять волами. Она кормила своих волов, гоняла их на водопой, мыла их и даже спала неподалеку от них — на сене, в сарае, примыкавшем к попову хлеву, и ночью через стену слышала, как они жуют. Стоя во весь рост на возу, она неторопливо разъезжала по степи, размахивая над спинами волов длинной жердью, и только слепни досаждали ей. Воз ее нагружали снопами, и она гнала волов обратно, к станице, к непроглядному облаку пыли, окружавшему ток. Все бы это было хорошо, да всякий раз, выезжая в степь, она видела Виктора.

Его мудрено было не заметить, — долговязый и тощий, он сразу бросался в глаза. Он удивительно принаоровился к своей работе; длинные руки его могли захватить снопов гораздо больше, чем руки женщины,

и, когда он, нагруженный, двигался к возу, казалось, что идет целая скирда.

Нередко ему приходилось нагружать тот воз, которым управляла Катя, и она видела его совсем вблизи. Он окреп, поздоровел, даже в плечах стал шире. Застенчивость его исчезла; он часто разговаривал с женщинами, которые работали вместе с ним, иногда даже покрикивал на них. Женщины тоже совсем к нему привыкли, относились к нему без всякой отчужденности, слушались его и хотя подшучивали над ним, но ласково, с некоторым даже почтением. Он очень почернел; от той белесости, которая так долго держалась у него на лице, пока он жил в трюме, не осталось и следа; зато волосы его выгорели и посветлели, но не ровно, а пятнами; кожа на носу потрескалась и шелушилась. Швыряя снопы к босым катиным ногам, он смотрел ей в лицо и как будто хотел с ней заговорить, но не заговаривал. Она тоже ничего ему не говорила.

Всякий раз, когда она видела его, она неподалеку замечала и Тасю, которая делала ту же работу, что и он: подносила снопы к возам. Они всегда были вместе — не рядом, нет, но на таком расстоянии один от другого, что можно было видеть их обоих.

Чтобы не видеть их, Катя дня через три рассталась со своими волами и пошла работать на молотилку. Здесь все важнейшие обязанности были уже распределены, и ей дали грабли — отгребать солому. Впрочем, это дело тоже было трудное, требовавшее постоянного внимания: заезвайся на полминуты — и солома завалит все.

Вместе с Катей отгребала солому Шиша. Она научилась замечательно ловко владеть граблями и работала с ожесточением, с пылом. Катя нескоро сравнялась с ней. Шиша то и дело покрикивала на Катю: «Поворачивайся! Застряла! Разява!», и Катя с некоторым удивлением заметила, что все считают это вполне естественным.

Но, перейдя на работу к молотилке, Катя все-таки беспрестанно натыкалась на Виктора и Тасю: то за едой, то перед сном. Перед сном во дворе попова дома, сидя на телеге или на лавочке, Виктор заговаривал с женщинами, случайно оказавшимися поблизости. Заговаривал о чем-нибудь случайном, о чем придется, что первое попадет на язык. Над двором были крупные, ясные звезды, женщины поглядывали на них, и Виктор заговаривал

о звездах. Он говорил, что многие звезды больше солнца и кажутся маленькими только оттого, что до них очень далеко. Некоторые так далеко, что свет от них идет несколько лет. А некоторые похожи на нашу землю, и, кто знает, быть может на них есть деревья, звери и даже умные звери вроде людей.

Все больше женщин собиралось его послушать; они стояли кружком и молчали. Разговор со звезд переходил на сотворение мира, на бога и попов. Когда Виктор начинал утверждать, что бога нет и что земля отделилась от солнца, многие женщины постарше слушали его неодобрительно. Но когда он говорил о том, как в Испании попы сжигали людей на кострах, все ужасались одинаково. Он рассказывал о проделках наших попов, о поддельных чудесах, о том, как помогали попы фабрикантам и помещикам. Он рассказывал о попе Гапоне, который повел рабочих просить с иконами у царя милостей, и о том, как царь встретил их у дворца пулями.

Рассказывал он о колониях, рассказывал о неграх, — о том, какие они черные с виду, и о том, как американцы покупали и продавали их, словно скот, — о крепостном праве, о Стеньке Разине и Пугачеве, — как везли Пугачева в клетке в Москву на казнь, — об иностранных рабочих и об Интернационале.

Пока он говорил, на дворе собиралось все больше и больше слушателей, и в задних рядах появлялся сам дядя Данила, который хотя и молчал, но жадно слушал до конца. Все очень уставало после трудного рабочего дня, но никто не уходил до тех пор, пока Виктор не умолкал.

Катя тоже иногда волей-неволей слушала по вечерам Виктора, стоя в темноте, чтобы ее никто не видел. После этого она всякий раз долго не могла заснуть, все ворочалась на сене. И, когда кругом заговорили об отъезде на хутора, она решила ехать.

Когда она пришла в штаб, оказалось, что там уже полным-полно народу. Перед столом, за которым сидели Козин, Устинья и дядя Данила, стояла располневшая Авдотья Борисова, а рядом с ней куча молодых ткачих. Тут же, возле матери, была и Манька. Остальные жались к стенам и поджидали своей очереди.

Послушав немного, Катя поняла, что старая Борисиха и шестьдесят других пожилых работниц по собственному желанию

отправляются на дальний хутор под названием «Случайный». Дело это было уже решенное, все у них было уже уговорено и условлено, договаривались теперь о всяких мелочах. Катя подошла к столу и попросила, чтобы ее отпустили вместе с ними на хутор Случайный.

Дядя Данила сердито взглянул на нее. — Что ты все прыгаешь? — сказал он. — То волю, то молотилка, то хутор!

Но она отлично поняла, почему он рассердился: он просто не хотел отпускать ее от себя, он старался держать ее вблизи, под боком, но боялся сказать это напрямик, чтобы потом не стали говорить, будто он о своей племяннице заботится больше, чем об остальных. Она воспользовалась этим и нарочно начала громко жаловаться, что вот, мол, ее почему-то не пускают туда, куда пускают других. Однако тут в разговор вмешался товарищ Козин.

— Зачем вам ехать на Случайный? Там одни мамыши, — сказал он.

Его маленькое личико приняло очень любезный вид. Он объяснил ей, что на Случайный и так народу едет больше, чем нужно, и что там она соскучится, потому что молодежи там не будет совсем, если не считать Борисовой Марии. Но ведь есть и другие хутора.

— Вот Царь-Никольский — отличный хутор, — сказал он. — И гораздо ближе, — прибавил он, многозначительно взглянув на дядю Данилу.

Но дядя Данила, смущенный тем, что Козин отгадал его стремление не отпускать Катю далеко, нахмурился, достал список записавшихся на хутор Царь-Никольский и стал уверять, что туда ни одного человека больше вписать нельзя. Он разложил этот список перед собой на столе и разглаживал его своими большими кривыми пальцами. Катя заглянула в список и сразу перестала спорить: среди фамилий записавшихся она увидела фамилию «Иванов».

В сущности, ей незачем уезжать из станицы, раз он сам уезжает. Но теперь невозможно было отказаться, не выдав себя. А тут, как назло, товарищ Козин все не отставал от нее, все продолжал давать советы. Ему, кажется, очень хотелось угодить и ей и дяде Даниле. Теперь он убеждал ее ехать на хутор Бакалку. Это еще ближе, чем Царь-Никольский, и она может сама выбрать, кого взять с собой, потому что туда еще никто не записался.

Она сразу согласилась, так как ей было все равно, куда бы ни ехать, лишь бы не на Царь-Никольский.

Выходя, она вдруг заметила Шишу. Шиша пошла за ней следом и нагнала ее во дворе.

— Возьми меня с собой, — попросила она. — Здесь мне один супчик проходу не дает.

И посмотрела Кате в лицо: может ли Катя поверить, что ей не нравятся представления супчика?

Но по катиному лицу она ничего не отгадала.

43

В станице Виктор спал на дворе попова дома, на телеге. Он устроился здесь с первой же ночи и укрывался двумя овчинными тулупами, найденными в соседнем пустом доме. Под тулупами было не холодно. Он очень уставал за день и скоро засыпал. Он ложился, перед его глазами проплывали снопы, желтые колосья, голые пятки женщин, — и все пропадало.

Иногда он просыпался среди ночи. Закрытый овчиной до рта, он лежал на спине и смотрел, как движутся созвездья. Вот еще одна звезда выползла из-за невидимой в темноте крыши попова дома и засияла; вот другая, на другом конце неба, пропала за невидимой крышей сарая. Ночной ветер шевелил его волосы. Он лежал на спине и думал, потому что днем, за работой, у него не было времени думать.

Несмотря на постоянное утомление, он за последнее время удивительно хорошо себя чувствовал. Слабость, досаждавшая ему в Москве, делавшая его вялым и робким, исчезла совсем. Никогда еще не был он таким сильным и выносливым. Ему казалось, что все предметы, с которыми он имел дело, — вилы, грабли, ведра, даже ложки и ножи, — стали легче, а все расстояния короче. С людьми ему тоже стало куда проще, — он обжился, привык к ним, и они к нему приобжили. Женщины, вместе с которыми он таскал снопы, хотя и мало с ним разговаривали, но относились к нему как к своему, доверчиво и дружелюбно. Они спросили его, пойдет ли он с ними на хутор, если они пойдут. Он видел, что им хочется, чтобы он пошел с ними. И он согласился пойти на хутор.

Ему и самому хотелось уйти из станицы. Ему хотелось уйти, потому что неладно складывались у него отношения со Звя-

гным и его племянницей Катей. От той дружбы, которая была у него с ними на барже, ничего не осталось. Они избегали его и сторонились. Катя, даже издали завидев его, отворачивалась и уходила. Звягин с самой Самары не смотрел ему в глаза и темнел лицом, когда случайно на него наткнулся.

Днем у Виктора не было времени думать, но по ночам, просыпаясь, он часто думал о Кате и Звягине. Он не понимал, почему они не влюбились в него, он только смутно кое о чем догадывался. Там что-то произошло, в трюме, между Катей и Тасей, но что именно—он никак узнать не мог. Он понимал, что сделал глупость, сведя их, но почему, собственно, это была глупость, он не знал. А Звягин не влюбился в него из-за товарища Козина. Это было ему ясно. Хотя при чем тут товарищ Козин? Он видел, что Звягин любит Козина, по лицу Звягина всегда все видно. Виктор иногда говорил себе, что ему безразлично, как к нему относится Звягин. Но он знал, что это неправда, что ему вовсе не безразлично. . .

Последней ночью перед уходом на хутор он проснулся от того, что кто-то шарил у него в ногах. Он открыл глаза. Кто-то темный, еле различимый стоял возле самой телеги и осторожно прикрывал его ноги сползшим набок тулупом.

По дыханию, по едва белевшей лысине он догадался, что это Звягин.

Звягин заметил, что Виктор не спит, и сразу отпрянул от телеги.

— Я кнут ищу, — сказал он хмуро. — Нет под тобой кнута?

Это было соврано так неуклюже, что Виктор даже ничего не ответил. Он знал, что ноги его выбились во сне из-под тулупа и что Звягин закрыл их. Но зачем он пришел сюда?

— Это ты хорошо выдумал, что идешь с женщинами на хутор, — сказал Звягин. — Я тебе винтовку дам. Все-таки одних баб отпускать боязно.

Виктор молчал. Звягин замолчал тоже.

— Ты сердись на меня? — спросил он вдруг.

— Я? — спросил Виктор.

— Мне про тебя дурное говорили, — сказал Звягин. — Но я не поверил. Я за тобой давно смогрю и вижу, какой ты человек. Верить ты мне, что я не поверил?

— Верю, — сказал Виктор.

Он стал приподыматься, вылезать из-под тулупов.

— Спи, спи! — сказал Звягин. — Еще рано.

И ушел, так и не упомянув больше про кнут.

Виктор сразу заснул.

44

Все три хутора — Бакалка, Царь-Никольский и Случайный — стояли на одной дороге; поэтому до Бакалки двигались вместе.

Провожая на заре уходивших из станицы женщин, товарищ Козин сказал, что Бакалка совсем недалеко и что туда они придут еще до полудня. Но, как ни странно, он очень ошибся: тополя Ильинина давно уже скрылись за горизонтом, а Бакалки не было видно. Во все стороны тянулась пустая, ровная степь, ковыль, серебристо-серый, качающийся под ветром. Многие стали даже опасаться, что они сбились с дороги, и предлагали вернуться. . . До Бакалки добрались только в сумерки.

Хутор был еще пустынее станицы: ни одного огонька в окнах, ни одного человека на улице, даже ни одна собака не залаяла. Однако за углом, у плетня, Катя в сумраке заметила что-то белое. Шагнула ближе, видит: молодая баба стоит, красивая, темные брови, белый платок на голове. Катя пошла к ней, но та повернулась и побежала.

— Пстой! — крикнула Катя.

Отбежав шагов на десять, баба обернулась и, видя, что Катя одна, остановилась.

— Сколько верст отсюда до Ильинина? — спросила Катя, подходя к ней.

— Как раз девятнадцать, — ответила она, пятясь и не подпуская Катю близко.

— А до Царь-Никольского?

— Царь-Никольский поближе, — ответила баба, быстрыми глазами жадно разглядывая Катю. — До него верст десять, не боле. Днем, если посмотришь, так видно.

— А до Случайного сколько?

— Случайный далече. Там не бывали.

— А как тебя звать?

— А Марьей.

Они замолчали.

— Ты здесь останешься? — спросила вдруг Марья шопотом.

— Здесь, на Бакалке, — ответила Катя.

— Приходи к нам в курень ночевать! Вон, третий отсюда, — еле слышно, скороговоркой, сказала Марья.

Повернулась и убежала.

Но Катя эту ночь провела вместе со всеми под открытым небом. Они расположились большим табором в степи возле хутора: и те, кто оставался на Бакалке, и те, кому завтра предстояло идти дальше. Зажгли костры, распрягли волов, телеги поставили кругом, отгородились ими. Волы время от времени трубили в ночи. Пожарные ткачи, отправлявшиеся вместе с Борисихой, узнав от Кати, что до Случайного еще так далеко, попритихли, задумались.

— Мам, можно мне здесь с Катей остаться? — попросила Борисиху Маня.

Борисиха подумала и согласилась. Все ж тут поближе до станции.

А на утренней зорьке все, кто шли в Царь-Никольский и в Случайный, снова двинулись в путь. Сзади всех шла Тася, а рядом с нею Виктор. Кроме нагана была у Виктора теперь и винтовка; она белалась на длинной его спине дулом вниз. Звягин выдал ее ему на дорогу как единственному мужчине. Катя, оставшаяся на Бакалке, смотрела им вслед. Пыль, наконец, окутала их, и она перестала их различать. Вдали, где ясное утреннее небо сходилась с землей, видела она два тополя. — там был Царь-Никольский.

Двадцать девочек остались с Катей на Бакалке. В их числе Верка-рыжая. Маня Борисова — двадцать первая. И еще Шиша. Ни одной из них не было двадцати лет. Только, пожалуй, Шише. Сколько лет было Шише, никто не знал.

Все это были бойкие девочки. И в Самаре, и в поезде, и в Ильинине вели они себя шумнее и бойчее всех. Но, оставленные одни в степи, перед неизвестным таинственно-молчаливым хутором, они сбились в кучу и примолкли. Кате тоже было совсем не по себе в эти первые минуты одиночества. Она понимала, что нужно немедленно приниматься за дело, а не то девочки, того гляди, еще разревутся. И она повела их на хутор.

Хутор был небольшой — домов всего около десятка. Перед первым же двором они остановились. Постучали в ворота, заглянули через плетень. Спросили несколько раз:

— Есть тут кто?

Им никто не ответил. Они сами толкнули ворота, распахнули незапертую дверь,

через сени вошли в дом. В доме все было так, словно хозяева только что вышли и вот-вот вернуться. Неубранные кастрюли и миски стояли на столах; иконы в темных углах мерцали ризами; от люльки еще пахло ребенком и невыстиранными свивальниками; на белой стене возле зеркала, окруженного пасхальными бумажными розами, висела фотография хозяина и двух его сыновей — все трое с лампасами, с примасленными чубами, с георгиевскими крестиками; на печке шуршали тараканы и, натываясь друг на друга, здоровались усиками; кот, несколько не одичавший и не отошавший, лениво слез с печи и, подняв хвост кверху, стал приветливо тереться спиной о ноги девочек. Все так напоминало о хозяевах, что, зайдя, девочки невольно стали говорить вполголоса, точно их могли подслушать.

То же самое было и в других домах: пусто, но словно хозяева вышли только на минутку и находятся где-нибудь здесь же, во дворе или у соседа. Только в одном доме нашли людей — в том, куда зазывала Катю молодая казачка.

Все ставни на его окнах были закрыты, и внутри было темно, как в пещере. Когда Катя вместе со своими девочками зашла туда в первый раз, она долго ничего не могла рассмотреть, кроме нескольких тусклых огоньков, мерцавших в углу. Это тлели фитили лампад перед иконами, наполнявшими весь угол. Воздух, нагретый лампадами, был густ и душен. Немного погодя они разглядели седого старика, который стоял к ним спиной на коленях перед иконами. Он даже не обернулся, даже не взглянул на них.

— Здравствуй, бабушка! — сказала одна из девочек вежливо.

И остальные подхватили:

— Здравствуй, бабушка!

Но старик словно не слышал. Он глухо бормотал, кланялся до самого пола. Потом вдруг крикнул:

— Марья, руку!

Марья поспешно к нему подбежала. Он взял ее за руку и с трудом поднялся, опираясь на толстую, узловатую палку. У него были густые, мохнатые брови, еще не совсем белые. Он посмотрел на девочек, но, казалось, не видел их. Не поздоровавшись, стуча палкой и тяжело ступая, ушел он в соседнюю комнату.

— Это твой отец? — вполголоса спросила Катя у Марьи.

— Свекор, — ответила Марья шопотом. Во всем хуторе осталось всего три человека — Марья, свекор ее и свекровь. Марья свекровь, крепкая, крупная старуха, на вид была не менее сурова, чем ее муж; однако с девчонками поздоровалась. — Одни девки,* мужиков нету? — спросила она.

— Нету, — сказала Катя.

— Ну, и слава богу.

Она несколько подобрела.

— Пускай у нас в сарае ночуют, вместе с тобой, — сказала она Марье. — А то не очень-то прилично, пока хозяев нет, в чужих домах жить и на чужое добро глядеть.

Она старалась охранить имущество своих сбежавших к белым соседей и нисколько не скрывала этого. Но девчонки, заглянув в сарай, решили сделать так, как она хотела: сарай, до половины набитый сеном, был очень просторен, и ночевать в нем они могли все вместе. А в этом заброшенном хуторе, вдали от своих, расставаться им было жутко.

Чтобы справиться со своей робостью, ни на минуту их не оставлявшей, они, подгоняя друг дружку, поспешили приняться за работу. Они обошли поля вокруг хутора, облазили дворы, базы и амбары.

Все тут было как в станице, только всего было меньше: хлеб почти весь был уже скошен, но не свезен и не обмолочен и осыпался в снопах; гуси и утки переселились на ручей, а куры — в бурьян и не возвращались оттуда; воловьи рога торчали из зарослей бурьяна; два верблюда стояли далеко, на склоне бугра, и, расставив ноги, подбирали с земли какие-то колючки.

Девчонки видели, что нужно как можно скорее свезти хлеб поближе к хутору и начать молотьбу. И, как сделано это было в станице, они разделились: одни занялись волами, другие — молотилкой.

Нашла молотилку и распорядилась ею Шиша. Она, видимо, теперь считала себя знатоком молотьбы; она всеми командовала и очень при этом торопилась, словно боясь, как бы командовать не стали другие. Ей хотелось все делать самой.

Она сама выбрала ровное место для тока и хриплым голосом покрикивала на девчонок, расчищавших его. Она сама привела обоих верблюдов, с полным бесстрашием била их хворостинной и орала на них зверским басом. Молотилку пришлось

прежде всего вычистить и направить. И тут оказалось, что Шиша, действительно, разбирается в ней лучше всех. С удивительной сообразительностью и наблюдательностью она поняла ее устройство за несколько дней молотьбы в станице. «Испортишь! Куда лезешь!» — кричала она на девчонок, помогавших ей чистить машину.

Кричала она и на Катю, которая распорядилась волами, подвозившими пшеницу к току. Шише все казалось, что пшеницу подвозят слишком медленно, что молотилке придется работать вхолостую. На окрики ее не обижались, хотя вначале несколько дивились тому, что именно она распорядилась. Ее слушались и даже, пожалуй, немного побаивались, потому что она никому не позволяла ходить без дела и всех заставляла работать. И на второй день молотилка заработала. А еще через день молотилка работала не хуже, чем в станице.

Марьин свекор иногда приходил посмотреть на работу. С трудом передвигая большие, опухшие ноги, он кое-как добирался до тока. Возле тока он останавливался, опершись на палку. Ни с кем не здоровался и, если с ним здоровались, не отвечал. Так стоял он часами, не сводя глаз с молотилки; лицо его становилось белесым от пыли, голова застревала в седых волосах. Когда ему казалось, что девчонки работают недостаточно быстро, он свирепо подгонял их:

— Айдайте! Айдайте!

Иногда Катя думала, что он просто-душно принимает их за батрачек, работающих на удравших казаков. Но чаще в этом «Айдайте!» слышала она насмешку: сколько, мол, ни трудитесь, — вам все равно ничего не достанется. Вообще этого старика все боялись, несмотря на то, что он был дряхл и слаб; работая, напряженно ждали, когда он уйдет, но никто не осмеливался прогнать его.

Кате и Маньке нравился сарай, в котором они ночевали и ели, потому что он был похож на их ярославский сарай. И даже не самый сарай, а запах в нем был похож — здесь, так же как и там, пахло пылью, прелью, кожей, разохшимся, теплым деревом. В самом конце сарая, за кучами сена, светилось маленькое окошко с

выбитым стеклом, точь-в-точь такое, как там, в том сарае, только видна через него была одна лишь степь.

Быть может, под влиянием этого сходства, а быть может, по каким-нибудь иным причинам, но между Катей и Маней опять начались разговоры, вроде тех, которые вели они в своем ярославском сарае. Раза два в неделю, в сумерки, они вдвоем тихоньку забирались к самому окошку, садились там и, отгороженные от всех грудами сена, тихонько разговаривали.

— Ты жалеешь, что мы попали сюда, на хутор? — спросила Катя Маню, когда они впервые остались вдвоем за сеном перед окошком.

И, не дожидаясь, по обыкновению, ответа, сказала:

— А я не жалею. Здесь мы сами себе господа. Да и работу свою лучше видишь, когда не так много народу. Знаешь, мне даже немного хотелось бы, чтобы что-нибудь с нами случилось. А тебе не хотелось бы?

Быстро темнело, и все же на смутно белевшем в сумерках лице Мани Катя безошибочно прочла, что Мане этого не хотелось бы.

И прибавила:

— Конечно, если бы у нас оружие было! Без оружия что поделаешь? Очень жаль, что у нас нет оружия. И коней нет. Были бы ружья да кони, мы скакали бы тут кругом по степям, такого бы страху нагнали!

Она замолчала, подумала, потом вдруг спросила, понизив голос:

— Ты жалеешь, Маня, что с нами нет ни одного мужчины? Скажи правду!

Услышав такой вопрос, Маня даже вздрогнула.

— А я не жалею, — сказала Катя. — Куда их! Вот рассказывают, будто мужчины сильнее. Да разве они могли бы так работать, как мы тут работаем? Никогда! Я, например, двумя руками целую скирду подымаю, вот как наловчилась! Вот Верка-рыжая говорит, будто с мужчинами веселей. Ты им не верь, Маня, этак дуры говорят. Без мужчин вольней и спокойней. Куда их! — повторила она.

— Куда их, пакость такую! — убежденно произнес наверху хриповатый голос Шиши.

Катя обернулась, глянула вверх и увидела на сене голсы Шиши и казачки Марьи. Шиша и казачка Марья слушали

ее разговор с Маней. Катя испугалась, не смеется ли над ней Шиша, но на недобром лице Шиши, озаренном бледным светом заката, падавшим из окошка, насмешки не было.

Голова Марьи тотчас же спряталась. Марья часто ночевала в сарае вместе с девочками и с жадным любопытством глядела на них; но всякий раз, когда на нее обращали внимание, исчезала.

Однако теперь ей ударить не удалось.

— Постой, постой! — окликнула ее Катя, все еще возбужденная своею речью.

Голова Марьи опять поднялась над сеном.

— А твой, конечно, к белым ушел? — спросила Катя.

— Казакует где-то, — ответила Марья спокойно.

— Скучаешь, поди?

— Чего скучать? — сказала она. — Меня силком выдали. Мне только без него и жизнь.

Такое единодушье взволновало их. Они замолчали. Каждая думала о своем.

Катя смотрела в окно, вдаль, где на светлой полоске заката темнели два тополя хутора Царь-Никольского.

Глава пятнадцатая

НОЧНОЙ ВСАДНИК

46

К молчаливой казачке Марье скоро так привыкли, что перестали замечать ее. Чем бы они ни занимались, — обедали, или поили волов на ручье, или работали на току, или укладывались спать на сене, — за ними из-за плетня, из-за бугра, из-за скирды, из-за угла следили серые марьины глаза под темными бровями.

Катя много раз удивлялась, до чего у Марьи красивые глаза. Когда Марья смотрела вниз, глаза ее под темными ресницами казались почти черными; когда она смотрела вверх, они оказывались совсем светлыми; чуть голубоватые белки их были чисты и ясны. Она была скуласта, но это нисколько не портило ее; напротив, скуластость придавала ее нежно очерченному лицу особенную, только ему свойственную прелесть. Роста Марья была среднего, не худа и не толста, ходила легко, мягко и плавно. И Кате казалось

странным, как это другие девчонки не замечают, до чего Марья хороша.

Иногда Катя хотела, чтобы и у нее было такое лицо. Порой, когда никто за ней не следил, она заходила в пустые казачьи дома, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Она сама не знала, на что она надеялась. Но из зеркала всякий раз на нее глядело знакомое круглое лицо с обыкновенным, широким, чуть вздернутым носом, с обыкновенными, небольшими карими глазами, нисколько не похожими на глаза Марьи.

Марье в этих приезжих фабричных девчонках любопытно было все: и как они говорят между собой по-особому, по-городскому, и как они едят — каждая из своей тарелки, и как они косы себе заплетают, и как они моются, и даже как они спят, как они зевают, как чешутся, как ковыряют в зубах. За что бы они ни принялись, все было для нее занимательно словно спектакль. Неумелость девчонок в обращении с коровами, возами, волами, верблюдами, граблями, вилами смешала ее. Бывало, она, забывшись, вдруг рассмеется мягким, добрым смехом; но, только на нее взглянут, она умолкнет и притаится. Иногда, впрочем, не выдержав, она подавала какой-нибудь совет:

— Ты повыше грабли держи, а то ничего не загребешь!

Но если ее просили показать что-нибудь или в чем-нибудь пособить, отказывалась:

— Мне чужое трогать не велено.

И убегала.

Но скоро из-за какой-нибудь соломенной кучи опять выглядывало ее внимательное, любопытное лицо.

Кате она чуждалась меньше, чем других, вероятно потому, что Катя первая с ней познакомилась. Порой, когда, после ужина, Катя выходила посидеть на лавочке перед домом и поглядеть на звезды, Марья вдруг появлялась из тьмы и садилась рядом с ней. Обычно в этот час остальные девчонки уже спали, утомленные за день. Катя зевала, потягивалась, стараясь отогнать сон, чтобы подышать еще немного свежим вечерним воздухом. И Марья вступала с ней в разговор.

Катя дивилась ее дикости. Марья не умела читать. Она никогда не видала железной дороги. Она не была ни в одном городе. Про Ярославль и даже про Москву и даже про Самару она никогда не слыхала. Она знала названия только двух городов — Бузулук и Оренбург, но и с

этими названиями у нее не было связано ни одного представления. Из иностранных держав слыхала она только про Германию, да и о ней не знала, что это такое. О большевиках тоже слыхала, но спросила о них у Кати:

— Большевики говорят как киргизы?

И засмеялась, вспомнив, как говорят киргизы: киргизского языка она не понимала, и он казался ей очень смешным.

Однако «красных» и «фронтовиков» она знала хорошо и только не знала, что это и есть большевики. У нее у самой двоюродный брат был фронтовик и ушел к красным. Красные хотят отнять у хозяев хлеб, — так понимала она смысл того, что происходило вокруг. Катини девчонки тоже были красные и тоже брали хозяйский хлеб. Марьин свекор считал всех красных ворами и разбойниками. Сама же Марья относилась к судьбе хозяйского хлеба равнодушно.

— Тут ничего моего нету, — говорила она. — Меня взяли без приданого.

Она была сирота и жила до замужества на дальнем хуторе, верстах в сорока отсюда, у вдовой тетки. Тетка была бедна. Марья совсем ничего не имела, и ей очень повезло — без всякого приданого она перешла в семью не то чтобы богатую, но не бедную. Она сама очень простодушно говорила, что ей привалило счастье. Но Кате казалось, что она повторяет чужие слова: все кругом говорили, что ей привалило счастье, — и она считала, что, значит, так и есть, раз все так говорят.

— Ну, и счастье! — сказала ей Катя. — Свекор твой походя тебя лупит!

Это была правда. Свекор без помощи Марьи не мог встать со скамейки, и, если она не слишком быстро к нему подбегала, он хлопал ее по щеке или по затылку костлявой, жилистой рукой.

— Это что! — сказала Марья. — Какое это битье!

— Разве не больно?

— Больно, да не очень. Вот мой, бывало, так отлупцует, что ни сесть, ни лечь. Вожжами или нагайкой.

— Вот сладкая жизнь!

— Какая тут сладь! Тут сласти мало.

— Отчего ж ты не уйдешь от него?

Марья в темноте рассмеялась. Она смеялась над нелепостью того, что говорила Катя. Где это видано, чтобы жена уходила от мужа?

Вообще все в Кате было ей чуждо и

непонятно, и она считала Катю какой-то сплошной небывальщиной, странной и смешной. Однако при всем том она, видимо, не испытывала к Кате никакой враждебности. Напротив, как ни смешны, как ни нелепы казались ей приезжие девчонки, в их жизни было для нее что-то привлекательное, непобедимо-заманчивое. Она готова была хоть до рассвета сидеть рядом с Катей под большим белым Млечным Путем, под падающими звездами.

С каждой минутой становилось все холоднее. Катя уже привыкла к тому, что днем здесь жарисься, как на сковородке, а ночью дрогнешь. Она прижималась к Марье. Бок у Марьи был мягкий, горячий. Они молчали, и Катя думала о том, что вот Марья — красавица, а муж бьет ее вожжами, и она боится и не любит мужа. А знает ли Марья, что такое тоска? А знает ли Марья, что такое любовь?

47

Однажды, когда они вот так вдвоем с Марьей сидели на лавочке под звездами, в степи грянул выстрел.

Катя вздрогнула.

— Кто это? — спросила она сдавленным голосом.

— А бог весть, — сказала Марья спокойно.

Но Кате по беззвучной марьиной усмешке показалось, что Марье известно, кто это выстрелил.

— Нет, ты знаешь, — проговорила Катя настойчиво. — Отчего не скажешь?

— Будто ты сама не знаешь?

— Ей-богу, не знаю!

— И я не знаю, — сказала Марья. — Да можно догадаться, — прибавила она, понизив голос.

— Кто ж такие? — спросила Катя.

— Казаки.

— Какие казаки?

— Которые остались.

— Остались? — повторила Катя. — Да тут кроме твоего свекра никто не остался.

— Вот на! — сказала Марья. — Да разве он станет стрелять! Он больной. Тут иные есть.

— Иные?

— А ты как думала? Все ушли и никого не оставили добро сторожить?

Марья замолчала. Разговор этот, видимо, ей не нравился.

Но Катя на этом кончить не могла.

— Где они?

— Как где? — сказала Марья неохотно. — В степи. По балкам.

— Чего же это они палят?

— Стреляют? Мало ли чего! Может быть, чтобы ты о них не позабыла. А может, так, — винтовка есть, отчего не пострелять?

48

На следующую ночь опять стреляли.

Катя была уже в сарае и спала. При звуке выстрела она проснулась мгновенно. По дыханию девчонок поняла, что они тоже не спят и вслушиваются в тишину.

— Пойти бы посмотреть! — сказала Катя.

— Вот придумала! — отозвалась из темноты Верка-рыжая. — Посмотреть! Да кто пойдет?

— Я пойду, — сказала вдруг Шиша.

Все опешили от неожиданности, до того жутким казалось выйти сейчас из сарая.

— Брось! — прошептала Верка-рыжая.

— Я тоже пойду, — сказала Катя.

Сказала и пожалела.

— Ой, Катенька, не ходи! — вскрикнула Маня Борисова.

Но Шиша уже слезала с кучи сена, и Катя полезла за ней.

Они открыли дверь и, обогнув сарай, вышли в степь.

Было так темно, что казалось, будто земли не существует, а есть только звезды. Они шли рядом, но совсем не видели друг дружку. Катя было замешкалась, но Шиша упорно шагала вперед, в открытую степь, и Катя поспешила за ней, боясь остаться одной.

Они шли по знакомой тропке, осторожно ступая, чтобы не наколоть в темноте боковых ног. Кругом было тихо. Только кузнечики однозвучно звенели, но к звону кузнечиков они так привыкли, что совсем не замечали его.

Вдруг сзади они услышали легкий шелест шагов.

Их догонял кто-то.

Они остановились, обернулись. Катя перестала дышать.

И кто-то наткнулся на нее в темноте.

— Маня! — сказала Катя.

Это была Маня Борисова.

— Я пошла за тобой, — прошептала она Кате. — Зачем ты ушла без меня? Я боялась, что уж больше тебя не увижу.

Она прижалась лицом к катиной груди, и Катя почувствовала, что она дрожит от страха.

— Чего ты трусишь, дура? — сказала ей ~~Шша~~ презрительно. — Видишь, тут нет ~~кого...~~

И в то же мгновение в степи звонко и протяжно заржала лошадь.

Они остановились все трое, ошеломленные.

И сейчас же они услышали четырехмерный приближавшийся стук копыт.

Они едва успели отпрянуть, как всадник пронесся мимо них в темноте так близко, что чуть не задел их.

Они его не видели, но расслышали даже скрежет удил на зубах у коня.

Всадник на всем скаку обогнул хутор и пропал.

Они молча шли назад, к сараю.

В сарае к ним сразу кинулись все.

— Ну что? — шопотом спросила Веркарыжая. — Видали кого-нибудь?

— Кого там увидишь? — сказала Шиша. — Там нет никого.

Глава шестнадцатая

ВАРВАРА ПЕТРОВНА ПУТЕШЕСТВУЕТ

49

На следующее утро, когда они работали на току, вдали, со стороны Ильинина, показалась лошадка, запряженная в таратайку. Эту таратайку сразу узнали по треску, который слышен был версты за три. Девочки выбежали на дорогу и, вглядываясь, ~~ждали~~ надеясь увидеть дородные плечи товарища Колуна.

Однако, по мере того как таратайка приближалась, все яснее становилось, что товарища Колуна в ней нет, а что едет в ней какая-то женщина. Потом возле этой женщины заметили еще кого-то, поменьше ростом. И немного спустя из подъехавшей и остановившейся таратайки лихо выскочил товарищ Козин, а вслед за ним степенно вышла Варвара Петровна.

Приезду Козина Катя обрадовалась. Она решила рассказать ему о ночной стрельбе и посоветоваться с ним. Все-таки был он мужчина, и человек военный, и член штаба, и хорошо знал здешний край, и пользовался почтением дяди Данилы.

Но Кате нескоро удалось остаться с ним наедине. Ей мешали и девчонки, вер-

тевшиеся кругом, и Варвара Петровна, которая на этот раз была по-особенному мила с Катей.

Приезд Варвары Петровны всех удивил, так как непонятно было, зачем она покинула станицу. В станице она с самого начала попала к товарищу Колуну, в хозяйственную часть, от полевых работ была освобождена и ведала кухней — готовила на ткачих обед. Вернее, не она готовила, а дежурные ткачихи под ее управлением. И обеды были хороши. Особенно вкусными получались пироги — с мясом, с кашей, с луком и с капустой. Чего ради вздумалось Варваре Петровне разъезжать по степям?

— Вот везу ее на Случайный, — вполголоса объяснил девчонкам Козин, подмигнув в сторону Варвары Петровны. — С той поры как все пожилые бабы на Случайный ушли, не хочет оставаться в станице. «Не желаю, — говорит, — с молодыми. Везите, — говорит, — меня на Случайный!» И хоть вяжи ее! Ну, делать нечего! Я поехал по хуторам для контроля, пришлось и ее захватить.

Варвара Петровна везла с собой в таратайке все свои сундучки и корзинки. Кате даже показалось, что этих сундучков и корзинок стало у нее гораздо больше, чем было на барже. Часть из них лежала под сидением, часть — в ногах, а остальные были аккуратно привязаны веревками к задку таратайки.

Варвара Петровна как только слезла, так от Кати и не отходила. Никогда прежде не была она к ней так внимательна. Напротив, с того дня, когда дядя Данила в трюме за себя и за Катю отказался от котлет, Варвара Петровна на Катю хмурилась и сторонилась ее. А тут словно никогда этого не бывало.

Начала она с того, что передала Кате привет от дяди Данилы. Она уверяла, что дядя Данила очень скучает по Кате.

— Он, конечно, этого не скажет, но я-то вижу, я все его замашки знаю, — говорила она.

Она вообще все как будто старалась дать Кате понять, что между ней и дядей Данилой теперь стношения самые короткие, дружеские и чуть ли даже не родственные. Шагая своими длинными ногами рядом с Катей и улыбаясь, она несколько раз смутно намекнула на какую-то перемену, которая должна скоро произойти в судьбе дяди Данилы. Но что это за таинственная перемена, Катя не могла понять.

— Теперь тебе у дяди не так удобно жить будет, — говорила она. — Тебе нужно о себе подумать, девушка.

Несколько раз она останавливалась и восхищенно оглядывала Катю с ног до головы.

— Невеста, настоящая невеста, да еще какая! — восклицала она. — Нет, дядя такую за всякого не отдаст!

Катя шла следом за товарищем Козиным, надеясь улучшить минуту и рассказать ему потихоньку о ночной стрельбе.

Но товарищ Козин не отходил от девчонок. Он важно вышел вместе с ними на ток и, приняв строгий вид, принялся смотреть, как они молотят. Впрочем, смотрел он не столько на самую молотьбу, сколько на Шишу, которая управляла молотилкой.

Шиша взглянула на него исподлобья и ушла от него за молотилку, чтобы молотилка заслонила ее от него. Но он обошел молотилку кругом и опять устоялся на Шишу. Шиша вернулась на прежнее место, и он, опять обойдя кругом, тоже вернулся на прежнее место. Тогда Шиша, как бы невзначай повернув молотилку, обдала его с ног до головы полóвой. Обсыпанный, ослепленный, он отскочил чихая.

Этот поступок Шиши удивил Катю до крайности. Нарочно она или нечаянно? В первое мгновение Катя была убеждена, что нарочно. Но потом, когда она увидела совершенно спокойное лицо Шиши, ей начало казаться, что Шиша даже не заметила того, что случилось.

Козин тоже ничего не сказал, очищая ладонями свои суконные галифе и вытаскивая колючую шелуху из волос, хотя лицо его покраснелось и глаза глядели злобно. Почистившись, он медленно отошел от молотилки.

— Ты что это? — испуганно спросила Катя Шишу.

— Да ну его! — сказала Шиша. — Один глаз — в Арзамас, а другой — на матрас.

Через минуту Козин подошел к Кате.

— Покажите мне, сколько вы намолотили, — сказал он.

Катя повела его к амбару, в который они сваливали намолоченное зерно. Она надеялась, что хоть теперь ей удастся с ним поговорить.

За ними увязалась было Варвара Петровна. Но, пройдя несколько шагов, она остановилась, многозначительно проговорив:

— Ну, ну, идите, идите! Я не буду вам мешать.

Они пошли вдвоем. Он был значительно ниже Кати и, идя рядом, заглядывал ей в лицо снизу вверх. Он шагал развлекто и небрежно, как кавалер на гулянье. Подняв с земли прутик, он стегал им себя по сапогам. Кудреватю и запутанно заговорил он о том, как ценит в женщинах образование, и старался дать понять, что считает Катю очень образованной, и, видимо, полагал, что разговор этот доставляет ей большое удовольствие.

Зерно он оглядел внимательно и, кажется, был доволен: он не ожидал, что они успели намолотить так много. Когда они вышли из сарая, он сорвал под телегой желтый цветок, понюхал его и подал Кате.

— Любите ли вы цветы? — спросил он ее.

Всем этим Катя была смущена и несколько даже растерялась. «Сказать ему? Или, может, не говорить?» — думала она. И решила все-таки сказать.

— Товарищ Козин, у нас тут по ночам стреляют, — сказала она.

— Да ну? — спросил он насмешливо.

Она стала рассказывать ему о ночной стрельбе, но он все только посмеивался. Еще небрежнее отнесся он к ее рассказу о всаднике, которого они увидели ночью. Он уверял, что всадник им примерещился со страху.

— Как же это он вас не видел, а вы его видели? — спросил он, хотя в этом не было ничего удивительного.

Впрочем, он допускал, что они видели всадника. Но что же тут такого? Может быть, в каком-нибудь из окрестных хуторов сохранились лошади и какой-нибудь оставшийся житель ездил куда-нибудь по своим делам. А то, верней всего, это был милиционер из Бузулука, скакал по служебной надобности. И вообще хорошо делают, что женщин на войну не берут. Если бы на фронте, где товарищу Козину пришлось провести столько времени, все трусили по таким пустякам, давно бы от советской власти ничего не осталось...

— Никого тут нет, — сказал он. — А если и есть какие остатки, так они не посмеют вас тронуть. Не станут связываться: знают, что я недалеко. Я только мигну — и из Бузулука придет на усмирение целая рота.

Чтобы окончательно успокоить Катю, он прибавил, что на обратном пути опять заедет в Бакалку.

— Вот только старуху отвезу на Слу-
чайный, а там погощу у вас.

Они уже подходили к току, и разговор
завылся.

Их встретила Варвара Петровна. Она
многозначительно поглядела на катины ру-
ки. Катя тоже посмотрела себе на руки и
заметила, что в руке она все еще держит
этот цветок. Что дал ей Козин. Катю ки-
нула в жар. Она смяла цветок и швырну-
ла его себе под ноги.

Товарищ Козин и Варвара Петровна
пробыли на Бакалке до обеда и пообедали.
Шиша к обеду не пришла, — что-то
задержало ее возле молотилки. Товарищ
Козин, отобедав, первым встал из-за сто-
ла и пошел закладывать таратайку. Едва
он вышел, Варвара Петровна тоже подня-
лась, перекрестилась на угол сарая и вме-
сте с Катей направилась к двери.

— Каков молодец? — сказала она Кате
про Козина. — Ростом, конечно, невелик,
да не в росте счастье. Длинный — всегда
квельный, а маленький здоров да ловок, в
нем кровь быстрее обращается. В старое
время в кавалерию всегда только малень-
ких брали. А уж какой хороший, какой
рассудительный! Нонче хорошего мужчину
трудно встретить.

С этими словами Варвара Петровна от-
крыла дверь и, пропустив Катю вперед,
вышла из сарая. На дворе перед дверью
стоял товарищ Козин с Шишей.

— Ты не думай, что от меня отвер-
тешься! — говорил товарищ Козин Ши-
ше. — Ты не думай, что ты долго будешь
в меша фордыбачиться, пададь!

Увидев Катю и Варвару Петровну, он
замолчал и полез в таратайку. Варвара
Петровна села рядом с ним. Он стегнул
лошадь, и они уехали.

50

Отъезду Козина Катя была рада. Но
уже в первую ночь пожалела, что его нет.

После ужина, перед сном, Катя, как все-
гда, вышла с Марьей посидеть на лавке.
Заря уже потухла совсем, но на дальнем
краю черного неба дрожали и прыгали ка-
кие-то багровые пятна.

— Зарница, что ли? — спросила Ка-
тя. — Нет, не зарница.

— Горит, — сказала Марья.

— Что горит?

— Пшеница вокруг дальних хуторов го-
рит.

— Кто же станет хлеб жечь?

— Кому нужно, тот и жжет, — сказала
Марья равнодушно.

Ночью Катя опять проснулась от вы-
стрела и, проснувшись, поняла, что мно-
гие девчонки уже давно не спят.

Верка-рыжая уверяла, что за стеной са-
рая перед выстрелом она слышала муж-
ские голоса. Сколько было мужчин, она по
голосам сказать не может, но много. И так
явственно слышала, что вот только слов
не разобрала.

Маня Борисова тоже слышала голоса.
Но мужчин, по ее мнению, было мало, не
больше двух. И разговаривали они не воз-
ле самого сарая, а поодаль, в степи, — пе-
рекликались.

Верка-рыжая стала спорить, но тут сно-
ва грянул выстрел. И все смолкло до утра.

Утром одна девчонка, ездившая в степь
на волах за снопами, вернулась бледная
и рассказала, что в степи все снопы пова-
лены, раскиданы и лежат не так, как вче-
ра лежали.

Шиша и Катя сразу же отправились с
ней посмотреть на снопы. Оказалось, что
снопы вовсе не все раскиданы, а многие
стоят, и Шиша обругала девчонку и смея-
лась над ней. Но Катя знала, что снопы
ночью кто-то трогал, и знала, что Шиша
тоже это знает.

С той минуты девчонки больше не ез-
дили в степь по-одиночке, а только вместе,
на трех-четырех возах разом. И даже в ху-
торе жались друг к дружке, как в первый
день. А за ужином начались разговоры,
что кто-то только что в сумерках видел
человека, который зашел в пустой дом. И,
хотя не удалось установить, в какой имен-
но пустой дом он вошел, многие этому по-
верили.

Следующая ночь прошла тихо, никто не
слыхал ни выстрелов, ни голосов, однако
девчонки не успокоились. Они даже днем
говорили вполголоса и беспрестанно ози-
рались. И Катя стала с нетерпением ждать
возвращения Козина.

Козин приехал на третий день к вечеру,
перед ужином. Лицо у него было запылен-
ное, усталое, но глаза необычно блестели.
Катя сразу заметила этот блеск его глаз
и, когда он слез с таратайки, даже спро-
сила его, не случилось ли чего. Но он по-
спешно ответил ей, что не только ничего
не случилось, а, напротив, все обстоит
очень хорошо, и тут же передал Мане при-

вет от мамыши, которая живет прекрасно и сыльно потолстела.

Умывшись в избе марьиного свекра, он пришел в сарай ужинать и опять сразу же повторил, что на Случайном живут прекрасно и что старая Борисиха очень потолстела. Он рассказал, как много там намолотили хлеба, как там довольны, как там спокойно, какая там хорошая баня, какие вкусные там пироги пекут.

— У них даже лошадь есть, — сказал он. — Я хотел было ее в станицу перегнать, да мамыши упростили. Я им и оставил.

Пужинав, он отправился ночевать в избу к свекру Марьи.

— Так приличнее будет, — объяснил он Кате с достоинством.

Девчонки с приездом Козина успокоились. Но на следующий день Кате показалось, что сам Козин вовсе не спокоен. Он все что-то похаживал по хутору, по степи кругом, и глаза его слишком быстро перескакивали с предмета на предмет. Начнет что-нибудь говорить и собьется. Возьмет несколько зерен из-под молотилки, покруглит их на ладонях и бросит, словно забыл о них. Опять, как давеча, уставился он было на работавшую у молотилки Шишу; но только Шиша стала мрачнеть под его взглядом и темнеть лицом, как он отошел. С Катей он загваривал много раз, все пытался завести разумный и душевный разговор, вроде прежнего, о своей любви к образованности, о красоте, о неучтивости непонимающих людей, но как-то начинал вдруг мяться, путаться, и разговора не получалось.

— Кого ждет товарищ Козин? — спросила Маня Борисова у Кати.

— Он никого не ждет, — ответила Катя. — Кого здесь ждать?

— А я думала, ждет, — сказала Маня. — Он все на дорогу выходит и поглядывает.

Катя удивилась и, последив за ним, заметила, что он и вправду все топчется возле дороги: отойдет и возвратится. И при этом поглядывает все в одну и ту же сторону: не туда, где станица, а туда, где хутора Царь-Никольский и Случайный. Увидев, что Катя смотрит на него, он смутился и пошел прочь от дороги. Но через полчаса уже опять стоял на дороге и поглядывал вдаль.

За ужином он несколько раз повторил, что его разморило и клонит в сон. После ужина он сразу вышел из сарая и отправился в избу спать.

— Теперь хоть выйти можно, — сказала Шиша. — А то весь день от девчонок не стходила, чтобы на него не напороться.

Катя вышла вместе с ней. Они сели на лавочку.

Ветер дул из степи, шевелил подолы их юбок, колол им ноги летящими соломинками. Это был уже не летний ветер; с наступлением темноты сразу чувствовалось, что скоро осень. Они сидели под звездами и зябли.

Но возвращаться в сарай не хотелось. Они встали и, прижавшись друг к дружке, медленно пошли по темной, кривой хуторской улице.

В пустом хуторе было тихо. Они молчали. Улица свернула, и они свернули. Идя вдоль невидимых плетней, они дошли почти до того места, где улица выходила в степь.

И вдруг впереди они услышали, как лошадь переступила с ноги на ногу.

Они остановились.

Вглядевшись, они совсем недалеко увидели спину коня, смутно выделяющуюся на звездном небе. Рядом с конем они увидели человека большого роста. Рубаха его неясно белела в темноте. Затем разглядели и второго человека — тот был маленький, темный и потому почти неразличимый.

Они не успели даже два раза вдохнуть, как большой человек вскочил в седло. Звякнуло стремя, застучали копыта, и он пропал.

Маленький человек тоже пропал, словно его никогда не было.

Не сказав ни слова, они повернулись и быстро пошли назад по улице, прижимаясь друг к дружке плечами. Они побежали бы, если бы в темноте можно было бежать. Они хотели поскорее дойти до сарая.

Но только они вышли из-за поворота, как снова остановились, так как услышали чьи-то шаги. Кто-то неторопливо шел в темноте им навстречу.

— Гуляете? — раздался спокойный голос Козина.

Козин остановился прямо перед Катей.

Подняв вверх лицо, он молчал, словно ожидая, не скажет ли Катя чего-нибудь.

— Звезды! — глубокомысленно произнес он наконец, убедаясь, что Катя говорить не собирается. — По-нашему — ни к чему они, а наука и до них дошла.

«Сказать ему или не сказать?» — думала Катя все время. После его слов о звездах она решила сказать и даже уже рот открыла. Но вдруг почувствовала, что ногти Шиши больно впились в ее руку. И она промолчала.

До сарая они шли втроем. Козин шагал рядом с Катей. На Шишу он не обратил никакого внимания, будто ее не было. Он потягивался, зевал. Несколько раз он лениво заговаривал о темноте, о тишине, о ветре. У сарая они расстались: он пошел в избу, а Катя и Шиша — в сарай.

Девчонки уже спали.

— Нужно было ему сказать, — проговорила Катя шопотом.

— Дура! — ответила Шиша. — Это он стоял там, рядом с лошастью.

— Врешь! — сказала Катя, холодея. — Он шел нам навстречу.

— Он пробежал за плетнем, — сказала Шиша. — Я слышала, как он перелезал через плетень на улицу.

52

На другой день Катя одна работала в амбаре, где хранилось обмолоченное зерно, и опоздала к обеду.

Стоя по шиколотку в зерне и насыпая его лопатой в мешки, она вдруг услышала треск колес, потом отдаленные голоса и, ~~вдруг~~ отчаянный, дикий крик.

Крик пронесся над всем хутором и оборвался. Катя уронила лопату. Хотя крик этот был так страшен, что его нельзя было даже с уверенностью принять за человеческий голос. Кате почему-то показалось, что это кричит Маня. Утопая в зерне, она с трудом выбралась на улицу и, поправляя на бегу волосы, помчалась через весь хутор к тому сараю, где обедали девчонки.

Все девчонки стояли во дворе перед сараем. У многих в руках были ложки. Куры, клохча и теряя перья, металась по двору.

Посреди двора стояла таратайка, но не та, в которой ездил Козин, а другая, незнакомая. Лошадь тоже была незнакомая — вся в темных пятнах от пота. На таратайке во весь свой длинный рост стоя-

ла Варвара Петровна. Сундучки и корзины окружали ее; теперь их было, казалось, еще больше, чем в прошлый раз.

Когда Катя вбежала во двор, Варвара Петровна, обращаясь к девчонкам, говорила:

— Только из-за стиранный нижней юбки я и спаслась. Если бы я не ушла эту юбку повесить, они меня тоже как раз и захватили бы. Уже совсем темно было. Я пошла в поле, легла на траву и ждала, пока они все не уберались. Слышала, как наши тетки плакали, когда их повели. Вернулась ночью в хутор, а там ни одной души живой. Ох, тоска, тоска! Спасибо, лошадь не заметили, не забрали!

— Где Маня? — спросила Катя у Веркирыжей.

Девчонки расступились, и Катя увидела Маню. Она сидела на земле, прислонясь к стене сарая. Все лицо ее было мокро от слез. Она прижалась лбом к катинной юбке, но ничего не могла сказать.

— Что? что? — спрашивала Катя озираясь.

— Казаки напали на хутор Случайный, — сказала ей Шиша вполголоса. — Весь хлеб взяли и всех старух увели. Одна вот эта осталась. — Она кивнула в сторону Варвары Петровны.

Варвара Петровна слезла с таратайки и пошла обедать. За обедом не умолкала она ни на минуту и все повторяла одно и то же: как спасла ее нижняя юбка и как сказала она с самого рассвета не останавливаясь. Ела она торопливо и много.

Тем временем Козин запряг в таратайку свежую лошадь, а ту, которая привезла Варвару Петровну из Случайного, отвел в конюшню. Когда Варвара Петровна отобедала, они вдвоем сели в таратайку и помчались в станицу.

Глава семнадцатая ДЯДЯ И ПЛЕМЯННИЦА

53

Козин вернулся в Бакалку на другой же день. Теперь на спине у него висела винтовка, и он с ней не расставался.

Он сказал, что едет в Бузулук за военной подмогой, но нарочно дал большого крюку и заехал в Бакалку, чтобы успокоить девчонок. В том, что Бузулук вышлет военную подмогу, он несколько не

сомневался. Тут одной роты за-глаза хватит. По его словам, бандитов, напавших на хутор Случайный, было не больше пяти человек, и напасть они осмелились только оттого, что Случайный слишком уж на отшибе. Их непременно поймают: он говорил с Бузулуком по телефону, и на Случайный уже послан отряд. А старух бандиты и сами отпускают.

— На что они им? — сказал он усмехаясь.

Вообще он просил всех не беспокоиться и работать. Он говорил, что в станице уже готовятся к отправке хлеба на станцию. Обмолоченный хлеб на той неделе свезут с хуторов в станицу, а из станицы все вместе огромным обозом отправятся к железной дороге.

— Теперь мне все самому приходится, — сказал он Кате многозначительно, — потому что ваш дяденька совсем не тем занят.

Он пробыл в Бакалке не больше часа, перепряг лошадь и ускакал.

Ночью, лежа на сене, Катя решила съездить в станицу, пока Козина там нет. Она не могла дожидаться утра, разбудила Шишу и сказала ей. Она почему-то думала, что Шиша станет ее отговаривать. Но Шиша с первого же слова поняла ее и сразу сказала:

— Поезжай!

Тогда они стали обе думать, как сообщить об этом девочкам, чтобы не испугать их. Они очень опасались, что девочки совсем струсят, узнав про катин отъезд, но ничего придумать не могли. И, когда стало светать, сказали девочкам напрямик. К их удивлению, девочки не только не струсили, а даже обрадовались. Они торопили Катю и только просили ее завтра же вернуться.

На сером от утренних сумерок дворе, ежась от холода, они все вместе запрягли лошадь. Катя, несоро поев хлеба, влезла в таратайку, взяла вожжи и выехала на дорогу.

Вначале, полная мыслей, мучивших ее бессонной ночью, она неслась во-всю, то и дело стегая лошадь. Но мало-помалу, когда солнце поднялось выше и стало теплее, она успокоилась и уже не так подгоняла.

День был по-осеннему прозрачен и ярок. Небо, ясное, без облачка, казалось куда бледнее и нежнее, чем летом. Тонкая пыль, оседавшая на ее лице и руках, согрелась

нескоро и долго напоминала о холоде ночи.

За все девятнадцать верст не встретила Катя ни одного человека. Вверх и вниз, с пологого бугра на пологий бугор, ползла дорога; эти бугры закачали ее, как волны, и под конец она стала подремывать. Но чуть увидела вдалеке белую колокольню станичной церкви и редкие вершины тополей, как снова все поднялось в ней, и она опять понеслась.

Никогда не думала она, что эта станица, где она прожила всего несколько дней, где все незнакомо и непривычно, покажется ей такой родной. С бьющимся от нетерпения сердцем летела она к ней, понукая усталую лошадь. Кого она увидит прежде всего?

Подъехав к речонке, протекавшей возле станицы, и глянув с обрыва вниз, она увидела женщину, которая, согнувшись, поло-скала белье. Услышав шум колес, женщина выпрямилась, обернулась. Это была Устинья Горячова. Увидев Катю, Устинья громко ахнула.

Катя остановила лошадь. Устинья побегала к ней наверх, не опустив подоткнутого подола, держа в руках выполосканную рубаху, с которой стекала вода.

Катя смотрела на Устинью и на рубаху. И даже больше на рубаху, чем на Устинью. Это была знакомая рубаха. Это была рубаха дяди Данилы, которую он Кате стирать не позволял.

— Как у вас на хуторе? — спросила Устинья задыхаясь.

— Все хорошо.

Устинья ужасно обрадовалась Кате, но в глазах ее было что-то испуганное и виноватое. Она села в таратайку, и они вместе покатали по станице к попову дому. Стук молотилок стоял над станицей. Женщины были на работе. Устинья все хотела что-то сказать и все не решалась. Потом заговорила о лаптях и словно обрадовалась, что нашла, о чем говорить.

Лапти эти отыскивали в кладовке за лабазом. Вот вышло кстати — все разуты, а по утрам такая стужа, что ступить невозможно. Непременно нужно лаптей и на хутор отправить.

Катя сказала, что на хуторе не хватает мешков для хлеба, и Устинья ответила, что они уже об этом думали и дадут хутору столько мешков, сколько понадобится.

Потом рассказала она об исчезновении товарища Колуна: отправился он на прошлой неделе в какой-то хутор за грушами, —

есе говорил, уезжая, каких великолепных груш он привезет, — и пропал бесследно: ~~нет~~ ни Колуна, ни груш.

Так разговаривали они, старательно придерживаясь только хозяйственных дел, и лишь у самого попова дома Устинья, понизив голос, спросила:

- А что Манька Борисова?
- Убивается, — сказала Катя.
- Мы уже приняли меры.
- Знаю.

У попова дома они привязали лошадь и пошли в штаб, надеясь застать там дядю Данилу. Проходя по коридору, Катя через случайно приотворенную дверь рядом с комнатой штаба мельком увидела Варвару Петровну.

Варвара Петровна сидела на табуретке в маленькой комнатке возле окошка с белой занавеской и большой кровати с множеством подушек. Глаза Варвары Петровны скользнули по Кате.

Устинья толкнула дверь комнаты штаба. В штабе было пусто. Дядя Данила, видимо, ушел на ток. За то время, что Катя прожила на хуторе, в этой комнате кое-что изменилось: возле стола теперь стояла кровать, покрытая красным одеялом. На одной спинке кровати висела устиньина кофта. На другую спинку Устинья повесила сушиться мокрую рубашку дяди Данилы. Повесив рубашку, она взглянула на Катю, и опять Кате показалось, что в глазах ее было что-то неуверенное, виноватое.

Катя хотела пойти поискать дядю Данилу, но Устинья усадила ее и сказала, что ~~сама~~ ~~отыщет~~ его и приведет сюда. Она вышла. Дверь за собой она прикрыла неплотно, и Катя слышала, как в коридоре она ~~оставилась~~ ~~перед~~ дверью Варвары Петровны.

— Племянница приехала? — произнес голос Варвары Петровны. — Ну, вот и хорошо!

Устинья не ответила, но ушла не сразу, и Катя слышала, как Варвара Петровна сказала:

— Тебе ее бояться нечего. Теперь ты — хозяйка. Выдай ее за хорошего человека — и делу конец.

Устинья опять ничего не ответила и ушла.

Через несколько минут она вернулась с дядей Данилой.

— Катя!

Дядя Данила стоял на пороге и тяжело дышал. Он, видимо, бежал, услышав о при-

езде Кати, и запыхался. Да и немудрено было запыхаться человеку, до такой степени обвешанному оружием. Он теперь не ходил, как прежде, налегке. За спиной его висела винтовка; две ручные гранаты болтались на поясе. Вообще он окреп, помолодел, сделался как будто даже выше ростом, и стоявшая рядом с ним Устинья, раскрасневшаяся, казалась совсем маленькой.

Катя взяла дядю Данилу за руку, подвела к столу и плотно закрыла дверь.

— А мы тут с Устиньей поженились, — сказал он вдруг. — Видишь, как вышло... Неладно, может быть... в такое время, когда...

Он хотел сказать про несчастье на Случайном, но замолчал. Глаза у него стали робкие и виноватые, как у Устиньи.

Устинья вдруг вскрикнула.

Катя обняла ее. Устинья прижалась к катиной груди лицом и сразу промочила катину кофту насквозь. Но через мгновение она выпрямилась, рассмеялась смущенно и счастливо, и влажные белые зубы ее блеснули.

Дядя Данила был недоволен, что выдал себя. Слегка нахмурясь, он стал деловито рассказывать Кате о том, какие меры он принял, узнав о несчастье в Случайном. Он сразу же связался с Бузулуком по телефону и добился того, что в Случайный вышел вооруженный отряд, которому поручено во что бы то ни стало уничтожить бандитов и освободить женщин. Он сам бы туда поскакал, да вот проклятие — невозможно оставить здесь столько баб без охраны. Он посылал на станцию, и оттуда привезли ему немного оружия — винтовки, патроны, ручные гранаты. Вот только стрелять из этих винтовок некому. Но тут все дело в двух-трех днях. Только два-три дня будет беспокойно, а там вернется Козин и приведет с собой роту или конный эскадрон.

— Козин нечист, — сказала Катя шопотом.

Она сама не знала, как у нее вырвались такие нелепые слова.

— Как нечист? — спросил дядя Данила угрюмо.

— Дядя Данила, у него тут знакомые есть, — сказала она, задыхаясь от волнения и в то же время чувствуя, что говорит недостаточно убедительно. — К нему по ночам кто-то ездит.

Она стала рассказывать, как они с Ши-

шей пошли вечером гулять и как Козин разговаривал в темноте с каким-то всадником. Она рассказывала и видела, что лицо дяди Данилы темнеет. С первых же своих слов она почувствовала, что из всей ее затеи ничего не выйдет. Она слишком хорошо знала дядю Данилу. Она знала, что дядя Данила никогда не поверит, что он мог так ошибиться.

— Пошла обедать! — сказал ей дядя Данила, не дослушав. — Там тебя ждать не станут.

Повернулся и вышел.

За обедом она увидела столько знакомых, столько было расспросов, ахов, восклицаний, что она позабыла обо всем. Все очень поздоровели за то время, что она провела на хуторе. Несмотря на тяжелую работу, у женщин были громкие, грубые, счастливые голоса, загорелые, довольные лица.

Особенно обрадовалась она, увидев несколько ткачих, заболевших в поезде после Самары тифом и оставленных в Бузулуке. Они выздоровели и, стриженные, пешком пришли в станицу. В этой шумной, веселой толпе все ночные страхи на хуторе показались Кате смешными, все ее подозрения потускнели, растаяли. Ей уже и самой думалось, что все, о чем она говорила дяде Даниле, — вздор, и она стыдилась, что затеяла с ним такой разговор.

В конце обеда явился дядя Данила и подошел к ней. Вид у него был смущенный: он, конечно, жалел, что так резко оборвал ее. Они вместе пошли по станице, и он показывал ей, как идет работа. Они побывали на всех трех токах; она посмотрела на горы обмолоченного зерна. Зерно спешно сыпали в мешки. Он показал ей волов в хлевах. Их было так много и они так мычали, что, разговаривая, приходилось кричать друг другу в ухо. Этих волов собрали не только со всей станицы, но и пригнали из многих брошенных хуторов. Они нужны были для того обоза с зерном, который дядя Данила собирался отправить на железную дорогу.

Этим обозом кончалась вся их работа: нужно вывезти зерно, а там можно вернуться домой, в родной город. И дядя Данила изо всех сил готовился к обозу — собирал возы, проверял оси, колеса.

Он велел и Кате на хуторе собрать волов и возы, чтобы отправить обмолоченное зерно в станицу. Он очень торопил ее. Он сказал, что нужно бросить молотьбу, даже если еще не все зерно обмолочено, и как

можно скорее перебраться в Ильинино. Он, видимо, хотел, чтобы девчонки поменьше оставались на хуторе.

Когда они проходили мимо колокольни, Катя увидела наверху женщину, которая стояла под колоколами и смотрела в степь.

— Сторожит, — объяснил дядя Данила многозначительно. — Дежурит.

О Козине он больше не заговаривал, даже имени его ни разу не произнес, и Катя была ему за это благодарна. Вообще он был удивительно ласков с ней и не боялся, как прежде бывало, что кто-нибудь скажет, будто он обращается со своей племянницей лучше, чем с другими.

Вечером, после ужина, Катя, отправляясь на сеновал спать, наткнулась во дворе на Устинью. Устинья взяла ее за руку горячеей, маленькой, мягкой рукой. Они стояли, помолчали. Катя слышала ее громкое дыхание.

— Если сильно любишь, это хуже болезни, — сказала Устинья.

Катя ничего не ответила.

Они еще постояли.

— Я оттого его всегда дразнила, что боялась полюбить, — сказала Устинья.

На другое утро дядя Данила поднялся проводить Катю, когда было еще совсем темно.

На темном дворе они вдвоем запрягли лошадь. В таратайку положили двадцать пар лаптей и навалили столько пустых мешков, что Катя стала сомневаться, удастся ли ей на них усидеть.

Вдруг дядя Данила поманил ее куда-то.

Она пошла за ним, и они вошли в конюшню. Там было совсем темно, но он покрутил колесико своей зажигалки, и вспыхнул огонек. При желтом свете этого мерцавшего огонька они прошли в самый дальний угол конюшни. Там он велел Кате поднять кучу сена. Под кучей сена лежали винтовки, — десятка полтора, — и два небольших револьвера.

Он передал зажигалку Кате, а сам поднял один револьвер, показал, что в барабане его шесть патронов, показал, как спускать предохранитель. Катя взяла револьвер и спрятала его на животе под кофтой, юбка у нее была без карманов.

— Дай мне винтовок! — сказала она.

Он молчал, раздумывая. Катя уже решила, что он откажет, но он вдруг нагнулся, поднял четыре винтовки и понес их из конюшни. Он положил винтовки на таратайку, тщательно прикрыв мешками. По-

том опять вернулся в конюшню и вышел с мешочком патронов. Патроны он тоже положил под мешки.

Катя влезла на таратайку и кое-как уселась на мешках, свесив ноги сбоку. Она все медлила, думая, что дядя Данила что-нибудь скажет ей на прощание. Но он молчал, и она дернула вожжи.

— Катя! — сказал он.

Она остановила лошадь. Он стоял в утренних сумерках посреди пустого двора.

— Поезжай! — сказал он, так и не найдя слов.

Она стегнула лошадь и поехала через степь, навстречу холодной, осенней, утренней заре.

Глава восемнадцатая

ТЕТЯ И ПЛЕМЯННИК

54

Варвару Петровну все очень жалели и уважали за то, что ей так много пришлось испытать на Случайном. Она жила теперь в станице на положении свекрови Устиньи Звягиной. Многие считали, что Звягину она приходится вроде мамы, а, значит, Устинья — свекровью.

— Я его вскормила и вспоила, — говорила Варвара Петровна о Звягине. — Я его вот таким знала! Он и маленький такой же был.

Звягин не подтверждал ее слов, но и не отрицал их. Он, по правде сказать, с ней почти не разговаривал, да и она при нем примолкала. Впрочем, после ее несбыточного спасения и отважного бегства он, как и все, стал относиться к ней лучше, чем раньше. Она, с его позволения, поселилась в отдельной, маленькой комнатке возле штаба, а так как теперь он и Устинья ночевали в штабе — то получилось, что Варвара Петровна живет с ними как бы одной семьей.

Устинья тоже говорила с ней не часто. Но довольно охотно слушала ее. Да и как она могла ее не слушать, когда Варвара Петровна постоянно заговаривала с ней о Звягине? Она говорила, как он любил в детстве пироги с капустой и щи со сметками и какой у него характер. О характере Звягина Устинья слушала особенно охотно. По мнению Варвары Петровны, характер у Звягина такой, что никогда перечить ему не надо, а нужно только подждать — и он все забудет.

— Добрый-то он добрый, — говорила она, соболезнующе глядя на Устинью, — да только намучилась я с ним.

Работала Варвара Петровна мало, так как считалось, что после всего пережитого на Случайном ей надо отдохнуть. Она только изредка заходила на кухню «присмотреть», а все остальное время сидела у себя в комнатке. О товарище Козине она в разговорах никогда не упоминала и была совершенно равнодушна к тому, что он так долго не возвращается.

А между тем, Козин, уехавший в Бузулук за охраной, пропадал уже много дней. Звягин несколько раз пытался связаться по телефону с железнодорожной станцией, как делал прежде, и попросить оттуда передать в Бузулук, но тут телефон вдруг испортился. Что с ним произошло, сказать трудно, потому что с виду он был цел. Случилось, вероятно, какое-нибудь повреждение на линии.

Козин вернулся через неделю. Он приехал один, никакой охраны с собой не привез, но настроен был спокойно и безмятежно. Он передал Звягину приветы от множества бузулукских товарищей, которых Звягин знал собственно по именам, с его же слов. Свое долгое отсутствие он объяснил тем, что прибыл в Бузулук только на третий день, так как заезжал в Бакалку и на Царь-Никольский. А приехав в Бузулук и убедясь, что в охране никакой надобности нет, он решил не торопиться, рассчитав, что лучше подождать и высчитать, сколько вагонов железная дорога даст под зерно.

— Почему в охране никакой надобности нет? — спросил Звягин.

— Потому что в Бузулуке есть точные сведения, что банда, ограбившая Случайный, перешла в другой округ.

К Варваре Петровне товарищ Козин забежал в середине дня, в самое рабочее время, когда во всем поповом доме не было ни одного человека.

— Вот и я, тетечка, — сказал он, прикрыв за собой дверь.

Варвара Петровна штопала чулок, надевший на деревянную поварешку, и даже головы не подняла.

— Дуется, тетечка? — сказал он раздраженно. — На вас не угодишь, хоть разбейся.

— А ты все шляешься? — сказала Варвара Петровна, не отрываясь от чулка.

— Шляешься! — повторил он обиженно.

но. — Как будто я только о себе стараюсь. Теперь не поворишь назад.

Варвара Петровна не сказала ни слова.

— Теперь пошлаешься, после того как вы белую юбку на бугор вешали, чтобы знак им подать, — продолжал он, все более раздражаясь. — Юбка-то ваша была, не моя.

Он бегал из угла в угол. Комната была маленькая, и ему поминутно приходилось поворачивать.

— Да разве, если к ним с пустыми руками перейти, они меня примут? Они мне красную звезду ко лбу гвоздем прибить, вот что! А вот если я к ним с хлебом приду, если я все зерно им передам, — тогда разговфр другой. Тогда почет, тогда в ножки поклонятся, тогда что хочешь у них бери.

— Видишь, в какой ты запарке, так тебя и трясет, — сказала Варвара Петровна ласково. — Хоть присел бы.

— Или думаете, еще воротиться можно? — спросил он, продолжая бегать. — Или думаете, еще не знают?

Варвара Петровна откусила нитку и положила поварешку с чулком на комод.

— Да ты садись, — сказала она.

Он сел на край кровати.

— Куда ты садишься! — закричала она свирепо. — Грязными штанами на чистую постель.

Он вскочил, испуганно посмотрел на ее девичью кровать, покрытую белым пикейным одеялом, и пересел на табуретку.

— Или думаете, еще не знают? — повторил он не совсем уверенно.

— А откуда им знать? — сказала Варвара Петровна спокойно. — Конечно, не знают.

— А что Колун сбежал, у них тоже никаких подозрений нет?

— Какие там подозрения.

Он долго молчал, положив руки на колени и глядя на пол.

— Бросил бы, Вася, а? — сказала она ласково. — Бросил бы, пока не поздно. Ей-богу, одно беспокойство! Я тебе еще перед Случайным говорила, что нужно делать.

— Знаю я ваши разговоры: брось все и женись на племяннице Данилы.

— А почему бы тебе не жениться на племяннице Данилы? — спросила она. — И давно бы женихом был, если бы меня слушал да за потаскливыми девками не бегал.

— Уж очень вы, тетечка, на своего Данилу рассчитываете.

— И рассчитываю. У Данилы благодарность есть.

— И вы думаете, тетечка, он не понимает, что вы сирот только за тем держали, чтобы с девяти лет на фабрику посылать и получку их себе за образа класть? — сказал он ухмыляясь. — Вон у него как пальцы скрючило от ваших милостей...

— Он тебе говорил? — спросила Варвара Петровна с тревогой.

— Он мне не говорил, но неужто он такой несмышлёный, что сам не понимает?

Однако, узнав, что Звягин ничего Козину не говорил, Варвара Петровна сразу успокоилась.

— Это ты такой смышлёный, что от тебя ничего кроме нахального слова не получишь, — сказала она. — А он добро помнит.

Козин промолчал. Она тоже помолчала.

— Ты вот все отворачиваешься, Вася, — через некоторое время начала она проникновенно и заботливо, — а я думаю: отчего бы тебе и впрямь на ней не жениться? Он сам женился, а с Устиньей я полажу. Вернулись бы мы все в Ярославль, ты бы и женился. Там тебя никто не знает, и туда никогда не дойдет, как ты с армией распростился. Там у меня все-таки дом свой, и его не отберут, если Данила в нем поселится. Данила — теперь человек большой. И ты большой человек будешь, и будем все вместе жить.

— Одной семьей, значит? — сказал Козин.

Варвара Петровна посмотрела ему в лицо; посмотрела и смолкла. Лицо Козина было красно и перекошено.

Он встал с табуретки.

— Да вы, тетечка, спятили, — сказал он медленно.

Слова не шли ему на ум, и он плюнул. Большой белый плевок упал на середину пола. Он стер его сапогом.

— Когда я всего достиг!.. — сказал он. — Когда мне всё прощают!.. Когда мне вся степь в ножки кланяется!.. Да чтоб я в такой серости!.. Да чтоб я у Данилы Звягина за горбом сидел!..

Ему нехватало воздуха.

— Счастливо вам, тетечка, домой добраться, а я пойду.

Он вышел и закрыл за собой дверь.

Варвара Петровна вскочила со своей табуретки и выбежала за ним в коридор.

— Вася! — позвала она вполголоса.

В сумраке коридора увидела она, как он остановился.

— Ты мужчина, ты человек умный, Вася, — сказала она торопливо. — Не сердись на меня, дуру. Как же я без тебя!

— Ну, ну... — сказал он примирительно.

Глава девятнадцатая

ЛУННЫЕ НОЧИ

55

Вернувшись на Бакалку, Катя нашла там все в полном порядке. Однако у девочек были испуганные глаза, и, когда Катя спросила их, что случилось, они ответили:

— Старик все молится.

Действительно, марьин свекор молился вслух, не переставая, уже чуть ли не целые сутки. Дверь избы была раскрыта настежь, и, заглядывая туда, девочки видели, как он стоял на коленях перед иконами. Он молился, громко, ожесточенно, и назойливый, требовательный голос его разносился по всему двору.

Жена его причитала и выла. Она то и дело выбегала на крыльцо, простоволосая, растрепанная, громко голосила, и слезы бежали по ее лицу.

— Они с добром своим прощаются, — сказала Шиша. — Уезжать собрались.

Она не ошиблась. К вечеру Марья со своей свекровью стала вытаскивать на двор сундуки и корзины, перевязанные веревками. Усердно кормили волов. Марья выкатила воз из сарая, и старик дотемна поправлял на дворе колесо, менял ненадежную спицу.

— Куда они едут? — спрашивала Маня Борисова. — С чего это они надумали?

Катя подошла на дворе к воющей старухе и спросила ее: правда ли, что они уезжают? Старуха сразу перестала выть, посмотрела на нее недовольно и ответила, что они едут в Бузулук к родственникам.

— А зачем едете? — спросила Катя.

— По надобности, — сказала старуха. Рассердилась и ушла.

Марья в последнее время не ночевала в сарае. Вообще девочки теперь мало видели Марью, старики не отпускали ее от себя. Однако, когда после ужина Катя, по обыкновению, вышла посидеть в темноте на скамейке, Марья уже была там. Они

сели рядом. Марья повернулась к Кате и взяла ее за руки.

— Айдайте отседа, с хутора, сестра, айдайте! — прошептала она.

— А что? — спросила Катя.

— У казака на вас сердце горит.

— Марья! — крикнула с крыльца старуха, и Марья, вскочив, убежала.

Едва рассвело, старики вместе с Марьей выехали из хутора на двух возах, запряженных четырьмя волами. Старик сидел на переднем возу, старуха и Марья шли пешком. К заднему возу были привязаны две коровы. Ведро и подойник, прикрепленные под возом, позванивали, брякаясь друг о друга.

Девчонки, выбежав спросонья из своего сарая, смотрели уезжавшим вслед, пока они не скрылись за бугром. Эти старики всегда держались от них в стороне, ни разу им не помогли, и все же они жалели об их отъезде. А о Марье особенно. Теперь они остались на хуторе совсем одни.

С этого дня, не сговариваясь, девочки перестали подвозить снопы к молотилке. Решили обмолотить только те снопы, которые были уже подвезены. В поле больше не ездили, но зато много работали в амбаре — ссыпали зерно в мешки.

К амбару они подкатили одиннадцать возов и все наполненные мешки сразу же складывали на возы. Пригнали волов и заперли их в нескольких хлевах неподалеку. По расчету нужно было еще три-четыре дня, чтобы все кончить и выехать с обозом в станицу. Но они приготавливались заранее: им хотелось иметь возможность, если понадобится, в любой час покинуть хутор.

После обеда Катя вытащила из таратайки винтовку, осмотрела ее, зарядила, легла на дворе животом в пыль и выстрелила в окно дома. Винтовка сильно ударила ее в плечо. Она не ожидала этого удара и выронила винтовку из рук.

До окна было не больше десяти шагов, однако Катя в него не попала. Пуля улетела неизвестно куда. Катя опять выстрелила — и опять не попала в окно. Отскочил кусочек белой глины, которой была вымазана стена. Катя выстрелила в третий раз. В оконном стекле появилась круглая дырка, и белые лучи побежали от нее во все стороны.

Девчонки, только что кончившие обедать, высыпали из сарая на двор. Катя

взяла уголек и нарисовала на белой стене дома большой круг. Внутри большого круга она начертила маленький, в центре маленького поставила точку. Девчонки взвизгнули, когда она снова выстрелила. Пуля попала в маленький круг. Сжав губы, не говоря ни слова, возбужденная и полная радости, Катя стреляла еще и еще. Девчонки взвизгивали при каждом выстреле.

— Кто хочет? — спросила Катя, встав с земли.

Верка-рыжая боязливо подошла к ней, хихикая от смущения. Катя показала ей, как нужно лечь, дала винтовку, объяснила, как надо делиться. Верка выстрелила, закричала и отбросила винтовку от себя. Девчонки, услышав ее крик, тоже вскрикнули. Верка стреляла шесть раз и после каждого выстрела кричала и отбрасывала винтовку. В маленький круг она не попала ни разу.

Потом взяла винтовку и легла Шиша. Она не кричала, движения ее были неторопливы, лицо спокойно. Прищурившись, она выстрелила. Пуля угодила в самую середину маленького круга, в черную точку.

Это всех восхитило. Шиша поднялась, стряхнула подол и сказала презрительно:

— Что ж тут мудреного?

Но второй раз стрелять не хотела; может быть, боялась, что новой такой удачи не будет.

После Шиши стреляли еще многие девчонки. Некоторые до того вошли в азарт, что винтовку приходилось у них отнимать чуть не силой. Однако были и такие, которые так боялись стрельбы, что ни за что не хотели притронуться к винтовке.

Мане Борисовой Катя даже не предложила стрелять, уверенная, что она откажется. И очень удивилась, когда Маня вдруг подошла к ней и попросила винтовку. Маня легла, прижала винтовку к узенькому своему плечу и выстрелила три раза. Она не вскрикивала, не швыряла винтовку и только мигала при каждом выстреле. Две пули попали в маленький круг.

Вся стена была уже изрыта пулями, как оспой. Верка-рыжая предложила пойти стрелять в поле. Но Катя решила: на сегодня хватит. Нужно поберечь патроны. Она отняла винтовку и отнесла ее в тарайку.

Перед ужином Катя собрала всех и сказала, что на ночь нужно поставить вокруг хутора дозоры. Девчонки, выслушав ее, примолкли.

Выбирать места, где должны стоять дозоры, отправились гурьбой. Катя пошла впереди, крупно шагая.

Уже начинались сумерки. По пути Катя вырвала из плетня шест и подобрала мочалу, лежавшую на крыльце. Она вывела девчонок в степь и повела их вдоль дороги, уходящей к Царь-Никольскому.

Пройдя шагов двадцать, девчонки стали упрашивать дальше не идти, потому что там дозору будет страшно. Но Катя довела их до верхушки небольшого, пологого бугра. Это место хорошо было видно из скошка сарая, в котором они спали. Дорога шла под бугром. Лежа в траве, отсюда можно было следить и за дорогой и за хутором.

В верхушку бугра Катя вбила шест, а на шест повесила мочалу. Заметив кого-нибудь, дозор должен зажечь мочалу, и огонь сразу увидят в сарае. Когда мочала загорится, дозорные побегут в хутор по ложбине с другой стороны бугра.

Второй такой же шест с мочалой поставили в степи у противоположного края хутора. Если эту мочалу зажечь, ее будет видно с улицы; из сарая ее не увидишь. Но Катю это не смутило. Все равно, нужен третий дозор, который будет дежурить на улице и ходить от одного шеста к другому.

Ужинали молча. Старались есть как можно дольше. Вокруг было уже совсем темно, и при мысли о том, что сейчас кому-то придется идти из сарая в степь, девчонкам становилось тоскливо.

Кому придется идти?

Наконец, Катя поднялась. Она сказала, что пойдет сама и возьмет с собой Шишу. Потом отобрала еще четырех девчонок.

Ни одна из назначенных не отказалась. Молодой, узенький месяц висел над степью. Стекла окон слегка поблескивали. Вершины тополей уходили к звездам.

К первому шесту они отправились все вместе. Тени были так черны, что казались ямами, и они наступали на них неуверенно. Дорога, покрытая светлой пылью, отчетливо белела.

Катя захватила с собой винтовку, остальные были безоружны. От шеста на

бугор падала длинная тень. Ветер шевелил мочалу.

Катя упала в траву и прижалась ухом к земле. Она читала, что так можно изда- лека расслышать шум шагов и топот ко- пыт. Она не слишком верила этому и лег- ла только оттого, что девочки смотрели на нее. На девочек это произвело боль- шое впечатление. Но ничего расслышать ей не удалось — ни шагов, ни топота. Только сухая трава шелестела под ветром.

Она научила двух остающихся здесь де- вчонок, как лежать, чтобы их не было вид- но с дороги. У обеих дыхание сводило от страха.

— Ты придешь? Ты скоро? — тоскли- выми голосами спрашивали они Катю.

До второго места дошли вчетвером. Ос- тавив и там двух трепещущих девочек, Катя и Шиша пошли назад через хутор. Они старались ступать как можно мед- леннее, не торопиться, потому что их сме- нят не раньше, чем пройдет половина ночи.

Беленые стены хуторских построек си- яли. Катя и Шиша прошагали мимо амба- ра, где хранилось зерно, мимо сарая, где спали девочки. Перед Катей двигалась ее тень с винтовкой, и, взглядывая на эту тень, которая казалась такой большой, спокойной и сильной, Катя испытывала радость.

57

На следующий день стрелять не уда- лось, потому что к обеду приехал товарищ Козин.

В этот свой приезд он держал себя со- всем иначе, чем прежде. Он был хмур, не- разговорчив и нелюбезен. Сев за стол, он ни с кем не поздоровался. С Катей он не заговаривал и даже не смотрел на нее. Он вел себя со зловещей откровенностью; он, видимо, не считал уже нужным притво- ряться. Когда Катя за столом спросила его, надолго ли он приехал, он сказал:

— Я тебе не докладчик.

После такого ответа девочки разом смолкли и молчали до конца обеда.

Когда Козин вышел из сарая, Катя по- советовала не говорить ему ни про вин- товку, ни про ночные дозоры. Девочки сразу согласились, и ни одна даже не уди- вилась, даже не спросила, отчего нужно остерегаться товарища Козина. Катя поти- хоньку перетащила винтовки в сарай и спрятала их под сеном.

После обеда все работали у молотилки. Козин на ток не явился. Он ушел в опу- стевший дом Марьи и не вылезал оттуда.

На току было душно; несмотря на хо- лодные ночи, в некоторые часы дня все еще стояла жара, как в июле. От духоты и пыли хотелось пить. Шиша взяла ведро и пошла за водой к колодцу. Колодец на хуторе был только один и от тока не ви- ден — его заслоняли постройки.

Шиша ушла и пропала. Катя прождала ее минут двадцать. Шиша не возвраща- лась. Тогда Катя, ничего не сказав нико- му, сама пошла к колодцу.

За первым же поворотом она встретила Шишу, тащившую ведро с водой.

— Чего ты так долго?

Смуглое лицо Шиши было бледно и от бледности казалось серым.

— Разговорчики разговаривал, — отве- тила она, едва разжимая губы.

— Что ж он говорил?

— Все страшал.

— Чем страшал?

— А пес его знает. У него слова мут- ные.

— Чего ж он хочет?

— Хочет, чтобы я пришла к нему ночью.

Катя взглянула на нее и промолчала.

— Я сказала, что приду, — проговорила Шиша.

Они шли рядом. Вода плескалась у Ши- ши в ведре. Шиша засмеялась.

— Велика важность! — сказала она.

Катя опять промолчала.

— Думаешь, не пойду? — спросила Шиша.

— Думаю, не пойдешь, — сказала Катя.

— А вот пойду!

Катя молчала.

— А почему мне не пойти? Знаешь, ка- кая я...

— А какая? — спросила Катя.

— Будто не знаешь, какая, — сказала Шиша и засмеялась.

— Я знаю, какая ты, и знаю, что ты не пойдешь.

Лицо Шиши стало багровым. Она по- смотрела на Катю искоса, недоверчиво. Пройдя несколько шагов, она вдруг опу- стила ведро на землю.

— Пойду к нему! Я уже давно приду- мала. Пойду, лягу и вонжу ему перо в бок! — сказала она, поворачиваясь к Кате.

— Какое перо?

— А вот!

Шиша порылась у себя в кофте и вытащила большой кухонный нож. Отточенное лезвие блеснуло на солнце.

— Брось! — крикнула Катя, рассердясь.

Она хлопнула Шишу по руке, и нож упал в пыль. Катя подняла его и швырнула за плетень.

— Никуда ты не пойдешь! Слышишь?

Шиша послушно потащила ведро.

58

За ужином Козин ел быстро, кончил первым и сразу ушел. Катя приоткрыла дверь сарая, чтобы посмотреть, куда он идет. Было уже темно, однако она разглядела, что он вернулся к себе, в пустой дом.

На этот раз в дозоры должны были пойти те, кто не ходил прошлой ночью. Но без Кати и Шиши девчонки итти боялись. Решили, что в первую половину ночи Шиша будет дежурить, а Катя спать, во вторую половину Шиша будет спать, а Катя дежурить.

Вместе с Шишей в дозор ушла и Маня Борисова.

Девчонки в сарае заснули. Катя лежала на сене, старалась заснуть и не могла. Прошло больше часа. Все было спокойно. Наконец, мысли ее спутались, она стала засыпать.

И вдруг услышала скрип двери.

Охваченная неясной тревогой, она вскочила и побежала в темноте к дверям. У самых дверей она налетела на Маню.

— Зерно увозят, — сказала Маня.

— Ну?

Катя схватила Маню за плечи и почувствовала, что Маня вся дрожит.

— Три человека на конях, — сказала Маня шопотом. — Брали мешки и привязывали к седлам.

— Из амбара брали?

— Нет, с воза.

— Они еще там?

— Ускакали. Ой, Катенька! И он с ними был!

Катя пошарила в сене и достала винтовку.

— А девчонки где? — спросила она.

— Возле мочалок. Они ничего не видели. Мы с Шишей идем мимо амбара и видим...

— Где Шиша?

— Пошла его искать.

— Кого?

— Товарища Козина. Я тебе говорю, что он с ними был. Ой, Катенька! Они ускакали, а он как провалился...

Звездное небо сияло. Месяц, ясный и легкий, плыл над хутором. Ночь была еще ярче вчерашней. Тени от тополей, от ворот, от крыш падали на улицу. Держа перед собой винтовку, Катя бежала к амбару, ныряя из света в тень, из тени в свет. За нею следом, с трудом поспевая и очень боясь отстать, бежала Маня.

У поворота они наткнулись на Шишу.

— Вы его не встретили? — спросила она.

— Нет.

Оказалось, Шиша уже обошла весь хутор. Козин, отдав всадникам шесть мешков с зерном, исчез. Ускакать с ними он не мог, потому что был пеш. Шиша взглянула даже в дом Марьи, но там было пусто. Куда он мог деться?

И вдруг в ночной тишине они услышали треск его таратайки.

Они втроем побежали по улице назад. При свете месяца они увидели, как шагах в сорока от них таратайка, запряженная лошадью, выехала со двора на улицу и покатила прочь. Вторая лошадь, та, на которой Катя ездила в станицу, была привязана к таратайке сбоку.

Шиша вбежала в ближайший двор. Катя остановилась, не понимая, что она задумала.

Потом побежала за Шишей во двор. Во дворе она увидела, как Шиша перелезает через низкий плетень, отделяющий двор от степи.

И поняла.

Дорога, выходя из хутора, круто заворачивает, и, если бежать по степи напрямик, можно догнать таратайку.

Катя тоже перелезла со двора в степь. Но Шиша уже сильно опередила ее. Катя видела черную тень Шиши, бегущую по траве. И, напрягая все силы, она побежала за ней.

Они бежали и слышали треск таратайки, сначала удаляющийся, потом быстро приближающийся. Катя старалась догнать Шишу, но с отчаянием чувствовала, что расстояние между ними все увеличивается: Катя была неуклюжа и тяжеловата на бегу. Взабежав на бугор, она увидела внизу белую дорогу и несущуюся по ней таратайку.

Шиша выскочила на дорогу перед самой мордой лошади.

Оглобля ударила ее в грудь, и она упала в пыль, под колеса.

Позади, у себя за спиной, Катя услышала громкий крик Мани.

Таратайка сразу остановилась. Козин выскочил на дорогу, поднял Шишу, положил ее в таратайку, вскочил на сиденье и хлестнул коней.

Когда Катя выбежала на дорогу, таратайка была уже далеко и неслась все дальше и дальше, к Царь-Никольскому.

На соседнем бугре вспыхнул огонек — это девчонки, перепуганные шумом, зажгли мочалу.

Катя, не целясь, дважды выстрелила таратайке вслед.

59

Оба дозора прибежали в хутор. Девчонки проснулись и выскочили из сарая. Бледный свет месяца озарял их бледные лица, сиял в испуганных глазах.

Катя знала, что в хуторѣ больше оставаться нельзя.

Еще вся ночь впереди. Еще многое можно успеть до рассвета. Катя повела их к амбару. Они послушно пошли за ней всей гурьбой. Вокруг амбара стояли возы, нагруженные мешками с зерном. Катя велела запрягать в них волов.

Волы, разбуженные, мычали. Они не хотели выходить из хлевов, и девчонки второпях били их чем попало. Волы разбежались, и их приходилось ловить, бегать за ними по дворам. Тревожное их мычание несло над хутором и, наверно, было слышно за много верст кругом. Это пугало девчонок, и они торопились еще больше.

Но как они ни торопились, прошел целый час, прежде чем одиннадцать нагруженных возов выехали из хутора на дорогу и двинулись по направлению к станции.

Колеса скрипели оглушительно. Волы еле плелись. Девчонки тыкали шесты им в бока, но волы от этого только усерднее мотали хвостами, а ноги переставляли все так же лениво.

Вся степь была залита лунным блеском, и тени возов, огромные как горы, отчетливо чернели. Этот медленно ползущий, скрипучий обоз можно было бы заметить от самого горизонта. Но все было пусто кругом.

Оглядываясь, Катя каждый раз видела тополя и крыши Бакалки. Они удалялись очень медленно. Однако время шло, и Бакалка мало-помалу начала пропадать, растворяться во тьме.

Она совсем уже было пропала, как вдруг Катя снова ее увидела.

Катя остановилась, удивленно глядя назад.

Ей показалось, что небо за Бакалкой странно посветлело. На посветлевшем этом небе опять отчетливо стали видны тополя покинутого хутора.

Многие девчонки тоже остановились и глядели назад.

— Горит! — сказала Верка-рыжая.

Она стояла рядом с Катей. Винтовка, повернутая дулом вниз, висела у нее за плечами.

— Здорово горит!

— Далеко горит!

— Верст десять за Бакалкой.

— Это Царь-Никольский горит, — сказала Верка.

Замолчали. Всем было ясно, что Верка права: горит Царь-Никольский.

Красное пятно за Бакалкой становилось все ярче и больше.

Они стояли, смотрели на пожар, молчали. Потом словно опомнились — повернулись и побежали догонять ушедших вперед волов.

— Вера! — позвала Катя негромко.

Верка остановилась.

— Вера, я пойду туда.

— Куда?

Катя махнула рукой в сторону далекого пожара.

— Спятила! — сказала Верка.

— Там их убьют, Вера! Ей-богу, я тут вам не нужна. Ты без меня возы довезешь. Вы хорошо дойдете, здесь нет никого, они все там. Я пойду, Вера. Ты только девчонкам не сразу говори и Маньке не сразу, а то она за мной увяжется.

Катя повернулась и пошла по дороге назад.

— Постой... — сказала Верка неуверенно. — Послушай, что я тебе скажу...

Но Катя, не оборачиваясь, махнула ей рукой и побежала.

Глава двадцатия

ХУТОР ЦАРЬ-НИКОЛЬСКИЙ

60

Козин стегал лошадей, и таратайка, подскакивая, неслась по дороге. Месяц сиял в вышине. Кругом было пусто и тихо.

Шиша, скорчившись, лежала у Козина

в ногах, лицом вниз. Ее подкидывало на выбоинах дороги.

Козин смотрел на ее плечи, стараясь отгадать, очнулась она или нет.

Она не двигалась.

Он носком сапога повернул ее набок. Месяц озарил ее лицо. Черные глаза ее были открыты и смотрели на него.

— Ха! — сказал он. — Лежишь? Ну, лежи, лежи.

При свете месяца узкие губы ее казались почти черными.

— Отпусти, — попросила она еле слышно.

— Вот чего захотела! — сказал он и засмеялся. — Нет, уж доедем. Небось, не будешь больше кусаться.

Она с трудом приподнялась и медленно села у его ног.

Он сидел над ней, держа вожжи. Их сильно подбрасывало, и голова ее откидывалась при каждом толчке.

— Ты этак затылок о передок расшибешь, — сказал он, внезапно подобрев. — Садись сюда.

И похлопал рукой рядом с собой по сиденью.

Она поднялась и села на указанное место, слева от него. Он стегнул лошадей.

— Думаешь, тебе со мной хуже будет, чем с ними? — сказал он. — Вот дура-то! Теперь здесь все мое!..

Он переложил вожжи в правую руку, а левую протянул, чтобы тронуть ее за плечо. Но она сразу нагнулась к его руке, и он отдернул пальцы.

— Опять кусаться? Но! Но! — крикнул он угрожающе, переложив вожжи в левую руку и подняв правый кулак. — Я тебе все зубы выбью, разучишься кусаться!

Он рассердился и долго не мог успокоиться.

— Посадская краля! — говорил он. — Нонче все посадские в господу лезут. Но кончилось ваше время, погуляли. Сейчас всех порубим, вот мяса-то будет! Хоть на солонину соли!

Кобыль был черен кругом, белая дорога бежала вдаль, то поднимаясь, то опускаясь. Слушая его, Шиша осторожно поставила ногу на подножку.

Но он не дал ей соскочить.

Размахнувшись, он ударил ее сбоку кулаком по голове, и она упала на прежнее место, к его ногам.

— Получила? — спросил он.

Она не вскрикнула, ничего не сказала.

Он замолчал.

Дорога шла вверх по склону бугра, и лошади бежали нешибко. Она снизу смотрела ему в лицо. Когда таратайка вползла на бугор, на лице Козина появился красноватый отблеск. Пламя отразилось в его глазах.

Она чуть-чуть приподнялась, обернулась и далеко впереди увидела пожар.

Пожар этот, вероятно, только что вспыхнул. Три огненных пятна, сиявшие почти рядом, росли с каждым мгновением.

Козин тоже смотрел на пожар. Он даже привстал, чтобы лучше видеть. Она воспользовалась тем, что внимание его занято, и прыгнула.

Он успел схватить ее за кофту. Но не удержался на ногах, и они оба покатались из таратайки в пыль.

Винтовка сорвалась с его плеч и, перевернувшись несколько раз, легла в ковыль в четырех шагах от дороги.

Они, падая, тоже перевернулись, и Козин оказался лежащим под Шишей.

Он с силой оттолкнул ее и встал на ноги.

Она тоже встала.

Кони, протащив пустую таратайку еще шагов двадцать, остановились на дороге.

Дуло винтовки, отражая лунный свет, синевато поблескивало в ковыле. Козин хотел подойти и поднять винтовку, но Шиша преградила ему путь.

Они были одинакового роста. Стояли и смотрели друг другу в глаза. Он попытался отпихнуть ее в сторону, чтобы пройти, но она не поддалась.

Тогда он поднял кулак и ударил ее по лицу. Удар сбил ее с ног, и она рухнула на землю.

Он хотел перешагнуть через нее, чтобы поднять винтовку, но она схватила его за ногу, и он упал плашмя.

Он сразу вскочил, но она на одно мгновение опередила его и уже стояла обеими ногами на винтовке.

Взбешенный, он снова со всей силой ударил ее, и она упала, прикрыв винтовку своим телом.

Он нагнулся, засунул под нее руки и ухватился за винтовку.

Но она уже тоже держалась за винтовку.

Он дернул, но вырвать винтовку не мог и упал.

Они боролись на земле, не выпуская винтовки из рук. Переваливаясь друг через друга, они медленно катились вниз

по склону бугра. Комья сухой глины и жесткие стебли травы царапали им лица.

Он крутил винтовку и выворачивал Шише руки. Иногда ему удавалось вырвать винтовку из ее пальцев, но он не успевал встать, как она снова вцеплялась в нее. Она знала, что если она позволит ему отойти с винтовкой на два шага, он застрелит ее. И он знал, что она это знает.

Они катились вниз, переваливаясь друг через друга, молчали и пыхтели. Наконец, он, вырвав винтовку, вскочил. Но и она вскочила почти одновременно с ним.

Чтобы не дать ей снова уцепиться за ствол, он размахнулся и швырнул винтовку далеко вниз, под бугор.

Винтовка полетела, дважды подскочила, ударившись об землю, упала в траву и исчезла.

Он побежал вверх, к коням, стоявшим на вершине бугра.

Она побежала вниз искать винтовку.

Ковыль был густ, всюду одинаков, и свет месяца озарял его только сверху, не проникая в глубину. Она сразу потеряла то место, куда упала винтовка. Она кружила, стараясь нащупать винтовку ногой; она нагибалась и разгребала ковыль руками. И все поглядывала наверх: не уехал ли Козин.

Козин давно уже добежал до таратайки, но лошади запутались ногами в вожжах и не могли ступить ни шагу. Он сел рядом с ними на корточки и, торопясь, беспокоясь, заставляя их подымать то одну ногу, то другую. Лошади нервничали, упрямылись, и он бил их ребром ладони по бабкам. Наконец, ему все-таки удалось распутать их ноги, и, с вожжами в руках, он шагнул к таратайке.

И вдруг Шиша нечаянно наступила на винтовку.

Схватив ее, она легла и прицелилась.

Выстрел грянул как раз в ту минуту, когда он сел на сиденье. Он свалился на бок, но из таратайки не выпал. Голова его свесилась к самому колесу.

Кони поскакали.

61

В Царь-Никольском, на самом краю, стояло длинное кирпичное здание, такое низкое, что, подпрыгнув, можно было достать до его крыши. Со всех сторон оно заросло лопухами, крапивой, чертополохом в рост человека. Окон оно не имело,

а свет проникал в него через несколько маленьких отдушин, шириной в один кирпич, под самой крышей.

Это был старый прочный купеческий лабаз, и помещался он при лавке, стоявшей в середине хутора с заколоченными дверями и окнами. Лавка выходила крыльцом на улицу, а лабаз стоял позади, и за ним начиналась степь. Дверь лабаза была обита железом; она запиралась снаружи и изнутри тяжелыми засовами. Открыв дверь, приходилось спускаться по нескольким ступеням. Внутри всегда было почти темно. В жаркие дни оттуда веяло холодом, как из погреба; но в холодные ночи там долго держалось тепло. В земляном полу лабаза была деревянная дверца, откинув которую можно было нащупать лестницу, ведущую вниз, в подземелье.

В этот лабаз женщины, работавшие в Царь-Никольском, складывали мешки с обмолоченным зерном. За последнее время в лабазе на мешках ночевал Виктор. Прежде он, как и в станице, спал в телеге под открытым небом, но потом, когда ночи стали холоднее, он перекочевал в лабаз и спал там один. Женщины спали в пустых домах.

С тех пор как начались лунные ночи. Виктор перед сном, обычно часа полтора, сидел на крыльце лавки. Он очень скоро начинал дремать, но уходить ему не хотелось. Он вздрагивал, открывал глаза, смотрел на окружавшие хутор пологие холмы, облитые лунным светом, и опять дремал.

Однажды, открыв глаза, он увидел на холме несколько всадников, которые скакали гуськом, цепочкой. Было их, кажется, семеро. Они пропали в густой тени лощины, но через минуту он увидел их на другом холме, гораздо ближе.

Он зашел в лабаз и вынес оттуда свою винтовку. С винтовкой в руках побежал он к тем домам, где спали женщины. Он разбудил их, и они выбежали на улицу, не понимая спросонья, что случилось.

Уже был ясно слышен стук копыт по твердой земле. Всадники появились в конце улицы; их тени мелькали по стенам домов.

Женщины побежали к лабазу. Это не был заранее придуманный план защиты. Просто в лабазе лежал хлеб, ради которого они сюда приехали, который они сами обмолотили, и в минуту опасности они сгрудились вокруг этого хлеба.

Женщины побежали к дверям кирпичного лабаза, а Виктор перевернул пустую телегу и перегородил ею улицу.

Он опустился за телегой на колени, согнул плечи и стал целиться. Когда он выстрелил, всадники остановились, потом передний поднял шашку, и они поскакали к телеге во весь опор.

Виктор выстрелил снова. Всадник, скакавший впереди, слетел с лошади и упал на землю плашмя.

Виктор не ожидал этого и даже удивился. Он не привык к тому, чтобы то, что он делал, удавалось. Обрадованный, он выстрелил еще.

Но стрелять уже было не в кого, потому что всадники сразу свернули с улицы, перескочив через низкий глиняный дувал, и поскакали за домами.

Виктор знал, что сейчас они появятся у него за спиной. Он вскочил, повернулся и побежал.

Он сразу наткнулся на Тасю и понял, что она не ходила к лабазу вместе со всеми женщинами, а все время стояла за его спиной. Они побежали вдвоем. Он был длинноног, бежал гораздо быстрее, чем она, и раза два ему пришлось остановиться, чтобы подождать ее. Они вместе влетели в раскрытую дверь лабаза.

Виктор захлопнул дверь и запер ее изнутри на засов.

Женщины в лабазе молчали. Он не видел их, но слышал их напряженное дыхание.

Снаружи уже стучали копыта. Всадники скакали вокруг лабаза, искали вход.

Потом затряслась дверь.

Они услышали голос:

— Выходи!

Никто ничего не ответил.

Дверь опять затряслась.

Тогда Виктор влез на мешки и добрался до отдушины под крышей — в той стене, где была дверь. Он осторожно заглянул в отдушину и увидел, что перед дверью стоят трое, уже спешившиеся. Немного поодаль, в тени лавки, были еще люди. И кони.

Виктор просунул дуло в отдушину и, изогнувшись, выстрелил.

Стоявшие возле двери побежали. Один из них хромал и несколько раз нагибался, чтобы потрогать свою ногу. Они исчезли где-то за лавкой.

Все смолкло.

Но не надолго.

Скоро кругом опять застучали и забегали, ломая сапогами лопух и чертополох.

И вдруг через заднюю отдушину пули полетели внутрь лабаза.

Женщины вскрикнули и повалились на пол. В лабазе было темно, стрелявший ничего не видел и бил наугад. Слышно было, как пули шелестели в крыше, как отскакивали они от стен.

Женщины переворачивали тяжелые мешки с зерном и прятались за ними. Вполголоса окликали друг дружку. Забивались в углы.

Виктор, прыгая по развороченным мешкам, спотыкаясь, побежал через весь лабаз к той отдушине, из которой стреляли. На бегу он сам выстрелил, но, видимо, в отдушину не попал, потому что оттуда сразу же грянул новый выстрел.

Виктор не мог дотянуться до отдушины. А тот, за стеной, сидел, вероятно, на лошади, и отдушина приходилась ему как раз на уровне глаз. Виктор нацупал большой мешок и потащил его к стене. Однако, пока он возился с мешком, стрелявший успел ускакать. Взобравшись на мешок и осторожно глянув в отдушину, Виктор увидел, как он скачет, пригнувшись к гриве коня. Виктор поспешно выстрелил, но тот уже исчез за углом лабаза.

И тут же началась стрельба из двух других отдушин. Виктор слышал, как женщины бегут во тьме, прячась за мешками, меняя места. Прижимаясь к стене, он побежал по мешкам к одной из этих отдушин. Теперь он уже не стрелял заранее, он старался не шуметь.

Он стоял, согнувшись, на мешке под самой отдушиной, и пули пролетали над его головой. Он слышал, как дуло винтовки, шевелясь в отдушине, тихонько скреблось и брякало о кирпич. Между двумя выстрелами он чуть-чуть приподнялся и увидел прямо за отдушиной черный контур головы. Внезапно, одним движением, сунул он свою винтовку в отдушину и тут же выстрелил.

Он слышал, как скрипнула кожа седла, как медленно сползал человек с лошади и как с сухим шелестом он упал в лопухи.

Сразу же перестали стрелять и из второй отдушины. Виктор слышал, как потихоньку унесли убитого, увели его лошадь. Потом все смолкло.

Наступила необычайная тишина. Можно было подумать, что все покинули хутор.

Виктор стоял на мешке, держа винтовку. Он не верил этой тишине и боялся ее. Эта внезапная тишина была страшнее стрельбы, потому что он не знал, чего ждать.

— Целы? — спросил он вполголоса.

Ему не ответили.

— Все целы? — повторил он.

— Как будто все, — неуверенно произнес из тьмы женский голос.

Странный, еле заметный красноватый отсвет появился в лабазе. Этот отсвет проникал через отдушину возле двери, дрожал, мигал, прыгал, разгорался, и мало-помалу мешки и лица женщин стали выступать из мрака.

Виктор отбежал к двери, влез на мешок и глянул в отдушину.

Лавка горела.

Она горела разом с нескольких сторон. Огонь еще не добрался до крыши, но через щели ставень видно было, что внутри все пылает.

Внезапно за спиной у Виктора закричали.

Он обернулся.

При свете пожара, проникавшем через отдушину в лабаз, он увидел двух женщин, неподвижно лежавших рядком на мешках. Они были убиты, быть может, еще в самом начале, но тогда, в темноте, никто не заметил их смерти.

Живые в молчании смотрели на мертвых.

62

Кони, тащившие таратайку с Козиным, проскакав несколько сажень, опять остановились, и Шиша, взойдя на бугор, увидела их снова в сотне шагов от себя.

Она пошла к таратайке. Сначала она шла быстро, но потом ноги почти перестали ее слушаться. У нее болело все лицо, болела грудь, ей было больно дышать.

Все пыло у нее перед глазами. Она заметила, что пламя пожара стало больше и ярче. Уже не было отдельных огней, все слилось. Красноватые отблески прыгали по всей степи. Тени таратайки, лошадей, ее самой стали двойными — одна от месяца, другая от пожара.

Подходя к таратайке, она уже едва держалась на ногах. Мысли ее путались, но она помнила, что ей еще что-то необходимо сделать. Ноги Козина в высоких сапогах торчали вверх. А, нужно сбросить

его с таратайки и ехать... Но эти неестественно задранные ноги испугали ее своей неподвижностью.

Она медленно обошла таратайку кругом. И увидела его лицо.

Запрокинутое, оно висело почти у колеса, ярко озаренное месяцем. Узкая струйка черной крови вытекала из раскрытых губ и пропадала в волосах. Глаза его были открыты.

Взор этих неживых глаз наполнил ее тем ужасом, который она испытывала в трюме, когда ей приходилось быть возле умерших женщин. Все помутилось вокруг. И она упала в траву.

Она лежала очень долго. Иногда она приходила в себя. Все было кругом неизменно, и только месяц оказывался в другом месте неба. Она подымала голову, ища таратайку. Таратайка тоже всякий раз оказывалась в другом месте, но неподалеку. Лошади дремали стоя, переступали с ноги на ногу, фыркали. Она чувствовала, что ей нужно подняться и что-то сделать. Но сразу же опять впадала в забытие.

Ощущение времени она потеряла. То ей казалось, будто она только что ехала вместе с Козиным в таратайке; то чудилось, что ночь эта тянется уже бесконечно и что она уже спокон веку лежит здесь, в траве. Боль в груди не оставляла ее даже в минуты полного беспомощства.

Очнувшись она окончательно от того, что кто-то взял ее за руку. Прежде всего она увидела месяц. Он висел совсем низко, над самым горизонтом, стал большим, красным и мутным. Потом узнала Катю.

Катя обрадовалась, увидев, что Шиша открыла глаза.

— Я тебя подыму, — сказала она.

— Я сама, сама, — сказала Шиша поспешно.

И, уцепившись за катину руку, встала на ноги. Все пыло и качалось вокруг Шиши.

— Ты можешь итти? — спросила Катя.

— Я сама, сама, — повторила Шиша и, отпустив катину руку, быстро пошла к таратайке.

На таратайке Козина не было, и шла она смело. Она совсем забыла о нем. И чуть не наступила на него. Он лежал в траве, лицом вниз, и голенища его сапог тускло блестели.

Она отпрянула и пошатнулась.

Катя взяла ее за плечи, обвела вокруг

таратайки и усадила на сиденье. Потом подняла с земли вожжи и вывела лошадей на дорогу.

На дороге она сама влезла в таратайку в села рядом с Шишей.

— Едем! — сказала она.

И они понеслись к далекому, прыгающим огням.

63

Весь хутор был ярко озарен, и из отдушин лабаза каждый камень и каждый лист были видны, как днем. Горели все дома, сараи, пристройки. Особенно буйно, с протяжным ревом, пылали огромные кучи соломы, оставшиеся после обмолота. На хуторе было немало соломенных крыш. Когда вспыхивала какая-нибудь соломенная куча или крыша, столб пламени подымался на необычайную высоту. Звезд давно уже не было видно; по небу носились целые стаи горящих соломинок. Обожженные во-лы и коровы, выпущенные из горящих хлевов, металась по дворам и проулкам, скорбно и безнадежно мыча. Черно-багровые клубы дыма то стлались по земле, то подымались ввысь.

Дым густо набивался в лабаз через отдушины, разъедал глаза, скапливался под крышей. Лабаз был осажден пламенем с трех сторон. Свет вривался в окна, прыгал по стенам, по мешкам. Все сидевшие в лабазе ясно видели друг друга. Стало жарко. Трудно стало дышать. Стены во многих местах так накалились, что к ним невозможно было подойти.

И все же старый лабаз предохранял их от огня. У него были толстые кирпичные стены и железная крыша. Он не мог загореться. Сбившись в кучу возле задней стены, за которой начиналась степь, они, задыхаясь, кашляя, ждали, что будет дальше.

Виктор с винтовкой, час за часом, ходил по лабазу, заслоняя лицо рукавом от жара и дыма. Ожидание томило его, он хотел что-нибудь делать, тяжелее всего было ждать. Иногда он добирался до отдушины, пытался выглянуть, осмотреться, но отдушина дышала жаром, как открытая топка, и он отходил.

Время шло.

И, наконец, началось новое нападение.

Кто-то из нападавших бросил через отдушину горящую головешку. Виктор сразу же затоптал ее. Но тут и через другие

отдушины стали вталкивать в лабаз пылающие головни.

Их тушили все вместе. Топтали, обжигая ноги. Когда головня не хотела потухнуть, женщины переворачивали мешки и засыпали ее зерном. Они тушили головни, но через отдушины им швыряли все новые, проталкивали горящие жерди и доски.

Хуже всего было, когда огонь попадал на мешки. Мешковина сразу начинала тлеть, и легкое, прозрачное пламя поспешно расплзлось по мешку во все стороны, переползало с мешка на мешок. Дыма в лабазе становилось все больше, и в этом дыму женщины бежали, барахтались, топтались, туша пламя.

Потом вдруг наверху, на железной крыше, загремели тяжелые шаги. И Виктор понял, что дело подходит к концу.

Он откинул дверцу, ведущую в подполицу. Холодом пахнуло оттуда на него. Запахом холодной, влажной земли. Этот холод и этот запах показали ему теперь необычайно приятными.

Он велел женщинам лезть туда, в подполицу, и они поспешно полезли одна за другой, ощупью отыскивая скользкие деревянные ступеньки. Они пропадали в черной яме, а наверху уже визжало и скрипело железо. Крышу разбирали.

Виктор взобрался на самую высокую грудку мешков и ждал, выставив вперед винтовку.

Дверца, ведущая в подполицу, захлопнулась. И вдруг он заметил, что одна женщина осталась в лабазе. Она стояла под ним, на полу, и он не сразу разглядел, кто она, потому что дым мешал ему. Однако он догадался, что это Тася.

— Иди! — сказал он ей.

Она не ответила, не двинулась с места.

— Ступай! — крикнул он.

— Вот еще, — сказала она.

— Уходи!

Он замахнулся на нее винтовкой.

Она не двинулась.

Щель появилась в крыше и сразу же превратилась в широкую пробоину, через которую хлынул свет пожара. За пробоиной мелькнуло что-то темное — ноги, как-то жется.

Виктор хотел выстрелить.

Но его опередили.

Он услышал выстрел. Сильный удар в грудь опрокинул его на мешки.

Он сразу вскочил и поднял винтовку.

Но выстрелить не успел, потому что

снова щелкнул выстрел, на этот раз где-то внизу, за стеной, далеко. И огромный казак, неизвестно кем убитый, рухнул через провал в крыше на земляной пол лабаза.

Снова вдали щелкнул выстрел.

Наверху, на крыше забегали, заматались. Слышно было, как бандиты прыгали с крыши в чертополох.

И снова выстрел вдали.

Виктор хотел крикнуть Тасе, что все хорошо, что к ним пришли на помощь. Но ни одного звука не вырвалось из его гортани. Он старался дышать, он глотал воздух, но грудь его оставалась пустой. Воздух выходил из легкого наружу через дырку в груди, на три пальца ниже левой ключицы, и кровь в этой дырке кипела.

Он хотел передвинуть мешки, чтобы обратиться по ним на крышу, и нагнулся. И вдруг покатился по мешкам вниз и упал на земляной пол рядом с убитым казаком.

64

Когда Катя и Шиша подъезжали к Царь-Никольскому, месяц уже зашел, но вся степь кругом была озарена прыгающим светом пожара. Исполинские тени бежали вслед за ними по степи.

В версте от Царь-Никольского был овраг, который казался глубоким и черным, потому что свет пожара не проникал на его дно. Возле этого оврага Катя вылезла из таратайки. Лошадей и таратайку она осторожно свела вниз, в овраг, и закинула вожжи на низкие, выжженные ивовые кусты.

— Сиди здесь, — сказала она Шише.

— Нет, я пойду, — ответила Шиша.

— Сиди.

Но Шиша уже слезла с таратайки и шла по склону оврага вверх.

Они пошли не по дороге, а по степи, стараясь держаться мест пониже, ложинок, скатов. Они все ждали, что встретят кого-нибудь, увидят, но кругом было пусто. Они очень торопились и, держа винтовки в руках, обгоняли друг дружку. Так, никого не увидев, дошли они до самой околицы, до горящего овина, стоявшего на краю хутора.

Жар обжигал им щеки. Ровный гул стоял над огромным пожаром. Редкие яблони и вишни, уже без листьев, протягивали черные, кривые сучья, как руки. Белые стены домиков, накаленные, светились

насквозь, — внутри плясало пламя. Над крышами стояли языки огня, подвижные, с синими концами. Кучи соломы, огромные, больше домов, были пронизаны огнем, как влагой, золотой по краям, багровой внутри. Сарай, пристройки, овины шевелились, сторая как живые. И нигде ни одного человека.

Это была пустыня, ярко озаренная, пересеченная мелькающими тенями. Катя и Шиша вошли в улицу и пошли мимо горящих построек, перепрыгивая через упавшие, тлеющие жерди.

Никого!

Иногда дым окутывал их так густо, что они останавливались, хмурясь. Постояв, они шли дальше.

Наконец, им преградил путь обрушившийся на улицу горящий сарай. Они свернули и пошли по дворам, задыхаясь от жара, огибая пылающие постройки, кружа наугад, и снова вышли в степь.

Никого.

Из осторожности они отошли от пожара шагов на сто, где свет был не так ярок, и медленно побрели вокруг хутора. Катя была уже почти убеждена, что в Царь-Никольском никого нет, что всех угнали в степь, как угнали из Случайного. Она уже никого не надеялась увидеть.

И вдруг Шиша шепнула ей:

— Глянь!

И повалилась на землю.

Катя упала рядом с ней.

Недалеке от хутора стоял одинокий тополь, и к нему было привязано семь лошадей. Они стояли кружком, головами к тополю. Здесь лошади были в безопасности, так как ветер дул от тополя к хутору и горящая солома до них не долетала. Вытянутые, колеблющиеся конские тени тесно переплелись. У их ног сидел человек.

Немного дальше, несколько в стороне от тополя, стояло низкое кирпичное здание. Вокруг него бушевало пламя, и только одна его стена выходила в открытую степь. На крыше, ярко озаренные, стояли мужчины. Было их четверо. Двое, нагнувшись, ковыряли шашками крышу.

Катя и Шиша лежали на твердых комьях земли. Здесь, видимо, была старая, заброшенная бахча. Когда-то она со всех сторон была окружена низким глиняным дувалом: теперь этот дувал почти исчез и сохранился только спереди. Подобрав подол юбки, Шиша подползла к ду-

валу, залегла за ним и прицелилась в стоявших на крыше мужчин.

Катя подползла к ней и легла рядом.

— Ты чего? — спросила она робко. — Ты что думаешь? Ты думаешь, наши там? — Ясное дело, — сказала Шиша.

И сразу же они увидели, как один казак, стоявший на кирпичном здании, выстрелил вниз, в крышу.

Шиша выстрелила почти одновременно с ним.

Он перевернулся и исчез.

Остальные оглянулись. Ничего не увидев во тьме, скрывавшей от них степь, они, один за другим, попрыгали с крыши. Спрыгнув, они пропали в тени кирпичной стены, но через мгновение появились снова. Во весь дух бежали они к лошадям.

Катя выстрелила.

Но они даже не обернулись.

Катя выстрелила еще раз.

Но они продолжали бежать.

Тогда выстрелила Шиша.

Самый задний упал ничком и больше не двинулся.

Человек, сидевший возле лошади, давно уже поднялся на ноги. Он был хром и подошел к лошадям, держа себя обеими руками за колено. Одним движением отвязал он всех лошадей, и лошади кучей поплыли от ствола.

Двое бежавших вскочили в седла с размахом. Хромой прыгал возле лошади, стараясь влезть на нее, но это ему никак не удавалось. Один из всадников соскочил на землю, усадил его на лошадь и снова вскочил в седло.

Они поскакали, и весь табун понесся за ними. Они исчезли во тьме, но долго еще был слышен затихавший топот копыт. Потом они опять возникли на озаренном пожаром холме. И пропали совсем.

Тогда Катя поднялась и побежала к лабазу. Шиша бежала за ней. Они пробежали вдоль кирпичной стены, свернули за угол и, опаленные жаром догоравшей лавки, остановились возле железной двери.

Наискосок от двери, высоко под крышей, была маленькая отдушина, и Кате показалось, что в этой отдушине мелькнуло чье-то бледное лицо. Катя тихонько постучала в дверь прикладом. Загремел заков, дверь отворилась.

Тася стояла на пороге.

Она нисколько не удивилась, увидев Катю и Шишу.

— Пойдем, — сказала она.

Она повела их между тлевших мешков в дымный и темный лабаз.

Когда глаза Кати освоились с темнотой, она увидела Виктора.

Виктор лежал на полу, неподвижный, не дышащий, под самым проломом в крыше и рот его с белыми зубами был широко раскрыт.

Тася обняла Катю за плечи и прижалась к ней.

Они стояли втроем и молча смотрели на него.

Женщины, вылезавшие из-под пола, подходили к ним. Они тоже останавливались и смотрели на Виктора.

Глава тридцать первая ДОМОЙ

65

Виктора и двух убитых ткачих похоронили в братской могиле возле кирпичной стены лабаза. На похоронах присутствовал Данила Звягин вместе с отрядом бузулукских красноармейцев.

Этот красноармейский отряд настиг в степи банду, разграбившую хутор Случайный, разбил ее, освободил старую Борисиху и всех попавших в плен старух и привел их в станицу как раз утром того дня, когда Козин сбежал из Бакалки.

Ночью баба, дежурившая на колокольне станичной церкви, заметила далеко в степи мерцавшее зарево пожара. Звягин, разбуженный, решил, что горит Бакалка. Он поднял красноармейцев, ночевавших в станице, и вместе с ними поскакал в Бакалку.

Коня дали ему красноармейцы. Первый раз в жизни сидел он верхом. Его трясло и подбрасывало, как куль с мякиной, однако он не отставал.

На полпути до Бакалки они встретили обоз с хлебом. Девчонки при виде всадников кинули волов и возы и разбежались во все стороны. Звягин долго выкликал их по именам. Они узнали его голос, подошли к нему мало-помалу и рассказали о том, как удрал Козин, похитив Шишу, как они собрали обоз и двинулись в станицу, как загорелся Царь-Никольский и как туда убежала Катя.

В Бакалке Звягин с отрядом был на рассвете; в Царь-Никольский он прискакал, когда совсем рассвело.

Пожар уже догорал. Среди столбов дыма торчали обвалившиеся стены, закопта-

лые печи. Женщины вышли встречать красноармейцев на дорогу. Увидев Звягина, многие из них заплакали вслух, — впервые, потому что за всю прошедшую страшную ночь ни одна не плакала ни разу.

Звягин прежде всего отыскал глазами Катю, но, заметив ее, не сказал ей ни слова. От непривычки к верховой езде у него горели ноги, болела спина. Когда он спрыгнул с лошади, ему показалось, что он не в состоянии будет ступить ни шагу, но пересилил себя и пошел.

Он спросил, где Виктор, и ему сказали, что Виктор убит. Он вошел в лабаз и долго молча бродил там в дыму, среди все еще тлевших мешков, разглядывая пробоину в крыше, отдушины, следы пуль на стенах, пустые патроны на земляном полу, вход в подполицу.

Красноармейцы вынесли убитых ткачих и Виктора в степь и положили их за лабазом на сухую, редкую траву. День был прохладный, ясный, сияющий. Все собрались вокруг. Принесли заступы и лопаты. Три красноармейца, сняв с себя гимнастерки и рубахи, принялись рыть яму. Заступы глухо стучали о жесткую, неподатливую землю.

Сначала опустили в могилу обеих женщин. Но когда красноармейцы подошли к Виктору, чтобы поднять и опустить его, Звягин вдруг остановил их. Прижав фуражку к животу, он нагнулся над Виктором и громко поцеловал его в губы. Потом поднялся с необыкновенно злым лицом, повернулся и пошел в толпу женщин. Вполголоса, но так, что все слышали, он проговорил неясно и угрожающе:

— Надо уметь понимать!

А наткнувшись на Катю, прибавил еще свирепее:

— Чего глаза вытаращила? Небось, я не забыл, как ты его ухой обила!

Красноармейцы трижды выстрелили в воздух.

Через несколько часов, когда уцелевшие мешки с зерном были нагружены на уцелевшие возы и все было готово, для того чтобы двинуться в далекий путь к станции, Катя и Тася потихоньку сбегали за лабаз к могиле, к низкому холмику из желтых, твердых комьев. В дневном небе стояла еле заметный месяц, светлый и легкий, как облачко. Здесь они были одни.

Постояв, Катя взяла Тасю за руку.

— Он любил тебя, — сказала она.

— Нет, — ответила Тася.

— Я думала, он любил тебя, — сказала Катя.

— Я знала, что ты так думала.

— А ты разве сама так не думала?

— Сперва думала немножко. А потом не думала.

— А разве он не любил тебя? — спросила Катя.

— Нет, не любил.

— А кого ж он любил?

— А всех, — сказала Тася.

66

Варвара Петровна исчезла в тот самый день, когда в станицу вернулась Авдотья Борисова с ткачихами, попавшими в Случайном к бандитам. Возвращение старых ткачих из плена, отощавших, замученных, но живых и счастливых, так потрясло всех, что исчезновение Варвары Петровны заметили не сразу. К вечеру хватились и ахнули: нет ни Варвары Петровны, ни ее подушек, ни сундучков ее и корзинок! Комната ее, — в поповом доме, рядом со штабом, — стояла совсем пустая.

Исчезла она, конечно, как раз во время: ткачихи в Случайном видели, как она разговаривала с казаками и как казаки сами усаживали ее в таратайку. Старая Борисова уверяла даже, что Варвара Петровна нарочно повесила на бугор сушиться свою белую нижнюю юбку, чтобы дать казакам знак, когда начать нападение. И теперь, после неожиданного возвращения ткачих из плена, Варваре Петровне пришлось бы несладко, если бы она не исчезла.

Но как удалось ей исчезнуть да еще со всем добром, которого у нее откуда-то поднакопилось немало, этого никто понять не мог. Строили самые разные догадки. Некоторые говорили, будто она украла у одного красноармейца лошадь и ускакала верхом. Другие, напротив, предполагали, что она ушла пешком, переодевшись мужчиной, и что мужчина вышел из нее рослый и вообще хоть куда. Впрочем, подобным предположениям верили очень немногие.

И только через два дня, когда Звягин уже вернулся из Царь-Никольского, стало известно, что один местный житель выехал ночью на волах из станицы со всей своей семьей и со всем своим имуществом, и, по словам местных станичных женщин, с ним на возу сидела какая-то старуха, очень похожая на Варвару Петровну. По всей

вероятности, Варвара Петровна пряталась до отъезда в доме этого местного жителя.

Звягин, вернувшись из Царь-Никольского, никогда больше не упоминал ни про Козина, ни про Варвару Петровну. И заговаривать с ним о них никто не решался, потому что был он сердит и чрезвычайно занят — он снаряжал огромный обоз для отправки зерна на железную дорогу: смазывал оси, чинил колеса, грузил мешки на возы. Но зато жену его, Устинью Звягину, поддразнивали многие:

— Устинья, а где ж твоя свекровь?

— Какая она мне, к бесу, свекровь! — отвечала Устинья. — Она в старое время у себя в Иванове-Вознесенском сирот держала безродных, посылала их на фабрику и с них кормилась. Данила с девяти лет на нее работал, оттого у него ноги кривые. Она ж его и обездолила, она ж его и хлебом корила, все благодарности от него требовала. Он на нее и смотреть не хотел, а так, по доброте, по глупости... Да кабы я раньше ведала, я бы ей давно по шеям надавала...

С тех пор как Шиша вернулась в станцию, Устинья все на нее поглядывала. Не раз подходила она к Шише, собиралась, видимо, заговорить, но отходила, ничего не сказав.

Заговорила она с ней только в пути, когда громадный сооруженный Звягиным обоз уже на много верст отошел от станции.

Низкие серые тучи быстро неслись над степью, холодный ветер дул женщинам в спины, подгонял их. Возов в обозе было больше сотни, и весь воздух над степью дрожал от скрипа осей, от шелканья бичей, от окриков, от шума шагов и шелеста юбок. Он так растянулся, этот обоз, что занял всю дорогу до горизонта, и когда его голова вползала на самый дальний бугор впереди, хвост его сползал с самого дальнего бугра позади.

Устинья торопливо шагала короткими, полными ногами, шла все вперед и вперед,

обгоняя воз за возом. Наконец, она увидела Шишу и Тасю, шедших по траве вдоль дороги. Она догнала их и пошла с ними рядом.

Сначала они шли молча.

Потом Устинья хмуро спросила:

— Что это за клычка у тебя такая: Шиша?

— Так прозвали, — сказала Шиша.

— А настоящее имя у тебя есть? Как тебя по-настоящему звать?

— Аграфеной, — сказала Шиша.

Устинья облегченно вздохнула, довольная тем, что Шиша оказалась попросту Аграфеной.

— Что ж ты теперь делать будешь? — спросила она.

— Не знаю, — сказала Шиша.

— Как не знаешь? А куда ж ты теперь пойдешь?

— Куда-нибудь, — сказала Шиша и взяла Тасю за руку. — Нам с ней итти особенно некуда.

— А куда бы вы хотели? — спросила Устинья.

— Нам все равно, — сказала Шиша.

Устинья помолчала.

— А на фабрику к нам хотите? — спросила она строго.

Шиша обернулась к ней, блеснув белками черных глаз, и поспешно сказала вполголоса:

— Хотим!

Потом спросила испуганно:

— А нас возьмут?

— А кто посмеет вас не взять? — грозно сказала Устинья.

Протяжно мычали волю. Ветер шевелил платки и юбки. Женщины шли, не сбиваясь с шагу, мерно покачиваясь на ходу. До родного города было еще очень далеко, но они знали, что дойдут, доедут, доплывут. Они везли хлеб своим детям, своей армии, своей стране.

1939—1941

Илья Авраменко

СТИХИ ОБ ОЙРОТИИ

АРГУТ

Свергаясь по гранитным валунам,
она летит стремительно и круто
и холод брызг дробит по сторонам —
слепая сила мутного Аргута.

Ее стянули камнем берега,
то мрамор в них,
то блестящие хризолита.
и над ущельем вечная тайга
лишь вторит ей тепло и домовито.

А я стою, мечтательный чудак,
судьбой реки волнуясь недалеко:
в сто тысяч вольт несет она в аймак
всю ярость полоненного потока.

ИЗЮБР

Все выше склон, за ним вершин снега.
Горячий день сошел наполовину.
А там, где в согру вклинилась тайга,
завороженный, на спину откинув
тяжелые ветвистые рога,
стоит изюбр над каменной лавиной.

День пахнет медом, солнечным лучом,
смолою пихты крепкого настоя...
Кому трубит он? Думает о чем?
Любви изображение простое!

Оставь свою кремневку за плечом,
застынь на миг пред этой красотой!

В ЮРТЕ

Ты угостить меня желаешь
пьянящей теплою аракой,
чердек узорный растилаешь
и предлагаешь мне покой.

Я рад гостеприимной встрече,
убранству скромного стола,
где дымный чай, курут овечий,
где дружбу водит пиала.

Он дышит весь, твой летник темный,
прохладой пихтовых ветвей...
Поговорим об автономной
родной Ойротии твоей.

Здесь путь на Кяхту вел нескорый
тропой опасной верховой,
но Чуйский тракт, прорезав горы,
теперь в аил ворвался твой.

И оглашая криком звонким
по склонам пыльный карагач,
бегут с товарами трехтонки
в Ойрот-Тура и в Кош-Агач.

А там, где шуму рек внимала
над кручей дремная тайга,
в турбины бьет вода Чемала
и освещает берега.

И ты — семидесятилетний —
иной обрадован судьбе:
хранить маралий заповедник
в горах доверено тебе.

В нем породился ты с наукой.
И только тайно от врачей
все так же смуглых лечишь внуков
весенней кровью пантачей.

Да иногда, предавшись думам,
глядишь из юрты в синий дол,
где по камням несется с шумом
и серебрится Каракол.

И жизнь, как песню, принимая,
ты сам становишься светлей:
истлели плети Аргамая,
не водит банды Тужелей.

И сердцу дышится просторно,
и даже юрта не тесна,

корою лиственницы горной
в который раз обновлена.

Я навсегда покину склоны,
уйду, мечтой своей влеком,
но чувство дружбы, чай соленый,
курут, пропахший табаком,

весь этот — в синей дымке — вечер,
аил на звонком берегу,
тепло твоей радушной встречи, —
невольно в сердце сберегу.

Я унесу в себе навеки
все, что в краю твоем нашел,
чтоб, проходя другие реки,
вдруг вспоминал бы черный шелк

и шум реки в горах тревожный,
что так мне издавна знаком,
и конус юрты придорожной,
увитой дыма стебельком.

Ноябрь 1940.

А. Котовщикова

ГОРНЫЙ ЛЕС

ПОВЕСТЬ

Часть первая

1

Буковый лес расступался, открывая небольшие поляны. Днем солнечные лучи низвергались на поляну горячим потоком — разнотравье поднялось пышно, усеянное цветами: плотными сгустками багровели пионы, высились белые пушистые метелки асфоделины, нежно голубели колокольчики, часто разметалась розовая материнка. Стройные буки равнодушно смотрели на всю эту пестроту.

На поляне прыгал высокий человек в белой, распахнутой на груди рубашке, в лотняных штанах. Круглая, коротко стриженная голова его увлажнялась потом. Человек мигал глазами, когда пот стекал ему на веки, и мотал головой. Шумно дыша, он делал громадные прыжки, откидываясь назад и изгибаясь всем телом. Длинные руки и ноги мелькали в воздухе в самых неожиданных поворотах.

Зрелище было странное и потешное. Но видели это только лес и горы. Человек был один, и его красное, потное лицо сохраняло внимательно-спокойное и сосредоточенное выражение. Над его головой летал, раздуваясь, большой желтовато-серый сачок.

Напрыгавшись, человек ловко, одним взмахом, перекрутил сачок у основания и ушел в тень буков. Он положил сачок на землю, вытер рукавами рубахи лицо, шею и грудь и взял мешок из полосатой плотной материи.

Он снова вышел на край поляны, присмотрелся и быстро накинуд мешок на нижнюю ветку бука. Крепко перевязав мешок,

острым ножом отрезал ветку; мешок свалился на землю. Несколько раз он так срезал ветки в мешках.

Потом он забрался за кустарник и мелкую поросль молодых деревьев, в глубокую тень, расставил мешки, аккуратно проверил, не развязались ли, и вынул из рюкзака полбуханки серого хлеба и кусок сала. На сало он посмотрел и снова спрятал его — захочется пить; хлеб съел весь, закладывая в рот огромные куски и неторопливо, но сильно двигая челюстями.

Кончив есть, он, подложив под голову рюкзак, лег на землю, повернувшись на бок и немного поджав ноги, как человек, уютно укладывающийся в постели, и накрыл лицо носовым платком.

Лес сладко жужжал вокруг него, дышал запахами цветов и деревьев, нагретой земли.

Косуля вывела косуленка из дневного приютия на поляну кормиться. Она издали заметила странный предмет, белевший за кустами, остановилась на половине шага и долго стояла, повернув любопытную мордочку с черным пятном на носу, насторожив уши и то опуская, то поднимая голову, точно кланяясь.

Предмет был неподвижен. Косуля поступала нетерпеливо передним копытцем: если бы не детеныш, она бы подошла ближе — движение воздуха было от нее. Но в ее рыжий живот тыкался мягкой мордочкой косуленок, и она отошла из предосторожности на противоположный край поляны, часто оглядываясь и то кланяясь гибкой шеей, то застывая на минуточку, как изваяние.

Тени высоких, прямых, как колонны, буков легли на поляну. Трава стала влажной и уже не грела, а холодила открытую грудь. Сладковатый запах цветущей материнки сделался резче...

Проснувшись, человек растерянно вскочил. Он сразу почувствовал, что проспал. Вынул из рюкзака часы и, скривившись, сказал: «Нирвана переборщила!» Слова показались ему смешными, и он громко засмеялся.

Послышались треск и гавканье: косуля метнулась в чащу, за ней прыгнул косуленок, не сводя глаз с материнского хвоста.

И долго еще, удаляясь, глухо и прерывисто метался тревожный крик, а человек уже шел, нагруженный растопыренными от веток мешками, сачком и рюкзаком, немного согнув широкие плечи.

Он шел не быстро и не медленно, мерной походкой. В гору он шел немного медленнее, чуть сильнее раздвигая ноздри, с горы — немного быстрее. Он поднимался и спускался, пересекал балки, коньки и быструю, изворотливую, как змея, на много километров тянущуюся горную речку.

Так, ни на секунду не останавливаясь, вспугивая на полянах зайцев и косуль, он прошел километров десять. Он не ускорял шаг, чтобы не выдохнуться. А поторопиться очень хотелось.

Он думал о том, что опоздает к ужину и ему неудобно будет, чтобы его кормили отдельно. Если предложат покормить, то придется сказать, что ему не хочется. Но, пожалуй, и предложить будет некому. Хорошо, если он успеет хоть немного посидеть вместе со всеми. Вернее, конечно, что он дойдет, когда все уже будут спать. Так ему всегда везет.

В балке уже лежал рыжеватый, прохладный сумрак. Человек ступал, как лошадь, нимало не заботясь о тишине. Тонкие веточки, прикрытые листвой, ломались с треском под подошвами, цеплялись за штаны.

Вдруг человек услышал негромкий, сердитый и испуганный окрик:

— Кто идет? Буким' дыр?

Он удивленно остановился, задрав голову: окрик шел откуда-то сверху.

Из-за толстого ствола на крутом склоне балки выступил татарин в темносиней форме охранника, с ружьем, зажатым в руках. Молодое, смазливое лицо татарина выра-

жало сильное напряжение, черные глаза округлились, рот был приоткрыт.

— Мераба, Балджи! — сказал человек.

— Ветловский! — обрадовался татарин.

Он живо повесил ружье на плечо, на короточках съехал проворно со склона, сел, подогнув ногу, на землю и сказал небрежно и насмешливо:

— Я думала, стадо олени идет. Так сейчас не время, — ходят одинокий. Шибко топаешь! — Лицо его стало встревоженно-значительным, он сказал шопотом: — Тикай от меня скорей, Ветловский!

— А что такое? Это что за конспирация?

— Я браконьера ловит! — гордо сказал татарин и выпятил грудь. — Маруся браконьера следил, понимаешь? На казарму, к Ахтэму прибег, сказал: «Айда!» Он туда, я сюда.

— Это кто же к Ахтэму прибег? Браконьер? Плохой браконьер! На казарму к наблюдателю бежит.

— Тьфу, башка твой дурак! Маруся прибег, сказал. А мы — айда! Браконьерский тропка сторожим.

— А Маруся-то где же? — насмешливо спросил Ветловский. — Чего ж она не сторожит?

— Маруся аж к Стеше Щуренко пошла. У ней ночувать будет.

Ветловский опустил на землю рядом с Балджи.

— Расскажи толком, как дело было.

Балджи неуверенно покосился на Ветловского:

— Ну, сидай со мной. Ты идешь — хрус-хрус! Хуже сыгына.¹ Браконьера спугаешь. — Он взглянул в густую, испрещренную красноватыми солнечными пятнами глубину леса, вздохнул. Потом заговорил быстро и оживленно, с видимым удовольствием: — Понимаешь, Ветловский, дела була так. Он шла на солонец, Маруся. Смотрит, — ай-шайтан! — браконьер несет коза! В мешке, а один передний нога торчит. Отнимаешь ты коза голыми руками, скажи, Ветловский?

— Нет, не отнимаю, — сказал Ветловский.

— Бэрэшь ты браконьера за-под ручку голыми руками? — Балджи подождал. Ветловский задумчиво молчал. — Нэт, не бэрэшь! Она бег скорим шагом к Ахтэму. А и гдэ я был? Я там була!

¹ СЫГЫН — олень.

— Ты настоящий оратор, Балджи. Тебе бы в Лиге наций выступать. Между прочим, не женское это все-таки занятие — ходить вот так по лесу, с браконьерами встречаться.

— Чего не женский? Эта девушка — вот девушка! — Балджи пощелкал языком.

— Девушка как девушка, — равнодушно сказал Ветловский и отвернулся. — Очень уж вы ее все хвалите!

Татарин презрительно сплюнул:

— Жалеть бы тебя, Ветловский, надо, да неохота! Такой якши¹ девушка!

Он услышал, как рядом зашевелилось большое тело Ветловского. Темнота уже упала на них внезапно, как бывает только на юге.

— Жалеть меня, между прочим, не за что. Но не в этом дело... Я у Ахтэма нынче переночую, — сказал Ветловский, помолчав. — И ты ведь туда пойдешь? Давно хожу. С рассвета.

— А-це-це! — сочувственно поцокал Балджи. — А что кушала?

— Кушать-то я кушал. У меня было. Даже осталось. А вот ноги, что называется, зашлись.

— Ночуй, ночуй, пожалста! — По тону слышно было, что Балджи закивал головой. — И я туда пойдешь. А, Ветловский? Чего браконьер не идет? — спросил он то-скиво.

— Твой браконьер давно дома. Козу кушает.

Просидев еще с час, в бездонной черноте они побрели на казарму. Споткнувшись, Балджи нудно бормотал:

— Это ты спугала браконьера, Ветловский! Твоя нога. Эх, жалко! — И совсем тихо: — Эх, дура, Ветловский, яман² парень!

Ветловский усмехался:

— Что же ты не взял фонарика, горенаблюдатель?

— У Ахтэма фонарика, — плаксиво отвечал Балджи.

Спотыкался Балджи часто. Ветловскому надоело его бормотание, и он уже не слушал, молча улыбался в темноте чему-то своему.

Когда Ветловский и Балджи пришли, наконец, на казарму, Ахтэм, плотный, коренастый и спокойный, сидел за столом и

невозмутимо ел шорбу — татарский суп из лапши с фасолью, такой густой, что ложка в нем стояла торчком. Семилинейная керосиновая лампа освещала комнату. Каждый раз, как Ахтэм подносил ложку ко рту, на стене мерно колыхалась его огромная тень.

Ахтэм обстоятельно рассказал, как он задержал браконьера и отвел его в сельсовет, где браконьера и заперли пока в сарай, приставив к нему сторожа из колхозников.

Балджи завистливо хлопал глазами.

— Молодец Маруся! — кончив рассказывать, сказал Ахтэм. — Нэ растерялась. Дала знать.

— Ну, знаете, — сказал Ветловский, глядя в сторону, — в наших условиях, между прочим, это всякий бы сделал.

— Эбэт,¹ — наклонил голову Ахтэм. — Верна! Но она сделала это хорошо, быстро!

Балджи длинно и горестно вздохнул. Потом звонко икнул и опять вздохнул — от огорчения и чтобы подавить икоту. Он и Ветловский наелись так, что трудно было дышать.

Дети Ахтэма крепко спали, разметавшись в подушках, одеялах и ковриках, разостланных на полу. Из цветной, тряпичной мешанины там и сям торчали голая коричневая маленькая рука, твердая, как картошка, пятка, лохматая черная головенка, тоненькая косичка.

Ветловский знал, что детей у Ахтэма не то четверо, не то пятеро. Но при виде этих перепутавшихся маленьких тел ему казалось, что ребят штук десять.

Жена Ахтэма, Фатьмэ, сонная, с волосами, растрепавшимися под косыночкой, повязанной по-татарски, на самом затылке, сидела у печки, сложив на груди руки. Время от времени она что-то быстро и гортанно говорила по-татарски Ахтэму, потом вставала и выходила на крыльцо.

— Что это они? — спросил Ветловский.

— Свинка у них пропал! — с удовлетворением сказал Балджи. — Не вернулся ночувать.

— А они держат свиней? — удивился Ветловский.

Помрачнев, Балджи кивнул:

— Держат.

¹ Якши — хорошо, хорошая.

² Яман — плохой, худой.

¹ Эбэт — да.

— Я и не знал, между прочим, что вы такие передовые! — сказал Ветловский Ахтэму с удовольствием: этот наблюдатель нравился ему своей спокойной сдержанностью.

Ахтэм немного смущенно улыбнулся:

— Завели одну. Проба делаем.

Фатьмэ вернулась и заняла свое место у печки.

— У нас говорят: свиная мясо нечистый, — слегка нахмурясь, медленно и отчетливо сказал Ахтэм. — А чего нечистый? Русский люди кушают — нэ пропадают.

Фатьмэ, все время слушавшая разговор с деланным вниманием на сонном лице, — по-русски она понимала плохо, — оживилась и бросила на мужа быстрый взгляд.

— Русский говорят: свинка пэк якши,¹ — сказал Балджи. И глупо захохотал: — Якши-яман в один карман!

«Кажется, свинку завести было не такто просто», — подумал Ветловский: во взгляде Фатьмэ он заметил явную строптивость.

— Нет, вы, между прочим, совсем передовые, — сказал он. — Ведь, кажется, Фатьмэ даже сама корову доит? Я раз видел.

— Нэ бу?² — тихонько спросила Фатьмэ мужа, услышав свое имя.

Ахтэм сказал ей по-татарски. Она покраснела, очень довольная, и захихикала, прикрыв рот ладонью.

— Научилась мало-мало, — спокойно сказал Ахтэм.

— И почему это всегда у татар мужчины доят? — спросил Ветловский.

— Так. — Помолчав, Ахтэм добавил неохотно: — Нэ умэют... женщина...

Ветловский слегка усмехнулся, подумав: «И к тому же слишком важная вещь — корова, чтобы доверять ее женщине».

— Видно, мало было прежде у здешних татар коров, — сказал он, — если не научились женщины доить.

— В колхозах теперь много коров, — сказал Ахтэм. — Будут научиться.

— Все равно ашамак³ свинья нэ будэтэ, — убежденно сказал Балджи и громко зевнул. — Продавать будэтэ.

— Э! — пожал плечами Ахтэм — Почему? Будем кушать.

— Фатьмэ нэ будэт. — сказал Балджи.

— Будет! — внезапно раздался упрямый детский голос. Из груди подушек на момент поднялась, затем стремительно нырнула обратно взлохмаченная голова мальчика.

Фатьмэ нахмурилась, скоро-скоро заговорила по-татарски, потом сжала губы и отвернулась.

— Юхла,¹ Мустафа! — сказал Ахтэм. Он слегка улыбнулся с застенчивой гордостью: — С предрассудком борется... Мать воспитает... Пионер!

— Вот молодец! — сказал Ветловский.

— А-де-де! — хитро прищурился Балджи. — На чем воспитать будэт? Битты² свинка!

— Утром придет, — утешил Ветловский.

— Придет, — равнодушно согласился Ахтэм и мельком взглянул на жену.

Она встала и вышла из комнаты. Послышалось ее нежное, призывное цоканье.

Стали укладываться. Ветловский лег у двери на одеяло. Среди ночи он тихонько встал, забрал в сених сачок, рюкзак и мешки, — в мешках приглушенно зажужжало, загудело и забилось, — и вышел на дорогу.

В бессолнечном, росистом тумане он прошел мимо казармы, где жил наблюдатель Щуренко со старухой-женой и невесткой Стёшей.

Резкий, свежий воздух гладил разгоряченные щеки Ветловского. На него забрехала собака. Спала ли Маруся Мишина, зоолог заповедника, вот в этом домике, за этими белыми занавесками, наверно сказать было нельзя.

Он прошел мимо низких окон, еле переставляя ноги.

2

За хвостом лошади Юля взбиралась по «сокращению». Лошадиный круп, коричнево-сизый, отливавший на солнце серебром, казался громадным; он валился то на одну сторону, то на другую. Бренчали по камням подковы. Легонько позвякивали железные крыши для оленьих кормушек на широкой спине лошади. С поводом в руках, бесшумно ступая постолами по самому краю тропы, — «Как он не оборвется?» — думала Юля, — Рустэм Ширанов тянул

¹ Пэк якши — очень хорошо

² Нэ бу? — Что это?

³ Ашамак — кушать, есть.

¹ Юхла! — Спи!

² Битты — кончился, конец пришел.

сквозь зубы песню, однотонную, без слов. Точно большой комар зудел.

Юле казалось, что бестравная, каменистая тропинка тоже лезет вверх, только быстрее, чем она, — никак не догнать.

Желтый камень горел, вцепленный в небо. Лишь бы дойти до камня! А там тропа пойдет вниз. Лощина, трава, деревья. Сидит Маруся, ждет кормушек. Дивная тень!

Доходили до камня. Впереди горели три новых, таких же. Обман!

Нет, это просто каторга!

Все сложилось так хорошо. Наблюдатель Рустэм Ширанов вез крыши для кормушек на тот участок, где Юле давно надо было сделать «укосы». Она не знала дороги. И кроме того ей хотелось побыть в обществе этого подвижного смуглого человека. Там, внизу, в котловине, ей так нравилась его безудержная жизнерадостность. Она думала, что будет очень весело итти. Весельчак, болтун и выдумщик, Рустэм Ширанов говорил по-татарски и по-русски одинаково хорошо и одинаково плохо. Чтобы преодолеть заикание, он сильно растягивал слова, но это только придавало его веселой болтовне особую хитроватость.

Маруся ушла вперед: она хотела еще сделать по пути кое-какие наблюдения. Что-то насчет птиц или ящериц. Юля — не орнитолог и не герпетолог, ей наплевать и на птиц и на ящериц, особенно сейчас. Хотя бы Маруся предупредила ее об этой чертовой дороге! Разве можно в этих местах разговаривать на ходу после восхода солнца? Начав было беседу, — толстая Юля отвечала только кивками. — Рустэм затынул песню.

Внезапно брэнчание и позвякивание стихли. Широкий, неподвижный пятном круп косо застыл на нестерпимо-синем небе. Комариное зудение оборвалось.

— Ча-алий! — звонко крикнул Рустэм и длинно, со смаком выругался. — Вот, Юля! — сказал он с восхищением, сверкая глазами и зубами. — Ты видишь этого зве-еря? Он притворяется, что ло-ошадь. По виду это, де-ействительно, лошадь. А на самом деле эта ж-животная — осел!

Юля слегка раздвинула потрескавшиеся губы; для настоящей улыбки у нее не было сил.

— Иша-ак по-нашему. Ну-у что ж, будем посидеть?

— Толкни его! — хрипло сказала Юля. Она не рисковала присесть.

— Для т-тебя, Юля! — С любезным видом Рустэм ткнул Чалия кулаком в бок.

Большая лошадь, с высокими ногами и с душой осла. даже не дрогнула.

Когда они шли, Юля столько раз мысленно говорила этому проклятому Чалию: «Ну, остановись же! Остановись хоть на минуту! Дай вздохнуть!» Чалий шел. А когда он, наконец, остановился, оказалось, что итти еще было возможно, но стоять под отвесными, острыми лучами — хуже смерти.

— Пихать его сейчас фа-актически бесполезно! — сказал Рустэм. Он посмотрел на багровые юлины щеки: — Жарко тебе Ю-уля? Жир с тебя вытапливается.

Затуманенным взором Юля с ненавистью глядела на Чалия. «Десять ночей сряду мне будет сниться этот конячий зад!» — подумала она.

— Я пройду вперед. Ты с ним меня догонишь.

Непослушными ногами Юля стала обходить каменно-неподвижного Чалия и наступила на колючку. Камни протерли в спортсменке дыру. От острой боли Юля пронзительно вскрикнула, подскочила и, чувствуя, что сейчас покатится вниз, ухватилась за конский хвост.

Круп перед ее глазами покачулся. Чалий бодро двинулся вперед. Юля разжала руку. Падая, она увидела мельком испуганное лицо Маруси, бегущей с горы. Услышала гортанный крик Рустэма и неистовый грохот: это валялись с переднего на неровный галоп Чалия плохо привязанные крыши.

Куст терна задержал юлино падение. Все ее грузное тело болело. Она не поднимала глаз на хохотавшего Ширанова. Маруся обмывала из фляги юлины расцарапанные руки и качала головой; на губах ее трепетала улыбка. Подошел наблюдатель Сидоров, худой старик, с лицом, чем-то напоминавшим неаккуратно обструганную щепку, с тонкой, гусиной, постоянно немного выдвинутой вперед шеей и с торчащей, обдерганной, удивительно подвижной бородой. Он оглаживал Чалия лицемерно вздыхая:

— Эх, Буланчик, Буланчик! Ай, стыдобушка! Барышню свалил под откос! Грехи наши тяжкие!

— Практика с при-иключениями! Рас-

скажешь в Москве. Па-адала с высоты восьми-сот метров над уровнем мо-о-ря-а, — сказал Рустэм. В беззаботной позе он привалился спиной к круглому стволу душистого клена.

— Я из Воронежа, — свирепо сказала Юля.

Чалий-Буланчик, пыхая ноздрями, жрал густую, сочную траву. Обиднее всего было то, что, оказывается, они уже дошли. Это был последний бугор перед ложиной.

Орнитологи, маммологи, энтомологи, ботаники — воронежцы, саратовцы, москвичи, горьковцы и ленинградцы — к августу разъезжались.

На два-три месяца практиканты наполняли заповедник молодой свежестью, веселым шумом и неразберихой. Одни приезжали, другие уезжали. Иногда набиралось одновременно человек десять-пятнадцать.

Жизнь становилась насыщенной событиями, беспокойной и быстрой. Сама собой создавалась временная комсомольская ячейка, секретарем которой неизменно выбирали Марусю, как старожилка и лучшую (а когда не было практикантов — единственную) комсомолку заповедника.

Комсомольцы организовывали самодеятельные вечера в красном уголке, привлекая всех, кто попадется под руку. Они мечтали о набегах на фруктовый совхоз и колхозы — помогать собирать черешню и первые сорта винограда. Мечты проваливались: до совхоза было пятнадцать километров, а до ближайшего колхоза — восемь, путь пересекал не один хребет, а руководители практикантов щепетильно относились к выполнению тем.

До темноты играли в волейбол. Потом, присев на камни и на землю, поддаваясь извольной потребности, заводили песню. Появляясь посланный от директора с приказом «немедленно закрыть глоточки, а то звери разбежуются». Тогда расходились, многие продолжая напевать тихими, но озорными голосами. Еще с четверть часа раздавались крики и хохот: в чернильной тьме натыкались на деревья, падали под откос и в «фонта» посреди двора.

Утром девушки искали под откосом и в «фонте» гребенки и шпильки. Толстая Юля нашла однажды в воде свою парусиновую туфлю. Других туфель у нее не

было, ноги у нее были большие, одолжить ей никто не мог. На рассвете Юля не вышла вместе с другими ботаничками за «укосами». В яркий день она перешагнула порог своей комнаты, выпавшаяся, счастливая. У крыльца стоял ботаник Петров и молча смотрел на нее тяжелым взглядом. Юля схватила туфлю и испуганно полезла на крышу — сушить.

В полнолуние задумчивые пары, которые не надо было просить о соблюдении тишины, удалялись по голубому шоссе, извивавшемуся между двух стен необычайно высоких деревьев. Доярки заповедника — тонкорукая, гибкая Зэминэ и крепкая, как молодой дуб, здоровая Настя Власова — ходили с потемневшими глазами и старались незаметно сбегать на вечернюю дойку пораньше: коровы, поднявшись весной к подножию Яйлы, спускались вниз только с первыми заморозками.

Не все проходило гладко. Совсем без распрей удавалось обходиться одним зоологам. Маруся даже Костю Шамова, — широкоплечего, басистого саратовца, перед каждой новой партией в волейбол так зычно вопившего: «Позвоночники, ко мне! Эй, позвоночники!», что Ветловский зажимурился и на несколько минут уходил к себе в лабораторию, — даже этого самодовольного крикуна заставляла, повидимому без особого труда, сидеть всю ночь, затаив дыхание, на Черной горе, наблюдая оленей.

Ботаник Петров желто бледнел, когда ему что-нибудь не нравилось, и глаза его становились стеклянными. Он отчитывал провинившихся немногословно, но медленно и таким бесцветным и невыразительным тоном, что слушать его было очень тягостно и казалось, что говорит он необычайно долго. Голоса он никогда не повышал и, как насмешливо говорил про него Ветловский, «переживал внутрь». Сам Ветловский, когда ему попадались энтузиасты-энтомологи, готов был тратить на них дни и ночи. Но энтузиастами, к сожалению, были не все.

До ближайшего центра — Алушты — было немеряных двадцать километров через перевал. Машин в управлении не было, были две лошади: на них ездили директор и завхоз, в остальное время лошади находились в «бегах», как, впрочем, все домашние животные заповедника, вплоть до кур и кошек.

Чтобы отвезти крыши для кормушек,

Рустэм Ширанов самолично, потратив на поиски добрых два часа, поймал Чалия в зарослях на Сары-су. В Алушту ходили пешком, редко, за крайней надобностью. И тогда заодно пользовались всеми благами: раз восемь подряд купались в море, разнообразно наедались в ресторане, читали свежую, а не недельной давности газету. Это был праздник, и праздник заслуженный.

Практикантки норовили сбежать в Алушту каждый выходной. «Сокращений» они не знали и самоуверенно путались где-то по склонам, в дубняках, целый день в один конец. Они откровенно мечтали о Ялте, до которой было хороших сорок километров по дороге, трудной и для бывалого человека, и до неприличия интересовались каждым случайно заскочившим в управление грузовиком. Ветловский кривился, тихонько ворчал, но сохранял вежливость.

Но однажды, когда две энтомологички застряли в Алуште вместе с его лучшим практикантом Васей Дымовым, по национальности якутом, юношей тихим, до страстности любознательным и, по мнению Ветловского, обещающим стать настоящим ученым, Ветловского взорвало. Он вызвал девушек из комнаты, не дав им даже умыться после дороги, и тут же, на палатке под солнцем, под взглядами любопытных, сказал им:

— Всегда почему-то думают, что ехать сюда это значит ехать на курорт. Но не в этом дело, что так думают. Дело в том, что тут не курорт, а та же работа. Вы всегда стараетесь растянуть выходной на три дня. Между прочим, это неудобно перед государством.

Он говорил, опустив глаза. Ему было тяжело и стеснительно так ругать женщин.

Одна из девушек, пожав плечами, сказала:

— Это вышло случайно. Что же, нам, в Крыму побывав, и моря не увидеть? — И ушла в дом.

Другая, обессилив от жары и от обиды, долго плакала под дикой грушей. Маруся ее утешала:

— Да не плачь ты! Выдумала тоже!

— Облезлый чорт! — всхлипывала девушка. — Здоров как верблюд, уже старый, а еще, небось, и целоваться-то не умеет. Сразу видать!

Маруся засмеялась.

— Он не очень старый. Ему тридцать пять лет, — сказала она и покраснела.

Когда практиканты уезжали, постоянные жители заповедника испытывали и сожаление и невольное облегчение.

Вспоминали о практикантах долго и подробно. Особенно зимой, в бесконечные вечера.

Управление и домики, где жили научные работники, стояли на дне глубокой котловины, со всех сторон сжатой горами. Раскинутый по хребтам, колыбался могучий лес. Даже летом солнце покидало котловину рано, на несколько часов раньше, чем долины. В зимнюю облачность оно только мелькало где-то вверху, стоял постоянный, влажноватый сумрак. Горы точно сдвигались, казались ближе...

И зимой, весной, летом, поздней осенью в огромной, широкой тишине неумолчно, с легким звоном струилась вода — в Алме, в Сары-су, в Коссе, в Донге, в Каче, во многих речках и узких, но глубоких горных ручьях...

3

Конечно, с практикантами было веселее, — и все-таки хорошо, что они уехали. Без практикантов гораздо спокойнее: никто не отвлекает от научной работы, не торчит до ночи в марусиных комнатах. Оторвавшись от морилок с насекомыми, Ветловский посмотрел в окно лаборатории.

Залитый солнцем двор, — вернее, то небольшое, более или менее ровное место, вокруг которого стояли строения и которое называлось «двором», хотя никакой изгороди не было и под дверями конюшни изворачивалось шоссе, — был пуст. Только харт-ана¹ доярки Зэминэ, такая старая, что на нее уже и солнце не действовало, сидела на корточках у фонтана и скребла большой медный таз. Таз нестерпимо блестел. Под пятками харт-аны белела раскаленная земля с клочками выгоревшей, желтой травы. В короткой тени под будкой тосковал лохматый Шарик. Его никогда не спускали с цепи, чтобы не распугивал коскуль. Ветловскому было жаль Шарика.

Солнце. Тихо. Монотонно журчит вода. Ни одна иголочка на сосне не вздрогнет, не вздохнет. Есть ли на свете города?

Под окном кто-то сухо прокашлялся. Ветловский глянул вниз. На земле стоял ботаник Петров в легкой, очень широкой

¹ Харт-ана — бабushка.

кепке. Лицо Ветловского немедленно выразило презрение. почитаемое им за скрытое. Он чопорно склонил голову в виде приветствия.

Эти двое мужчин не выносили друг друга. «Он не человек, а сушеная вобла,— фыркнул Ветловский. — У меня на него форменная идиосинкразия». Петров говорил тихим, язвительным голосом: «Подобный ребенок в прообразе сорокалетнего мужчины содержит в себе или низменную хитрость, или глупость».

Петров, всегда молчаливый и склонный к уединению, почти не разжимал губ, с тех пор как уехала его жена, белокурая, миниатюрная женщина, работавшая в заповеднике метеорологом. Женится он всего года два тому назад. Желтое лицо ботаника с глубокими продольными складками возле носа постоянно было сумрачно; присутствие в его крови хронической малярии особенно резко бросалось в глаза. Работа метеоролога отнимала немного времени, жена Петрова не знала, куда девать себя от тоски. По вечерам, когда спадала жара, она грустно бродила по шоссе и с жалобной, немного виноватой улыбкой говорила каждому хотевшему слушать: «Я не могу, просто не могу выносить эту вашу, такую красивую, цветущую, не-скончае-мую тишину! Она меня убивает!» И, сжимая руки, с ненавистью смотрела на горы. Она уехала, безмерно счастливая, похорошевшая от радости, с кроткой улыбкой обещая часто-часто писать и скоро вернуться. Но для всех было ясно, что жена у Петрова сбежала.

— Нет ли у вас спичечки, Станислав Михайлович? — ровным голосом, глядя куда-то в стену, спросил Петров.

Спички были слабостью ботаника. Страстный курильщик, он заказывал спички всякому едущему или идущему в город, и все-таки их всегда не хватало. Без жены, точно из-под земли вынимавшей еще одну коробочку, спички сделались для Петрова настоящим бичом. С мрачной тоской он вспоминал об уродливых зажималках двадцатого года и почти с болью — о своей щегольской зажигалочке времен нэпа. несколько лет назад потерянной им в лесу.

«Однако же вам приспичило! И даже в буквальном смысле. ха-ха! Даже сюда обратились. — насмешливо подумал Ветловский. — Жаль мне для тебя спичку. Не дам».

И он протянул в окно коробок.

Петров осторожно вычиркнул спичку, закурил самодельную папиросу, вынул из кармана пустую спичечную коробочку, методически переложил туда несколько спичек, сунул коробочку в карман и положил на подоконник коробок Ветловского.

Ветловский с сильным раздражением наблюдал за Петровым. Слегка оттолкнув коробок пальцем, он буркнул:

— Берите, между прочим, весь! У меня, кажется, еще имеется.

— Спасибо! Не откажусь. — Петров, как показалось Ветловскому, неприлично поспешно схватил коробок с подоконника.

— Я ведь не курю, — сказал Ветловский. Лицо его приняло сердитое, детское выражение. — А то бы ни за что не дал!

Еле заметная улыбка скользнула по бледным губам Петрова.

— Не видали, Станислав Михайлович, — спросил он вежливо, — приехал ли Абдулаев из города?

«Ну, хватит! Распелся тут!»

— Не видал, — сказал Ветловский решительно, хотя отлично видел, как кучер привез Абдулаева. И нечаянно добавил: — Он, между прочим, дрыхнет. Напился в Симферополе.

«Ведь я же сказал, что не видал. Ах ты, камбала проклятая!» — подумал он в испуге и свирепо взглянул на Петрова.

— К сожалению, он никогда не преминет воспользоваться случаем, — спокойно и как всегда бесцветным тоном сказал Петров. — Благодарю за спички! — Он повернулся и медленно пошел вверх по дороге.

От досады и неловкости Ветловского грошиб пот. «Хоть бы улыбнулся! Стручок с рыбьей кровью!»

На крыльцо вышла младшая сестра Эминэ Сюндюз, в одной длинной рубашке с широкими рукавами, постояла, выпятив живот, почесала ногу об ногу и скрылась.

Ветловский двинулся было к столу, но усмехнулся и остался у окна: на двор выплыл Сейтабла Абдулаев, завхоз и правая рука директора, рука энергичная и властная.

Огромного роста, тучный, снесоразмерно маленькой, слегка приплюснутой, точно взятой от другого человека головой, он появился до пояса голый, в одних полосатых штанах и вовсе небольших чуваках.

Ступни ног и кисти рук его были малы, как и голова.

За ним шествовала жена, держа обеими руками большой узкогорлый гугум, сверкавший на солнце. Жена была полная и не низенькая, но рядом с громадным мужем она казалась всего лишь пухленькой девочкой.

Грудь Абдулаева тряслись, как у женщины. Он протянул жирные, как гигантские сосиски, руки. Со значительным лицом, строго сложив пухлые губы, жена лила струйками воду. Потом он нагнулся, — спина была широкая, как стол, вся в валиках жира, — жена ловко намылила головку Абдулаева. Приплюснутый шар оброс мягкими клочками белого пуха. Клочки мыла, мгновенно тая, падали на горячую землю. Внезапно, видимо от удовольствия, Абдулаев издал громкий звук, сильно смахивавший на хрюканье.

«Ну, и фигура!» — с изумлением подумал Ветловский, хотя не в первый раз видел, как умывается завхоз.

Дробный, неровный стук заставил Абдулаева поднять голову. На мыльной маске чернели два небольших, острых глаза. С горы, скользя копытами, из-под которых, шурша, вырывались камешки, высоко задрал круп, спускалась лошадь. Сидя без седла и сильно болтая ногами, Ахтэм угрюмо смотрел на Абдулаева. Поняв, что завхоз его заметил, он протяжно закричал:

— Мераба, товарищ Абдулаев!

При виде Ахтэма Ветловский вспомнил, что на сегодня назначено собрание наблюдателей.

Когда осенне-пестрый лесистый покров горы, вздымавшейся напротив окна, вспыхнул по-вечернему ярко и в окно потекла прохлада, Ветловский запер лабораторию и поднялся по узкой тропинке, по «домашнему сокращению», на верхнее шоссе, прямо к дверям марусиного дома.

На двери висел замок: Маруся еще не вернулась с обхода. С подчеркнутым безразличным лицом, на случай если кто-нибудь снизу или сверху его видит, Ветловский прошел дальше.

За домом зеленел обширный огород. До половины скрытый плетнем, на огороде стоял директор заповедника Осман Изабеков, в белой детской панамке, в та-

тарском старом халате, и бесстрастно смотрел на грядки.

«Где-то сейчас Макаров?» — подумал Ветловский.

Прежнего директора Макарова, в прошлом партизана, а затем красного командира, отозвали в Москву. О каждом участке Макаров хранил прямое, твердое воспоминание: на этой поляне за ним гнались беляки и он был ранен, к той старой яблоне с обломанными сучьями он сам приставил врангелевского офицера и разрешил ему помолиться, коли в бога верит. Иная балка так и называлась всеми окрестными жителями «макаровской». На груди Макарова алел орден Красного Знамени. Макарова здесь очень уважали, кое-кто крепко побаивался. В заповеднике любили его и гордились им.

Гордиться новым директором было невозможно. Стояние на огороде было его самым излюбленным занятием. «И хоть бы овощи от этого скорее росли!» — вздыхала Маруся. Огород примыкал к задней стене ее дома. Выйдя, она каждый раз натывалась взглядом на Изабекова. Ей надоело это до тошноты.

Несколько раз спустившись и поднявшись, Ветловский подошел к клубу, где всегда происходили собрания.

На камне у стены клуба сидел Балджи и курил цыгарку.

— А-а, Балджи! — сказал Ветловский. — Не поймал снова браконьера?

— Нэ поймал, нэт, — хмуро сказал Балджи. — Мустафа Арлан поймала.

— Надеюсь, на этот раз не Маруся выследила?

— Нэт, нэ Маруся.

Балджи отвернулся, крепко обидевшись. Вопросы Ветловского доставили ему тайную, острую боль. О том, как Маруся заметила браконьера, Ахтэм Каранджи его задержал, а Асан Балджи полдня просидел в балке напрасно, говорили не переставая недели три. Сначала — на ближних казармах, потом — на отдаленных, потом — на самых дальних. Когда на ближних казармах уже замолкли, на отдаленных еще вспоминали, на самых дальних рассказывали со всеми подробностями. И всякий раз смеялись над Асаном Балджи. Теперь об этом перестали говорить. К чему опять вспоминать такое нехорошее? Балджи решил отомстить.

— Ой, якши девушка Маруся! Я слышала, ты уже женилась на ней, Ветлов-

ский? — спросил он дерзко. — Принимай поздравления!

— С чего ты взял, дурак? — заорал Ветловский, багровея.

В горах гулко отозвалось: «Рак! Рак!» Где-то близко, прерывисто загавкала кося.

— Яваш! Яваш!¹ — миролюбиво сказал Балджи, очень довольный. — Аж козел заругался! Не надо ярамай! Шайтан ярамай.² Я просто немножко шутила.

— Некоторые шутки бывают крайне глупы.

Ветловский сел на землю и раздраженно вытнул ноги. Стертые подошвы сандалий уперлись в ствол сосны, до которой было больше метра. Посмотрев на ноги Ветловского, Балджи смешливо сказал:

— Бог тебя ростом наградил, Ветловский, а умом йок.³

Ветловский завозился, пожевал травинку: — Болтушка! Не будь ты отсталая личность, разговор у нас вышел бы покрунее.

Эти сердитые слова Балджи почему-то понял как похвалу и раскатился легким, счастливым смехом.

4

Клуб помещался в бывшей церкви. Свет скупо проникал в высоко от пола расположенные окна с узкими, грязными стеклами — в клубе было полутемно, прохладно даже в полуденную жару, от стен несло многолетней сыростью.

Вскоре зажгли керосиновую лампу. Из темноты выступали кусками освещенные плечи, шеи, безразличные или настороженные, с беспкойным блеском в глазах, бородастые и безбородые, черные от загара, потные лица. Говорили о сене, о том, где и в каком количестве косить для домашнего скота, — вопрос вечный и никогда не проходивший мирно.

Простоколом собрания вел Петров. Председательствовал сам Изабеков. Он уже облачился в городскую пиджак и, со строгим видом взглядывая на сидящих, часто позволял в принесенный им с собой колоскольник.

— Итак, сколько у тэбэ коров, Мустафа Арлан? — спросил он, заглянув в разложенную перед ним бумажку.

¹ Яваш — тигр.

² Шайтан ярамай — черт злый.

³ Йок — вет.

Мустафа Арлан, высокий красавец, привстал на скамье и с тревожным выражением, очень не идущим к его величественному лицу, показал два пальца:

— Два!

— Доволен ли ты, гдэ косишь? Только ли две? — нахмурился Изабеков. Он говорил медленно, суровым тоном. При этом тонкие губы на его мясистом, дрябловатом лице едва раздвигались.

— Не доволен. Нет, — напряженно вслушиваясь, так как по-русски понимал плохо, торопливо сказал Мустафа Арлан. — И еще маленький, маленький, совсем кичкинэ...¹ Как это?.. Тэлочка... — Из уважения к русским «научным» он отвечал также по-русски.

— Эхэ-хэ! — усмехнулся в бороду Осип Митрофаныч Щуренко и покачал головой.

— Мало ему! Мне бы такой участок косить! — по-татарски закричал Балджи.

И сейчас же несколько голосов возмущенно закричало по-татарски и по-русски. Изабеков схватился за колокольчик.

— Порядок не нарушать! — Остаешься при своем, гдэ косишь, — не глядя, бросил он Мустафе Арлану. — Дальше мы имеем на сегодняшний день...

Скамьи отчетливо зашуршали под сидящими, когда назвал Изабеков фамилию Сидорова.

Сидоров был самым древним старожилом. Он служил наблюдателем еще при царе, когда заповедник существовал исключительно для царской охоты. Лет ему было около пятидесяти. Он был моложе наблюдателя Щуренко, которому шел седьмой десяток, но почему-то усиленно старился; называл себя не иначе как «старичок» и то и дело горбатил свою вертящую спину. И сейчас он сказал тонким голосом, подобострастно вытягивая сухую шею с острым кадыком:

— Нам, старичкам, много ли надо? Доходы мои — тьфу! Ветер и тлен! Да не жалуюсь я, на мой век с бабой хватит. За многим гнаться не пристало. Две худых коровенки, коняшка пустяшный. Участком, для косьбы предназначенным, старички удовлетворение имеют. — Он торжественно дернул бородой по сторонам и рывком опустился на скамью.

— А мона-ахию тоже к старичкам причисляешь? — весело крикнул с места

¹ Кичкинэ — маленький.

Рустэм Ширанов. — В п-по-оре баба! Как бы тебе за «ста-аричков» не попало!

Балджи подавился смехом, весь покраснел и низко пригнулся, пряча голову между коленями. Звякнул колокольчик.

— Религии теперь нет! — победоносно взвился голос Сидорова. — Так что при свободе совести и братстве народов монашеская прошлая моей супруги есть неповинная. Закройся!

Тогда захохотали все. Даже Петров криво улыбнулся над протоколом.

Колокольчик Изабекова захлебнулся в звоне и вдруг перешел на жалкий писк — что-то там засло в середине от чрезмерного употребления. В восторге Ширанов заржал как жеребец. Едва шум утих, он пропел громко и жалобно:

— Фа-актически оттреплет за бо-орденку!

И опять все засмеялись. Было известно, что жена Сидорова частенько таскает мужа за бороду.

Когда монастырь, много лет лепившийся в этой горной котловине, закрыли и осиротевшие монашки распозались кто куда, Сидоров, ходивший в это время в бобылях, женился на одной из них. Монастырские хлеба ей не повредили: баба была здоровая, плотная, с двойным подбородком, прижимистая и взыскательная хозяйка. Сидоров жил под подошвой ее бескаблучных, расшитых чувяков; монахиня оказалась вдобавок и модницей.

Яростно дребезжащий голос вернулся к колокольчику.

Когда тишина восстановилась, встал начальник охраны Умэр Муртазаев, совсем еще молодой парень, почти мальчик, с твердым, серьезным лицом. Он обдернул синюю форменную рубашку и, путая русские слова с татарскими, решительно сказал, что надо бы поговорить и о научной работе. Только один зоолог — Маруся («Мария Алексеевна», — поправился он строго) работает с наблюдателями по настоящему, старается объяснить, что к чему. А другие сотрудники никогда ничего не показывают, не говорят, даже газету не прочитают вслух, когда время есть. А он, Умэр Муртазаев, хочет тоже свою квалификацию (это слово далось ему с трудом: он несколько раз начинал его, запинаясь, даже щеки его набухли темной краснотой) повыше иметь; ему охота знать, например, что у оленя там, «в нутре», и с чего он соль жрать любит,

как простая овца, и что сейчас происходит в Китае.

Муртазаева слушали с любопытством и с благожелательностью, немного пренебрежительной. Петров раза три кивнул головой и быстрее заработал карандашом. Абдулаев, сидевший все время неподвижно, как монумент, влипнув широченной спиной в стенку, так что на него уже перестали коситься, внезапно, когда Муртазаев сказал о зоологе, издал какое-то короткое, неразборчивое восклицание. На него оглянулись. Но он сейчас же опять застыл, и не было уверенности, он ли что-то сказал или кто-нибудь другой.

— Товарищ Муртазаев безусловно прав, — нетерпеливо сказал Изабеков, когда начальник охраны оборвал свою взволнованную, сбивчивую и напористую речь. — Мы устроим по этому поводу специальное совещание. Но, товарищи... — Он слегка втянул в себя воздух, как перед разбегом: — Как ваш руководитель, поставленный над вами, как мне вас доверили, я чувствую себя обязанным вам сказать, что вы все еще плохо работаете, товарищи...

Собрание, как всегда, сильно затянулось. Все устали. Черные глаза Мустафы Арлана матово блестели; он неподвижно смотрел на огонь лампы. Его уже спросили, давно можно было не слушать, и лицо его опять стало величественным, точно высеченным из камня рукой искусного скульптора. Балджи шумно зевал, каждый раз вздрагивая и испуганно поглядывая на Изабекова. Осип Митрофанович Щуренко дремал, склонив голову на палку. Сидоров таращил глаза на Изабекова с каким-то застылым выражением, которое должно было изображать беспредельное внимание; он быстро мигал, когда вместо Изабекова перед глазами его отчетливо проходила рыжая стельная корова, и беспокойно вздыхал: ему снилось, что корова вот-вот отелится раньше времени.

А Изабеков все тянул и тянул, медленно, отчеканивая каждое слово, поучительным, напыщенным тоном. И слушать его было тем скучнее, что такими бесконечными наставлениями сопровождал он каждое собрание.

Послышались чьи-то легкие шаги. Ветловский, который давно уже порывался уйти, да все никак не мог собраться встать с места, глянул, вытянув шею, и

дрогнул. По проходу между скамьями, в черном потертом жакете, в татарской тюбетейке, быстро шла Маруся.

Ветловский видел Марусю каждый день, часто по несколько раз. И каждый раз это было как впервые — точно он еще не знал ее и вот сейчас вдруг увидел и понял. Она оказывалась гораздо живее и непосредственнее, чем в мыслях, может быть не такая красивая (он замечал у нее царапину на щеке и облупленный нос, да и нос-то был изрядно вздернутый) и более сердитая. И до того неожиданно, потрясаяще милая в каждом своем движении, что у него захватывало дыхание и слезы навертывались на глаза.

Ее спокойное, открытое лицо с внимательными глазами, в которых жило независимое, строгое и, вместе с тем, еще детское выражение, мелькнуло перед ним в мутном керосиновом свете и скрылось. Она села на одной из скамей.

Наконец, Изабеков положил в карман свой колокольчик и объявил собрание закрытым.

— Эка, сидели сколько! — выпрямляя затекшую спину, сказал Осип Митрофавич. — А што проку? Вот снимали с участков, а браконьеры-то и поналезут!

— Как рассветает, по домам! — начальническим тоном громко сказал Муртазаев. И то же самое повторил по-татарски. На его приказ никак не отозвались — все торопливо потянулись к выходу. Сдвинув брови, Муртазаев сказал солидно, делая вид, что не замечает невнимания: — Хорошо, которые на лошадях...

Ветловский подошел к Марусе:

— Где это вы столько ходили?

— Под Чучелью косуля пала. Надо сказать, чтобы принесли для вскрытия. Внешних повреждений не заметно.

— А тут, по обыкновению, из-за сена ругались. А потом Изабеков псалмы пел.

— Ну, ясно! Ох, это сено! Обросли тут! Некоторые просто кулаками стали. Мне надо сказать насчет косули. Если вам нетрудно, Станислав Михайлович, сходите, пожалуйста, за Галькой! Она у Зэминэ должна быть. Я сейчас приду.

Ветловский покорно пошел к Зэминэ за марусиной племянницей Галькой. Сестра Маруси, отдыхавшая в Алуште, отпустила дочку на несколько дней к Марусе в заповедник.

Дрова ровной кучкой лежали у дверей марусиного дома. С рассветом Ветловский приходил к этим дверям со своим топором и, стараясь не очень стучать, раскалывал бревна на аккуратные, нетолстые поленца. Проходя мимо днем, он похозяйски взглядывал на дрова: много ли еще осталось?

В стене дома, возле двери, отвалилась штукатурка. Ветловский засунул в щель пальцы и достал ключ. Он отпер дверь, вошел в дом и распахнул окна. Нешадно поливая дрова и свои ноги керосином, торопливо растопил плиту и поставил чайник. Нашел в духовке кастрюлю с кашей и тоже поставил разогреваться.

Ели они с Марусей вместе. Это было хорошее наследство практикантов. При них всегда была коммуна: продукты сваливали в общий котел, дежурный варил на всех. С отъездом практикантов Ветловский и Маруся, по привычке, продолжали есть вместе. У других были жены, дочери. Петров, оставшись один, аккуратно и старательно готовил сам. У Ветловского не было никого, и стряпал он отвратительно.

Вбежала Галька. Она отстала, занявшись жабой, шлепавшей через залитую лунной дорогу. Галька была маленькая, светлая. Трусы у нее спустились, живот блестел.

Галька постояла с минуту, неподвижно глядя на огонь, потом задумчиво спросила:

— Почему это прежде был монастырь? Зэминэ сказала.

— Потому что здесь прежде жили монахи и монашенки.

— А монашат у них много было?

— Не знаю, — сказал Ветловский. — Наверно, мало.

Раздался звонкий смех. В дверях стояла Маруся.

— Ой, Станислав Михайлович! Не знаете? Да ну? И какие монахи? Здесь был женский монастырь. А в моем доме, говорят, была пекарня. Чайник скоро закипит? Галька, да ты все еще без платья! Это что такое?

Она не удивилась, что плита уже растоплена; она привыкла к услугам Ветловского.

— Зэминэ мне надевала, а я не давалась. — Галька сладко зевнула. — А у Сюндюзы есть кукла. Маленькая только!

Ветловский смущенно улыбнулся:

— Я, между прочим, вопросом о манахах никогда не занимался. Платье я принес: вон лежит на табуретке! Когда вы успели вымыть посуду? Вас целый день не было.

— А вот сумейте!

— Ни одной грязной ложки! И кашу когда-то успели сварить. Ее вчера не было. А помните, у Юли в комнате? — От смеха Ветловский заколыхался на табуретке. Он сидел спиной к окну, свесив руки между коленями.

Застегивая на Гальке платье, Маруся расхохоталась:

— Да уж Юлька была в этом отношении мастерица!

Целые охапки растений, свежих и уже высохших, валялись у Юли на столе вперемежку с грязными тарелками, коробкой с пудрой, лентами; лежали на кровати вместе с туйлей и саперной лопаткой; свешивались с потолка, устилали пол. Пахло лежалым сеном, пылью, потом. «На сколько лошадок сено заготовила?» — спрашивали, заходя, практиканты.

Бесчисленные «укосы», в которых она не успевала разобраться, вместе с домашним скарбом выживали Юлю из квартиры. Она находила простой выход из положения: запирала двери и уходила к Марусе. У Маруси занималась, чертила карты, зашивала разорванное платье. Только с «укосами» она возилась на крыльце своего дома: «укосы» Маруся категорически не пускала дальше порога.

— Опять пшенная, — сказала Маруся с досадой, накладывая кашу на тарелки. — Не знаете, Абдулаев привез новые продукты?

— Завтра отойдет окончательно после симферопольской выпивки, — тогда узнаем.

Маруся брезгливо поморщилась:

— Представляю, как он там закладывал! Ведь он совсем не пьяница. Побарствовать — вот что ему надо! Часа три в ресторане сидел. И все это со вкусом, с расстановочкой... А тут люди ждут! Скотина жирная!

— Где скотина? — спросила Галька.

— На Яйле скотина. Барашки с чабаном ходят. Разевай шире рот! Ты у меня без мамы шелковая станешь! — Маруся с суровым видом сунула в галькин рот ложку с кашей.

Сонный ребенок на марусиных коленях, с которым она так ловко управлялась,

всегда капризный и надоедливый, казался Ветловскому прекрасным. Он засопел и сказал, криво усмехаясь:

— Между прочим, я всю жизнь не понимал, что может быть хорошего в детях.

— Мало ли чего вы не понимаете!

Уложив девочку спать, Маруся снова подседа к столу и стала ужинать сама. Она подвинула ближе к Ветловскому глиняную чашку, в которой сверкали помидоры.

— Ешьте побольше помидоров, Станислав Михайлович!

Ветловский посмотрел на помидоры, вымытые марусиными руками:

— Помидоры, между прочим, такие хорошие, что их даже жаль есть.

— Если станете такие глупости говорить, вы у меня из-за стола выйдете!

Застенчиво улыбаясь краем рта, Ветловский помолчал. Потом сказал:

— Знаете, Ибрагим Садыков, наблюдатель с Сухой Альмы, оказывается, — бывший князь. Его латифундии где-то под Гурзуфом.

— Ну, что ж! Абдулаеву — новая работа. Будет вокруг него окопы рыть. Независимо от того, правда это или нет... О Лемме ничего не слышали?

— Нет.

— Тяжкая история! — Маруся вздохнула и задумчиво покачала головой. Потом с лукавым видом взглянула на Ветловского: — А где-то ваши латифундии, Станислав Михайлович?

— У меня их, между прочим, никогда и не было.

— Верно ли? — с сомнением приподняла брови Маруся. — А то, может, вы тоже из князьков? Кто вас знает!

— Вы ведь знаете, что я из детдома, — сказал Ветловский в замешательстве от того, что она его поддразнивает. Неважно, что повод для поддразнивания был совершенно пустой. Он отвел глаза от ее загорелого лица — на шею, под подбородком, кожа была нежная и точно поджарилась на огне. — Отца я совсем не помню. Мать — немного. Но, между прочим, мой отец, кажется, пас свиней.

— Я этого не знала... про отца... Не сердитесь, Станислав Михайлович, — мягко сказала Маруся. — И если так, отец ваш, наверно, был не очень грамотный человек, а вы — научный работник. Разве это не замечательно?

— Не в этом дело. Мой отец, возмож-

но, был решительный и смелый человек. И шел прямо к цели, не пугаясь препятствий.

— Вы говорите это так, точно хотели бы тоже пасти свиней. Но ведь они бы у вас разбежались! Ах, да! Я ведь, наконец, получила ответ из Москвы. К экзамену допустили. Пришел из Алушты Сейдамет, принес почту. Мне сейчас Петров отдал. А я-то забыла вас сразу обрадовать. Как хорошо! Закончу тему — поеду держать.

Ветловский застыл с ложкой у рта. Он знал, что Маруся собирается поступить в аспирантуру при Московском университете. Они вместе не раз обсуждали этот вопрос. Он всегда говорил, что ее без сомнения допустят к экзамену — она рано кончила университет и двадцати двух лет имела почти двухлетний стаж работы, совершенно самостоятельной, в нелегких условиях. Он был уверен, что она выдержит. Но все это казалось таким далеким. . .

— Теперь заниматься, заниматься!

Ветловский положил ложку:

— Кто такой Сейдамет?

— Наблюдатель Чернореченского района. На луне живете, Станислав Михайлович?

Ветловский вздохнул:

— Вы когда пойдете снимать оленьи поеди?

— Послезавтра. Не забудьте, пожалуйста, зарядить кассеты!

Каждый вечер после ужина он сидел допоздна. Маруся при нем мыла посуду, занималась, шила. За распахнутыми окнами стояла влажная темнота. Сильно пахло хвоей сосен. Керосиновая лампа слегка коптела.

Ветловский смотрел на юное, спокойное лицо Маруси, на ее небольшие, коричневые руки. По губам ее, менее строгим, чем обычно, он знал, что она устала. Он думал: «Как она может так? По горным дорогам, через лесную чащу и буреломы, она ходит по тридцать километров в день, в летнюю жару и в зимнюю распутицу, когда внезапно обледеневшие голые склоны точно покрыты тонким стеклом, а в балки снега наваливает выше пояса. И все-таки каждый вечер она играет в волейбол и иногда после волейбола еще танцует в красном уголке. И выбирают ее всегда секретарем комсомольской ячейки при практикантах не потому, что она здесь живет все время, а другие уезжают, а потому, что все она делает быстро, легко и незаметно

и все-таки очень хорошо и находиться после ее началом приятно. И варили у нее, когда была коммуна, не из-за хорошей плиты, как всегда говорили, — были плиты и в других домах, — а потому, что уют, простой, легкий порядок и радость сами собой возникают в ее присутствии. При практикантах ее комнаты всегда были битком набиты народом. А ведь она вовсе не отличается какой-нибудь особенной приветливостью или мягкой ласковостью. Она — веселая, но прямая, строгая, часто суровая, а то и просто сердитая. Секрет природы!» — думал он мечтательно, испытывая ревнивую гордость за Марусю.

Когда Маруся начинала откровенно зевать, Ветловский уходил и брел домой, часто натываясь в темноте на деревья и каждый раз думая, что опять он «пересидел». Но эта мысль не могла уменьшить счастья, переполнявшего все его существо.

Она уедет? Нет, он не верил в это. Этого просто не могло быть!

6

Ахтэм стоял посреди комнаты, до пояса голый, в высоко подвернутых штанах, широко расставив ноги и протянув руки. Вокруг него суетились девочки, Хатэдже, Гюлимдан и Айшэ, и толстый, голый Нури. Дети обирали с отца клещей. Вернувшись с обхода, Ахтэм всегда предоставлял себя детям.

Клещей было множество: плотных, раздувшихся, похожих на небольшие темно-вишневые пуговицы. Большинство уже спело глубоко всосаться. Девочки с силой, подковыривая пальцами, отдирали клещей от крепкой кожи Ахтэма и бросали их на пол.

Айшэ, радостно вскрикивая, торопливо раздавливала голой пяткой сразу по пять штук; целый десяток косичек тонкими черными змейками прыгал на ее плечах.

Хатэдже, старшая из девочек, — она уже жила одну зиму в школе вместе с братом Мустафой и чувствовала себя совсем взрослой, — с кротким спокойствием проворно сновала пальчиками по широкой спине отца.

Гюлимдан взобралась на маленькую скамеечку и, нахмурив черные брови, осматривала шею и плечи.

Нури не дорос еще даже до колена: сидя на корточках, надув губы и пыхтя, он возился над босой ступней, зачем-то часто тыкая кулачком в твердые, как коровий

рог, загнутые книзу ногти. Голое тело Нури блестело, как хорошо вычищенный золотисто-коричневый сапог.

Под окном протяжно замычала корова. Звонко крикнул на нее Мустафа. Опять в темноте пригнал кулуксыз огланчык! Заскрипела дверь сарая, и звякнуло ведро: Фатъмэ пошла доить.

Ахтэм нетерпеливо переступил с ноги на ногу: хотя и порядочно времени уже доила Фатъмэ сама, он не мог удержаться — если был дома, непременно присутствовал при этом серьезном занятии и часто, отстранив Фатъмэ, сосредоточенно-покорную в эти минуты, усаживался над подойником сам.

Он только хотел прикрикнуть на детей, чтобы поторапливались, как вдруг раздалась чьи-то тяжелые, медленные шаги, и из темных сеней выступил на свет невысокий человек в серой кепке, с палкой в руке, с мешком за плечами. Керосиновая лампа, поставленная на приступок печки, повыше, чтобы видно было клещей на всем Ахтэме, осветила лицо человека — усталое, бледное, измятое, с пыльными, давно не стриженными усами, но веселое.

— Мераба, Ахтэм Каранджи! — проговорил человек, топорища усы. По голосу было слышно, что горло у него пересохло. — Принимай гостя.

— Здорово, Лемме! — удивленно сказал Ахтэм по-русски и опустил руки. Детей не стало при виде чужого, они прыснули по углам. Гюлимдан ласточкой слетела со скамеечки прямо за печку. — Будь гостем! Садись, пожалуйста!

Лемме опустился на лавку у стола и снял мешок.

— Откуда идешь? — спросил Ахтэм.

— Превратность судьбы! — сказал Лемме, тяжело вздохнул и подперся рукой. — Но моя возьмет! — воскликнул он тонким голосом и погрозил худым, грязным пальцем. Веки его сильно покраснели, глаза засверкали. — Не на такого напал, гадюка! Извиняюсь! Нет, не на такого!

— Успокойся, Федора Платоныч, — сказал Ахтэм сдержанно и опустился на край лавки. — Достал справку?

— Семь справок я достал. Семь! — взволнованно, тихим голосом сказал Лемме. — В Бешуе, в Симферополе четыре, в Биюк-Ламбате, в колхозе «Красный рай»,

¹ Кулуксыз огланчык — скверный мальчишка.

что за Тотай-Коем, я там год работал счетоводом. Вот!

Задыхаясь, он проглотил слюну, помолчал. Потом снова заговорил высоким, плачущим от негодования голосом:

— Меня называть «белым офицером», «врангелевцем»! Да он сказался, малохольная бочка! Я всю жизнь работал! Да! И до советской власти работал. И при советской власти работал. И буду работать! Мне пятый десяток пошел. «И фамилия у него какая-то баронская: Лемме!» — визгливо крикнул он, вертя шейю, кого-то изображая. — Да почему я знаю, отчего у меня такая фамилия? Я не спрашивался, с какой мне фамилией родиться. Может, у меня в тридесятном клене какие-нибудь немцы были. Какая моя с того вина?

— Злой какой человека! — покачал головой Ахтэм, с сожалением поглядывая на гостя. — Шибко нехороший!

— Превратность судьбы! — снова сказал Лемме, испустил долгий, тяжкий вздох и замолк.

Длительное шатание за доказательствами того, что он никогда не был белым офицером и не служил в армии Врангеля, измотало его вконец.

Это оскорбительное несчастье свалилось на Лемме внезапно и оглушительно, как бурный ливень с голубого, ласкового неба. Однажды в контору, где он старательно предавался своим делопроизводительским занятиям, заглянула доярка Настя Власова, исполнявшая также обязанности уборщицы, и сказала, что Федора Платоныч требуют в кабинет директора.

В кабинете сидели Изабеков и Абдулаев.

— Имэю вам сообщить от имени директора, — своим тонким, на этот раз с каким-то металлическим оттенком, голосом вежливо сказал Абдулаев, — что вы у нас делопроизводителем больше не работаете. В виду чего, мы не можем содержать в аппарате чуждый и классово-враждебный элемент.

Деловое и сдержанное выражение служебной готовности и внимания, с которым Лемме вошел в кабинет, сошло с его лица, рот тревожно приоткрылся. Он ничего не понял из того, что сказал Абдулаев, но раз завхоз говорил вежливо — значит, случилось что-то важное и очень плохое. Вежливо Абдулаев говорил с человеком только тогда, когда «имел сообщить» ему ка-

кую-нибудь крупную неприятность. Обычно он говорил грубо и коротко, так что визгливая речь его производила впечатлени-е ряда вспышек.

— Мы уже начали подыскивать дело-производителя, — фистулой отчеканил Абдулаев. — А пока сдавайте дела мнэ!

— Какого делопроизводителя? — растерянно спросил Лемме.

— Вы есть бывший белый офицер! — негодующе бросил Абдулаев и заботливо стал вытирать жирную шею большим красным платком. — Мы обязаны чистить аппарат. От чуждых элементов! Эбэт! Скажите спасибо, что мы не сообщаем о вас куда следует. Впрочем, с этим... — ему было очень жарко, и он все еще вытирал свою шею, даже навалился грудью на стол, — мы ныкогда не опоздаем...

Изабеков бесстрастно молчал, приспустив веки, и, сложив руки на животе, слегка крутил большими пальцами.

Врангеля Лемме не видел отродясь; от всяких банд и разрозненных, бегущих отрядов белых, не интересуясь их названиями, он прятался с семьей в погребе; по причине слабых глаз он никогда не служил в армии. Но обвинение было настолько неожиданно и тяжело, многозначительная угроза Абдулаева так непонятна и страшна, что Лемме позеленел и потерял дар речи.

Видя испуг и потрясенность делопроизводителя, Изабеков перестал крутить пальцами. На его равнодушном лице на момент разлилась тихая удовлетворенность.

— Что ж это делается, господи, мать моя пресвятая богородица! — бормотал Лемме. — Товарищ Изабеков, что ж это делается? Что же вы молчите? Что он, сволочь, на меня говорит?

Лицо Изабекова снова стало совершенно бесстрастным.

— Я ничего не знаю, — сказал он. — Мой помощник утверждает... Он имээт неопровержимые доказательства.

Лемме оглянулся как затравленный, с него лил холодный пот. Он стал быстро и сбивчиво оправдываться: показывал на очки, которые, впрочем, надевал только во время письменных занятий, говорил про какой-то погреб, про жену, про белую козу с одним только рогом, потому что другой ей сломали камнем, — рог заболел, его пришлось отрезать острым сапожным ножом.

Изабеков встал:

— Своим советским служащим нэ могу вас имэть.

— И потрудитесь освободить помещение! — тонко и отчетливо проговорил Абдулаев.

— Как? — закричал Лемме. — Уезжать? Когда картошка посажена? Некуда мнэ! С девочками, жена слабая... Я жаловаться буду! Это самоуправство!

Изабеков искоса посмотрел на Абдулаева:

— Я вас увольняю. Но я никогда нэ был злым человеком. Принесите справку, что вы нэ врангелевец. До выяснения можете жить.

Абдулаев коротко усмехнулся, точно икнул.

Весть о том, что делопроизводитель Лемме оказался белым офицером, распространилась мгновенно. Настя Власова, млея от жары, подслушивала в душном коридоре за дверью. Выйдя из конторы, Лемме встретил любопытные и подозрительные взгляды.

Целый день он еще проболтался в управлении. Чувствуя страстное желание напиться, он ходил из дома в дом и всем бестолоково рассказывал, что вот, мол, его записали во врангелевцы. Лицо у него было испуганное, виноватое, изумленное и жалкое. Люди неуверенно и смущенно отворачивались. К концу дня за Лемме стали ходить хвостом немногочисленные дети заповедника.

— Между прочим, — сказал Ветловский, — не в очках, конечно, дело. Очки всякий нацепить может. Вы иначе натяните нос Сейтабле!

Петров с повышенным интересом заглянул в кастрюльку, в которой он варил себе кашу, потом скользнул неопределенным взглядом по смятенному лицу Лемме, еле заметно вздохнул, сказал: «Н-да!», рассеянно посмотрел в окно и принялся внимательно помешивать кашу ложкой.

Маруся смотрела на Лемме широко открытыми глазами. Возможно ли? Лемме слабоволен, несколько мещанин, но он всегда казался ей человеком безусловно искренним. Слишком дико было бросить такое обвинение человеку ни с того, ни с сего...

— Во всяком случае, Федор Платоных, — слегка вздохнув, сказала она с юношески-жестокой прямоотой, — надо это дело выяснить, — вот и все! Если это нэ так, если это просто клевета, — то чего ж вы пугаетесь?

— Если! Так и вы мне не верите? — горестно вскрикнул Лемме. — Вы, такая хоро... — Голос его пресекался.

— Подождите, — сказала Маруся сурово и взволнованно. — Нельзя же так! Я ведь, в сущности, ничего не знаю. Какие основания у Абдулаева...

— Нет, и вы мне не верите! — Лемме в отчаянии махнул рукой, повернулся и быстро вышел из комнаты.

Постояв в тяжелом раздумьи у стола, Маруся снова села за просмотр записей, сделанных накануне в лесу.

На закате, опьянев и без водки, Лемме стоял под окном Абдулаева и кричал ему, задыхаясь от обиды:

— Что ты шелудумал на меня? Что? Чтоб тебя свинья шелудивая и вместе с врангелевцами съела!

И уже без всякой вежливости надрылся Абдулаев, колыхаясь в окне и через каждое слово вставляя ругательства:

— Оскорблять? Меня? Национала? Слушайте, товарищи! Барон! Под суд тэбэ кинуть! За оскорбительство! Национала! Нэ-э? Что-о?

— Да ты же не татарин вовсе, — кричал Лемме, в ужасе чувствуя, что он все больше и больше погружается в какую-то трясицу, жуткую и бессмысленную, в которую тянет его Абдулаев. — Ты просто гад! Я национальную политику чище тебя сам понимаю. Прохвост!

Семья — жена и четыре девочки — жила огородом, коровой и в долг, а сам Лемме скитался.

Достать справки о тяжелых, беспорядочных годах гражданской войны, когда власти в Крыму непрерывно менялись, было очень нелегко. Архивов часто не было. Многие люди, знавшие Лемме в то время, умерли, другие забыли. Несколько месяцев в двадцатом году он совсем нигде не работал, перебивался огородом, козой и мелкой сапожной работой.

Лемме похудел, ссохся, опустился до того, что забывал умываться. Еле переставляя усталые ноги, от нетерпения и одури, которая им овладела, он часто не дожидаясь транспорта, даже когда транспорт был возможен, и брел пешком по пыльному шоссе. Трясаясь в арбе у согласившегося подвезти татарина, в автобусе и в трамвае, он мечтал об одном — о том, как он швырнет эти добытые им с таким трудом бумажки в самодовольную морду Абдулаева.

Еще он думал о том, как хорошо было бы бросить все, забрать жену и девочек и уехать.

Но он чувствовал, что это невозможно. «Почему вы ушли с предыдущей работы, товарищ Лемме?» — «Потому что меня посчитали белым офицером». Он вспоминал подозрительные, неуверенные взгляды даже здесь, где его знали уже несколько лет. И кроме того — налаженное хозяйство, огород, лес, чудная природа! Девочкам было так хорошо здесь, все было так удобно — он жил всего в десяти километрах от управления, приходил домой каждый выходной, а то и в будни, на ночь. Но, главное, было страшно, невыносимо жить, не оправдавшись. И вот он достал наконец, все необходимые справки...

— Сраму-то сколько я через него принял, — с тоской сказал Лемме, отправляя в рот сочный помидор. — Вот и ты, может, думаешь: я его кормлю, а вдруг он это самое... белогвардеец? Обтрепался весь, обносился... на мародера стал похож. Чтоб у него кишка с кишкой сцепились в жирной утробе, у гада!

— Аш! побольше! — ласково сказал Ахтэм. — Как говорят по-русски: голод — не старая харт-ана.

Фатьмэ с немного беспокойным видом подвигала гостю то молоко, то хлеб и помидоры. Мустафа, деля вид, что читает, из-за книги с любопытством рассматривал пришельца. Девочки, сидя на пятках, тихо, как притаившиеся мыши, чистили к ужину картошку. Нури тоже пытался расковырять землистую, неровную картофелину маленьким ножичком, то и дело выскальзывавшим у него из рук.

По полу постукивала копытцами ручная молоденькая косуля. Уронив ножик, Нури подбегал к косуле и целовал ее в рыжую щеку.

7

В душный, распаренный полдень Галка пристала к Марусе:

— Что едят ночные бабочки?

Маруся варила сливовое варенье. Варенье подгорало, от сладких испарений першило в горле. Измученная непомерной духотой, Маруся уже жалела, что взялась за это хлопотное и липкое занятие.

¹ А ш à — кушай.

Когда Галька задала вопрос в третий раз, она сказала, чтобы отвязаться:

— Поди спроси у Ветловского! Он должен знать.

Дни напролет Ветловский сидел в лаборатории. Он накопил огромное количество материала, в котором надо было разобратся.

Под бинокляром изгибались мохнатые шнурки — усики бабочек — с пышным помпоном на конце; дневные бабочки простирали шелка своих крыльев небывалых переливов; бархатными, роскошными треугольниками лежали ночницы; казалось, только тронь — и зазвенит сияющая медная и червонного золота броня жуков.

Целый сказочный мир ласкал его зрение россыпью тончайших красок. И ему в этом мире был знаком каждый глазок, каждый крошечный член букового долгоносика. Иногда он мечтал о неизвестной еще, предельно-прелестной бабочке, которую он первый определит и к длинному латинскому названию которой прибавит нежное имя «*Magia*».

Встав на цыпочки, Галька дотянулась до ручки и открыла дверь. Она побежала через лабораторию, хлопая расстегнувшейся сандалией, но за несколько шагов от стола остановилась, пораженная обилием стеклянных баночек, в каждой из которых что-то сидело. От любопытства она забыла, зачем пришла, и молча стояла, широко открыв глаза и положив в рот палец.

Ветловский обернулся, сильно скрипнув стулом, и Галька вспомнила. Она приблизилась и с деловым видом подняла к нему обгоревшее личико:

— Скажи, Ветловский, что едят ночные бабочки?

— Что? Что? — Ветловский нагнулся к Гальке.

— Скажи: что... едят... ночные... бабочки?

— А... а зачем это тебе?

Галька подумала. Лицо ее просияло, глаза хитро блеснули:

— Маруся велела спросить. Ей надо для отчета.

— А-а... Гм...

Ветловский счастливо улыбнулся, встал и пошел к двери.

Торопясь слезть с высокого крыльца, Галька разочарованно крикнула ему вслед:

— Ты к Марусе идешь?

Ветловский смутился, приостановился на момент:

— Я... я гулять иду, между прочим.

Войдя в марусину комнату, он, частично дыша от быстрой ходьбы, опустился на первый попавшийся стул.

— Пожалуйста! — сказал он весело, слегка ухмыляясь и невольно опуская глаза, как с ним часто бывало в марусином присутствии. — Я вам могу сказать. Гусеница Мертвой головы, *Manduca atropos*, питается, главным образом, листьями картофеля и жасмина. *Saturnia pyri*, большой ночной Павлиний глаз, питается листьями плодовых растений. Это самая крупная бабочка в Европе.

Маруся смотрела на него с немым изумлением.

— Грушевая совка, *Calminia trapezina*, также питается листьями плодовых деревьев, но отчасти ведет и хищный образ жизни, то есть поедает других гусениц. Запомните ли вы все это без записи?

Удивленный полнейшим молчанием Маруси, — ни одного вопроса, ни одного замечания, — Ветловский поднял глаза.

В густом, чадном воздухе она стояла перед ним как видение: темный, в мелких красных цветочках, запачканный сажей сарафан, стриженные волосы, слишком длинные, почти до загорелых плеч, — давно не была в парикмахерской, — стройные босые ноги, голые до плеч руки, нежный рот слегка, точно удивленно приоткрыт...

Он подавил вздох и продолжал:

— Сосновая пяденица, *Bupalus piniarius*...

В марусиных глазах мелькнуло веселье. Ветловский смутно почувствовал, что происходит что-то неладное, и растерялся.

— *Bupalus piniarius*, — повторил он медленнее, с волнением и невольным беспокойством глядя на Марусю, — объедает хвою сосны. *Вон вух тоги*...

— Что с вами? — участливо, вполголоса спросила Маруся. — Вы... сошли с ума? Станислав Михайлович! — Она быстро перегнулась в окно и крикнула: — Галя, не ходи! Галя, подожди! Сейчас я выйду.

Ветловский побледнел, на его лбу заблестели крупные капли пота. Ничего не понимая, уже помимо воли, с трудом ворячая языком, затихающим голосом он продолжал произносить латинские названия.

— Да-а, — донесся в окно обиженный галькин голос. — А пусть он мне скажет!

Я ему нарочно сказала, что тебе для отца надо. Я же думала, он так лучше раскажет. А он...

— Кто? Кому ты сказала?

— Кому! Кому! Ты что, не знаешь? Да-а... Я его спросила...—Галька всхлинула,— что едят ночные бабочки? Я ведь поймала, она сдохнет не евши! Вон он сидит у тебя, что, я не вижу? А еще спрашиваешь! У-у, ка-ки-и-е!—Галька оглушительно заревела.

Маруся через плечо посмотрела на Ветловского и захохотала так, что из кустов на дороге испуганно вылетели стайка зябликов и три крапивника.

Ветловский встал и, бледный, дрожащий, неловко ступил к двери.

— Станислав Михайлович! — с ужасом вскрикнула Маруся, и от смеха у нее выступили слезы. — Вы... вы сели в тарелку с пенками! — Голым локтем она вытирала глаза. — Это... это... Нет, я не могу, просто не могу!

Туман застлал глаза Ветловского. Он отцепил от брюк куски раздавленной тарелки и, шатаясь, выскочил за дверь. Опрометью он промчался по шоссе до первого поворота, обогнул выступ горы, сделал несколько неверных шагов в сторону и свалился в тени широкого приземистого граба.

Минуты три он лежал ничком, плотно зажмурив глаза, как при мучительной зубной боли. Потом сел, — брюки немедленно прилипли к траве, он это почувствовал, — и прислонился к корявому стволу, с тоской глядя перед собой.

Белёная, пыльная лента шоссе выворачивалась бесконечно, то пропадая, то снова мелькая в просветах между деревьями. Хорошо бы итти по этому шоссе, забыв обо всем, поворот за поворотом, поворот за поворотом, вверх — вниз, пока несут ноги, под спящим глазом и отнимающим мысли солнцем!

Сквозными столбиками, с легким, незамолкающим гудом пульсировала в раскаленном воздухе мошкара. Воздух дрожал от зноя. Верхний, безлесный край хребта Агыс-Хыр точно колебался слегка на голубом, искрящемся, безоблачном небе. Даже крапивники перестали шуршать в кустах — целый день они бойко спуют там, как ящерицы. Где-то под боком цвел ломонос: медовый его запах был очень силен, густ и казался волнистым.

Беленькая, вся исчерченная черными из-

вилистыми линиями *Lymantia monacha*, вздрагивая серым тельцем и поводя усиками, села на висевший над туфлей пологатый носок Ветловского. Грязный и драмный носок напомнил Ветловскому, как Маруся сказала однажды, решительно и строго, увидев на пятке его дыру величиной с антоновское яблоко: «Снимите и выбросьте! Это не носки. Лучше уж на босу ногу ходить». Ветловский опять закрыл глаза и слегка застонал. Что он сделал такого, что ему дано судьбой так мучиться?

Весной Маруся копала землю на их общем огороде, в расстегнутой темной спецовке, высоко взмётывая лопату, с капельками пота на милом лице. Она выпрямилась, чтобы отдохнуть.

Горы стояли высокие, ясные. Чахилы сияли. Молодая, чистая зелень сверкала и точно смеялась. Тенькали синицы, залиристо пела малиновка. И Маруся, опершись на лопату, тоже запела, не стесняясь его взгляда. Потом сказала: «Мне нравится ваша древесная фамилия». — «Не хотите ли иметь ее?» — пробормотал он, полуотвернувшись и ужасаясь своей смелости.

В этот момент прошмыгнула лисица. Она шуркнула своим линиявшим хвостом почти под ногами у людей. Маруся бросила лопату, осмотрела след и весело сообщила, что, кажется, лисица тащила в зубах лесную мышь, *Sylvaeus flavicollis*.

Слышала она или нет? Повторить вопрос он не решился.

Но сегодня... Лучше не думать! Хорошо, должно быть, с распростертыми руками оттолкнуться от скалы над ущельем Яман-Дере. Под крутизной, далеко-далеко внизу, голубеет мелкая дубовая поросль. светлой черточкой блестит Альма. Там так высоко, что даже его здоровое сердце помертвеет, прежде чем круглые, как подушки, буки мягко примут его нескладное тело...

Тоска! Тоска! Как она еще живет тут, Маруся? Кто окружает ее? Разве это компания для нее, молодой, живой, способной, привлекательной девушки? И он, он сам — хуже всех! Вероятно, он ей давно надоел до крайности. И не гонит она его из-за простой женской потребности кого-то кормить, о ком-то заботиться. И еще потому, что ей, должно быть, очень тоскливо одной в этой глуши. Ах, ведь она уедет! Ну, что ж... Сделать такое, как он сейчас, это значит убить любовь, если сна

есть. А если ее нет — поселить презре-
ние...

На плечо Ветловского села пчела. Он
вскочил, суматошливо замахал руками, за-
крутился волчком на одном месте. Пчела
улетела, а он долго еще шарил по платью,
томясь и вздыхая. Он смертельно боял-
ся не самих пчел — энтомолог, он не мог
бояться насекомого, — а пчелиного жуж-
жания, когда, потеряв после укуса жало и
умирая, они бьются в складках одежды.

Пчела каким-то образом несколько раз-
рядила стопудовую тучу, нависшую над
Ветловским. Он растянулся под грабом и
крепко заснул. Как олени, косули и лиси-
цы, он любил спать в палящий зной, а
рано утром и к закату чувствовал прилив
энергии.

Несколькими часами позже к Ветловско-
му подошла Маруся с полотенцем на пле-
че, ведя за руку Гальку. Она быстро за-
крыла Гальке рот рукой и погрозила паль-
цем. Обе тихонько засмеялись и зашепта-
лись.

— Спишь, Ветловский, между прочим? —
смешливо покачала головой Маруся. Вло-
жив в галькины руки ветвь бересклета,
чтобы не увязалась сзади, она побежала
с крутого склона к Альме купаться.

Ветловскому приснилось, что Маруся
гневно кричит на него: «Подите прочь со
своими *Orchestes, Noctuidae, Deleripia!*», и
почему-то тычет его в нос веткой. Он тя-
жело вздохнул и проснулся.

Стволы деревьев освечивали красным:
солнце уже уходило из котловины. Перед
Ветловским сидела на корточках Галька и
тыкала его в нос бересклетом. Увидев, что
он открыл глаза, она в упор серьезно спро-
сила:

— Правда ведь, улитка — насекомая?

— Нет, — сказал Ветловский сердито. —
Улитка вовсе не насекомое, а сухопутный
моллюск. Ты зачем меня давеча обманула?

Но этот вопрос Гальку не интересовал.
Она вскочила, кинула ветку и закричала
в восторге:

— Бабочка летучая! Бабочка летучая!
Смотри!

Она доверчиво положила Ветловскому
на колено теплую ручонку. У Ветловского
слегка защекотало в горле: никому-то он
не нужен, и только эта одна девчонка от-
носится к нему как к своему, за несколько
дней успела привыкнуть, потому что видит
его постоянно у себя под носом. Вдруг он

встрепенулся: снизу донесся звонкий ма-
русин голос:

— Ста-ни-слав Михай-ло-вич! Ча-ай
пить!

Поднимаясь по склону, она запела вы-
соким, ясным голосом песню, весной заве-
вленную в заповедник летчиками:

Котомкой се-ерюю
Плечи нагузи-ив,
Я завтра у-утром
Поеду на при-зв.в.

Казалось, попав в по-вечернему влаж-
ный, пахучий воздух, звуки застывают там
чистыми стеклянными узорами.

Ты ст-ереги-и
Советские края,
Ар-мия Красная,
Армия моя!

Сливовое варенье вышло несладким, так
как сахар в последний раз Абдулаев не-
сжиданно выдал по какой-то крайне сжа-
той норме, сахар пришлось экономить. Тем
не менее, марусины нахлебники были очень
довольны. Галька вся перемазалась, отдува-
ясь и вздыхая, шумно пила третью чашку
чая подряд, часто поглядывая на лежав-
шую перед ней сухую черно-фиолетовую
жужелицу. Ветловский, еще немного сму-
щенный дневным происшествием, говорил,
ухмыляясь:

— Варенье, между прочим, замечатель-
но хорошее. Даже жалко его есть.

— Уж чего лучше! — с гримаской ото-
звалась Маруся. — Чуть было все не стю-
рело. Берите пенки! Это... новые. — Она
лукаво улыбнулась.

— Чай да сахар честной компании!

В дверях стоял бухгалтер Сыдоев.

Бухгалтеры, всегда, ввиду незначи-
тельности хозяйства, совмещающие также
должность кассира, часто менялись. Их
привозил Абдулаев. Сыдоева он добыл
сравнительно недавно.

Это был среднего роста, лысый челове-
чек с жидкими зачесами над лбом, с подо-
зрительно румяным носом, часто потирав-
ший руки и временами так в упор, как-
то даже неосмысленно, разглядывавший
находившегося рядом человека, что стано-
вилось неловко. Глаза у Сыдоева были
бледно-голубые, выпуклые и, повидимому,
близорукие, но очков он не носил, и во-
прос о близорукости оставался невыяснен-
ным.

Зато для всех скоро стало очевидным,
что бухгалтер — пьяница и бабник. Стоя-
ло лишь упомянуть о выпивке, как Сыдо-

ев начинал облизывать губы кончиком языка, совершенно бессознательно, сам этого не замечая. Он поглядывал значительно и с выражением особого удовольствия на каждую женщину заповедника и до тех пор подстерегал за каждым кустом и пригорком Настю Власову, пока та, молча и ничуть не смутясь, не отхлестала его своей твердой, как камень, рукой по щекам. С этого момента он смотрел на нее почти восторженно.

Хотя и явно опустившийся, Сыдоев был человеком очень обязательным и незлобивым, ко всем относился хорошо и был страстным чтецом. Все свободное время он до одурения зачитывался романами, предпочитая потолще и доставая их где только возможно. В конце концов, в его ведение отдали небольшую библиотеку заповедника, где до этого выдавали книги по очереди Маруся и Петров. Бухгалтер был в восторге и принялся за работу с большим рвением.

— Здравствуйте! — сухо сказала Маруся. — Присаживайтесь! Хотите чаю?

— Слыхали новость? — спросил Сыдоев, садясь на скамью и машинально протягивая руку к жужелице, которую Галка сейчас же испуганно прикрыла липкой ладошкой.

— Что такое? — спросила Маруся.

— Браконьер Рустэма Ширанова подбил.

— Как? — вскричали Маруся и Ветловский разом. — Когда? Кто сказал?

— Да сегодняшней день. — Жужелица уплыла от бухгалтера, и он крутил в пальцах чайную ложечку. — Недалеко от Коуша. По телефону позвонили откуда-то. Я же и подошел к телефону. Да там так балакали-стрекотали по-татарски! Пришлось позвать Зиночку. — Так Сыдоев называл Зэминэ. — Рустэм его в Коуш отвел, браконьера.

— И сильно он ранен? — спросила Маруся.

— Говорят, полголовы снесло.

— Как же он мог тогда сам отвести браконьера? — с досадой сказала Маруся. — Что вы говорите?

— А не знаю, не знаю, — заторопился бухгалтер, быстро крутя ложечкой. — Быть может, и не снесло. А быть может, так, с перебитыми мозгами, и отвел.

Маруся вырвала из рук бухгалтера ложечку и положила на стол.

— Извините, раздражает! Что же, Рустэм отвезен все-таки в больницу? — спросила она с тревогой.

— Говорят, нет. Положительно утверждают, что нет. Зэминэ говорила: домой отвели. А быть может, отнесли. А вы, я вижу, Мария Алексеевна, бо-ольшое страдание имеете! — Сыдоев сладко улыбнулся.

Ветловский нахмурился.

— Рустэм сам коушский, — задумчиво сказала Маруся, не обращая ни малейшего внимания на замечание Сыдоева. — Там у него отец с матерью и сестры в колхозе. Это безобразие! — воскликнула она. — До чего участилось браконьерство! Недели не проходит... Завтра я буду в том районе, непременно навещу Рустэма.

8

Рустэм не был ранен браконьером. Ударяя, браконьер погрозил наблюдателю ружьем, прицелился в него без намерения выстрелить, из озорства, чтобы попугать.

Рустэм рванулся к нему и о какую-то ветку разорвал ушную мочку. Струей полилась кровь; щека и шея Рустэма немедленно багрово окрасились. Окончательно рассвирепевший Рустэм настиг браконьера, вышиб из его рук ружье и направил на него дуло своего карабина. Затем снял с себя пояс и накрепко скрутил браконьеру руки.

Всю дорогу они неистово ругались.

Они знали друг друга отлично, наблюдатель Рустэм Ширанов и браконьер, коушский Муштаба Ислаев. Мальчишками вместе крали арбузы и грецкие орехи у коушского богатея Нахутдинова, года четыре назад раскулаченного и высланного куда-то на север; подростки, они даже влюбились в одну и ту же девушку.

Растягивая слова, Рустэм певуче клял бывшего приятеля за то, что тот — расхититель государственной собственности. А еще колхозник называется! Он просто пес, мерзавец и еще многое другое! Да знает ли он, что теперь отсидит лет пять в тюрьме? Он, — бандит, бугай чортов и еще многое, — фактически должен вылететь из колхоза. И на что ему коза? Что она ему сдалась, такому-разэтакому? И сколько он выработывает в колхозе трудодней? Что ему, жрать, что ли, нечего, что ему коза, скажите на милость, понадобилась? Живут они вовсе прилично, чтоб ему, Муштабе

проклятому, пропасть на этом месте, и так далее. И дяде его, старому Аблямиту, должно быть стыдно смотреть на такого паршивого и сильно гнусного племянника-вора. А отец его, если бы мертвые видели или хоть слышали, перевернулся бы в могиле от такого сына! Тут снова следовал ряд выражений, более чем сильных.

Скашивая глаза на рустёмовское ухо, на котором толстой коркой запекалась кровь, — при малейшей попытке повернуть голову Рустэм тыкал в его спину карабином, — браконьер злобно и насмешливо отвечал, что Рустэм — сам собака, дрянь и так далее. Что значит один маленький козел, вовсе паршивый? Козлов тут сколько угодно, и никому они не нужны. И ничего ему не будет, никакой тюрьмы. А вот Рустэм, действительно, когда-нибудь головы лишится на этой собачьей должности. Жалко ему паршивого козла? Для чего их беречь? Ходят, сами, в конце концов, дохнут — всё это одна глупость! Выработал он, Муштаба Ислаев, трудодней много, работать он, когда захочет, может хорошо и уж, конечно, не с голоду пошел за козлом. А коза ему все-таки была нужна. И он еще десять убьет в другом квартале. И ничего ему за это не будет.

Солнце пекло. Они вышли на открытую, просторную дорогу, пересекавшую большую поляну со свежескошенным сеном. Запах сена дурманил. На опушках — заросли кизила. В цветущей зелени сверкали темно-красные плоды, похожие на продолговатые яркие капли. На вкус они кислосладки.

Вид кизила вызывал у Рустэма острую жажду. Остановиться было нельзя, и он еще крепче ругал Муштабу Ислаева.

Колхозники сбежались, взрослые и дети, припелись старики. Мать Рустэма вела, всплескивая руками. Ее удерживали, чтобы она не изодрала Муштабе Ислаеву лицо.

Вид у Рустэма, грязного, окровавленного и возбужденного, был, действительно, устрашающий. Когда он сдал браконьера в сельсовет, от жары и потери крови ему стало дурно; в сельсовете он сел, побледнев, а потом и лег на пол. Вероятно поэтому пронесся слух, что Рустэму «снесло полголовы», как сообщил бухгалтер Сыдов Марусе.

Когда на следующий день Маруся вошла во двор Ширановых, Рустэм сидел посреди двора на стуле, единственном в доме и очень ценном. Голова Рустэма

была забинтована, поверх марли с эффективной небрежностью повязана пестрой, расшитой чадрой.

Вокруг Рустэма хлопотали сестры-подростки, подавая ему то какое-то питье, — в стакане и даже на блюде! — то ломти чурка с брынзой и длинные, матово поблескивавшие кисти винограда. На земле сидели, поджав ноги, трое взрослых и человек восемь ребятишек и, подняв головы молча глядели на Рустэма. Время было горячее — снимали виноград, и много созерцающих Рустэму собрать не удалось.

Маруся невольная улыбнулась: у Рустэма была удивительная способность во всяком положении создавать вокруг себя нечто не совсем обычное. И очень обрадовалась, что все обошлось благополучно.

Рустэм при виде Маруси выразил шумный восторг. Важно и радостно он во всех подробностях расписал ей происшествие.

— И все этот хо-орек блу-удливый, недорезанный в голову метит! — сказал он с негодованием. — Мне у-ухо испортил, а ко-озлу бедному прямо в глаз! Так дырка и осталась. Жа-алко зверя!

— В глаз выстрел карош! — по-русски сказал громко и дерзко чей-то гортанный голос. — А недорезанный — это как раз ты!

Маруся оглянулась. Опираясь на плетень, на дороге стоял молодой парень с тупым, нахальным лицом и вызывающе разглядывал Марусю.

— Кто это?

— А он же са-амый... Муштаба Ислаев, — недовольно пробормотал Рустэм, принципиально не глядя в ту сторону. — Чует ко-ошка, чье ухо съела! — сказал он громко и насмешливо. — Целый день себе пя-атки простаивает. Только ни на кого это не действует.

Муштабу Ислаева освободили часа через два после задержания, на поруки, до суда. Местный исполнитель милиции, составив акт, повез его в город, прихватив с собой и «вещественное доказательство» — убитую коосулю.

— Бо-оюсь, как бы они ее не ску-ушали, — сказал Рустэм озабоченно. — Они с этим червяком по-олзучим хо-орошие приятели.

— А зачем ты на солнце сидишь? — нахмурилась Маруся, краснея под упорным, нахальным взглядом браконьера и досадуя на себя за то, что краснеет. — Сейчас же ступай в дом! При Макарове браконьерам

давали по пять лет, — сказала она порывисто и возмущенно. — Что-то у нас завелись новые порядки!

Рустэм встал со стула:

— Кото-орого поймал Ахтэм Каранджи, тоже получил четыре года. А вот Мустафа Арлан задержал — дали штраф и... Ты слышала, конечно? Козу ему отдали. Что ж, это у-удобно: по сходной цене мясо. Ди-ичь все-таки!

9

Крошечного кородея Ветловский ловил умело, но большой круглый мяч от него ускользал. Ветловский бегал за мячом, как будто ловил курицу, — с широко растопыренными руками, с вытаращенными глазами, неукаюже приседая на длинных ногах.

— Какая уж игра без практикантов! — вздохнула Настя Власова, посмотрела на Ветловского, фыркнула, громко икнула и, покрасневшись, закрылась голым локтем.

Мяч заюлил у Ветловского под ногами, вырвался и, хитро вильнув хвостиком — развязавшейся веревочкой камеры, точно смеясь над незадачливым игроком, вприскочку покатился к заросшему кустами обрыву. Момент — и он запрыгает с обрыва вниз, в звенящую мутнозеленую Альму. Маруся вскрикнула и стремглав понеслась за мячом.

— Мячик бежал немножко скупаться, — весело подмигнул черным глазом Бекир Арнаут, помощник метеоролога. — Уставал с тобой, Ветловский. Тебе для чего практиканты нужен, Настя? А — хызджаным? Для волейбола нужен? Не-ет!

Настя проворно нагнулась, схватила с земли горсть мелких камешков и, смеясь, кинула в Бекира.

Сидевшая на камне Зэминэ негромко засмеялась и опустила глаза. Ей хотелось тоже поиграть в волейбол, но она стеснялась Джефира, сына директора, высокого, тонкого юноши.

Студент, он учился в Москве и приехал к отцу на каникулы. Как-то вечером, придя за молоком, он с серьезным видом рассказал Зэминэ, что скоро он станет астрономом. Он объяснил ей, что это значит, и теперь она смотрела на звезды, сверкающими гроздьями висевшие на черном небе, с робким удивлением. Играя, Джефир косился на Зэминэ; она прятала за спину свои тонкие руки в коротких рукавах городского платья.

Загнанный мячом, Ветловский стоял, тяжело дыша, и не слушал веселой перебранки Насти и Бекира. Маруся почему-то не шла. Наконец, она вылезла из-под крутого обрыва, цепляясь руками, и, раскрасневшаяся, побежала на площадку. Она уже пробежала несколько шагов, когда из-под обрыва стремительно вылетел мяч, описав высокую дугу и упал к ногам Джефира. Все глаза устремились на мяч.

— Ай-ай-ай! — почтительно удивилась Бекир. — Хороший подача! Кто ж это так ловко?

Над обрывом показался темноволосый, коренастый парень. Лицо его, с веселыми карими глазами и широким носом, было оживленно и горделиво.

— Это ты, хозяин? — воскликнул Бекир. — Я думал, спишь.

— Здравствуйте, с кем незнаком! — развязно сказал парень, откровенно разглядывая Ветловского и Джефира. — Рекомендую: Александр Прутников, а попросту Сашка, по воле судьбы и вашего директора, отныне здешний метеоролог. — Он протянул руку Джефиру, потом, с почти неуловимым, шутовским поклоном, Ветловскому. Ветловский сдержанно подал свою. — Зиночку знаю, — махнул он на Зэминэ, — ж эту достойную владычицу коров, — взвезд он руки перед Настей Власовой, — также. Ну, тебя, Бекирка, и подавно. А с Марусенькой, — вы уж разрешите вас так называть? — сейчас имел великую честь познакомиться.

— Нет уж, пожалуйста без Марусеньки! — сказала Маруся, но усмехнулась.

Ветловского передернуло.

— Давно ли вы изволили прибыть? — спросил он с подчеркнутой сухостью. — Мы что-то вас, между прочим, до сих пор не приметили.

— Справедливо изволили заметить! — в тон Ветловскому, но с отменной любезностью согласился Прутников. — Договорился я, между прочим, — Маруся быстро взглянула на него со смехом в глазах и стала пристально смотреть на горевшие осенней листвой горы, — давненько. Но был здесь, как метеор, — не метеоролог, а метеор, заметьте! — всего одну минуту. Или часа полтора. Успел только кинуть взгляд на прилежащую местность и отбыл за вещами в Алушту. А там — узы! — провалялся в досаднейшей москитке. И вот со вчерашнего утра я — житель здешних

мест. Вы же, глубокоуважаемый, находились вчера в дальней экскурсии или экспедиции, что почти адекватно. Если не ошибаюсь, вы — местный энтомолог Ветловский?

— Нет, вы не ошибаетесь, — с неприязнью пробормотал Ветловский, подавленный говорливостью Прутникова.

— Посмотрим, адекватна ли игра вашему красноречию? — сказала Маруся, подбрасывая мяч.

Играл Прутников отлично. Он прогуливался по площадке, болтая и, повидимому, не обращая на мяч никакого внимания. Но в тот момент, когда мяч непременно должен был упасть, рука Прутникова каким-то необъяснимым образом оказывалась под мячом. Получив внезапный, сильный и совершенно точный толчок, мяч неумолимо падал на стороне противника.

— Вот здорово! Прямо класс! — восхищалась Маруся.

Широкий нос Прутникова беззастенчиво задирался кверху. Не в силах вынести превосходства противника, Ветловский вышел из игры и сел в стороне на землю, враждебно наблюдая за ловкими движениями Прутникова.

Тени спустились с гор, заполнив котловину. Испарина на открытых плечах и шее сделалась холодной. Мяч незримо летал над площадкой. А они все еще играли, увлеченные щегольской игрой нового метеоролога.

10

Надо было доставить Гальку в Алушту, к матери. «Хорошо бы хоть часть дороги подъехать», — думала Маруся. Но выяснить, собирается ли кто-нибудь ехать в Алушту или в Симферополь, было не так-то просто. Ветловский и Петров о транспортных «оказиях» никогда не имели понятия; бухгалтер Сыдоев мог наврать — это только отняло бы время; спрашивать у кучера Асана Гани было бесполезно. Огромный арабджи с грубым голосом, такой силач, что ударом кулака по голове мог оглушить до полусмерти взрослую свинью, перед Абдулаевым делался совершенно бессловесным, как-то весь обмякал, переминался с ноги на ногу, точно мальчишка, которого собираются наказать, и только шумно и тоскливо пыхал ноздрями. Боясь недовольства Абдулаева, любившего уезжать внезапно, никого, кроме

разве директора, заранее не уведомляя. Асан Гани никогда не признавался, поедут ли куда-нибудь, а если лошадь уже была запряжена в линейку — то куда поедут. Хотя и не хотелось, Маруся решила справиться насчет лошадей у «первоисточника» — у Абдулаева.

Она легонько постучалась в приотворенную дверь. Никто не отозвался. Тогда она вошла в кухню. У кухонного стола стояла жена Абдулаева, Марфа, и острой секачкой проворно рубила мясо. Поглощенная своим занятием, она не слышала марусиного стука и только на шум шагов поспешно повернулась, локтем поправляя волосы на лбу.

Жена Абдулаева, пухленькая, светловолосая и светлоглазая, была бы очень милостива, если бы не все время увеличивавшаяся полнота. Она была русская, презирала татарок, держалась со всеми заносчиво и высокомерно и до отчаяния скучала. Съездив с мужем в город, она возвращалась непременно с новыми нарядами; вырядившись, часа два сидела горделиво на крыльце или у раскрытого настежь окна; потом уходила в глубину комнаты и, если мужа не было дома, заливалась в подушки злобными, тоскливыми слезами. При муже она не плакала. Единственным человеком, который боялся Абдулаева, больше чем арабджи, была его жена.

— Товарищ Абдулаев дома? — спросила Маруся.

— Нету, — поворачивая спину, коротко сказала Абдулаева.

— Он, что же, уехал?

— Не знаю. Уехал, да.

— А куда? И когда вернется? — уже насмешливо спросила Маруся.

— Не знаю.

— Не очень-то вы любезны, Марфуша! Маруся шагнула к двери, машинально посмотрела на стол и вдруг остановилась, сильно покраснев от неожиданности и от сразу охватившего ее неприятного чувства. На столе, среди кусков мяса, лежала ободранная красная голова животного. Мжду широкими ушами желтели два кружочка — основания срезанных рогов.

Это была голова косули, Маруся не могла ошибиться. Один блёклый глаз на этой мертвой голове стеклянно блестел; на месте другого глаза зияла черная дырка.

— Это... — вырвалось у Маруси. — Что вы, Марфуша, делаете?

— Мясо разделяваю, — с досадой повернулась Абдулаева. — Или ослепли?

— А откуда это мясо?

— И что вы всё, барышня, выпрашиваете? — ядовито протянула Абдулаева. — Откуда мясо? Ясно, откуда! С неба не упало. Муж из Алушты привез. На кровные денежки купил. А вам что, мяса захотелось?

— Какая я вам барышня? — резко сказала Маруся. — Пора бы уж, кажется, имена сотрудников знать!

— Чьи бы — пора, а чьи бы — словно не зачем. — Абдулаева прищурилась. — Так-то!

— Это что же, вас муж так учит? — насмешливо спросила Маруся, еще раз взглянула на ободранную голову, — дырка чернела, по краям ее ползали толстые, с зеленым отливом, мухи, — и вышла, прямая и решительная, вся дрожа от негодования.

«До чего подлая баба! — думала Маруся. — Ну, да черт с ней! Но что это? Рустэм так твердил, что Муштаба Ислаев забил косяку в глаз. Крупного самца белогорлой косяки. И эта голова крупная... Дырка вместо глаза... Это та самая косяка? Что это такое? Абдулаев покрывает браконьеров? Нет, это слишком!»

Убитое браконьерами животное — олень или косяку — обычно отдавали прежде, при Макарове, в управление и мясо раздавали служащим. Но из «этой животной», как говорил Рустэм, уже явно получались котлеты. И вчера Абдулаев как раз выдавал мясо — обычное, говяжье.

«Сказать об этом? Кому? И голову уже, наверно, эта бабенка тоже разрубила. Муртазаву сказать. Он такой горячий, непременно поругается... Но, главное, надо немедленно! И голова уже, наверно, порублена».

Маруся медленно пересекала тихий, солнечный двор. Из задумчивости ее вывел голос Ветловского. Она подняла голову и на некотором расстоянии от себя с удивлением увидела Лемме, подметавшего двор.

Маруся еще не видела его, с тех пор как он отправился в путешествие за справками, но знала от Ветловского, перед которым Лемме обстоятельно излил по возвращении душу, о результате путешествия. Теперь она не сомневалась в том, что Лемме является жертвой тяжелого недоразумения или клеветы.

Метла меланхолически болталась из стороны в сторону в руках Лемме. Возле него стоял Ветловский и говорил с сочувственной усмешкой:

— Вообще у нас существует обычай начинать карьеру с метлы. Дальше идет повышение: либо в наблюдатели, либо по административно-хозяйственной линии. В данном случае история пошла вспять.

— Что это значит? — подходя, спросила Маруся.

Ветловский увидел Марусю. Лицо его просияло, он опустил глаза.

Лемме оперся о метлу.

— Здравствуйте, Мария Алексеевна! Очень рад вас видеть! Да что! — махнул он рукой. — Одна превратность! Наняли вот... Нельзя мне, видите ли, делопроизводителем работать! — Он горько усмехнулся, вздохнул. — Мету... пока...

Свою мечту Лемме не осуществил: он не бросил добытые справки в надутую физиономию Абдулаева. Он скромно и взволнованно положил их на стол перед Изабековым. Тот послал Настю Власову за Абдулаевым и приказал Лемме подождать в коридоре. Минут двадцать Лемме ходил взад-вперед по коридору, трепещущий, весь взмокший от пота. Потом его позвали.

— Ваша репутация, — сказал Изабеков, — так сказать, нэ есть вполне чиста. Но, если хотите, мы можем предложить вам менее ответственную работу.

Абдулаев, громадный, толстый, стоял, презрительно скривившись и слегка покачиваясь: он был немного навеселе.

— Верите ли, Мария Алексеевна, — зажав метлу подмышкой, Лемме приложил обе руки к груди, — замучил проклятый! — Он покосился в сторону абдулаевского дома, сказал тише, выразительно подняв брови: — Чтоб ему ни дна, ни крыши! Чтоб ему на том свете, — хотя я и не верующий, супруга — еще чуть-чуть... Эх! Сколько я от него, от этого... горьких мучений принял, просто не сказать!

— Уехали бы вы отсюда, Федор Платоныч, — сказал Ветловский.

— Из-за деточек затрудняюсь сейчас, — грустно сказал Лемме. — Да и как-то не того, подумайте! Ведь на новом-то месте спросят: «Отчего вы, гражданин Лемме, с прежней работы ушли?» Что я скажу? Да и уж все слышали, знаете ли, что я-де... барон. Одно слово — превратность!

— Нет, ему совсем не надо отсюда уезжать, — решительно сказала Маруся. — Ведь он же... не барон. — Она невольно улыбнулась. Ветловский захихикал. — Простите, Федор Платоныч, но это в самом деле получается смешно! Но это такое безобразие, безобразие! Я не знаю, что у нас тут вообще происходит? Вы ведь достали исчерпывающие справки? Ведь его за клевету, знаете, как взгреть можно?

Лемме смотрел на Марусю растроганно и с благодарностью. В глазах его засветилась неуверенная надежда.

— Послушайте, Сергей Николаевич! — горячо говорила Маруся Петрову. — Вы — человек практический и, так сказать, здравомыслящий. Ну, посоветуйте, что делать насчет Лемме? Ведь происходит издевательство над человеком, в конце концов! Ведь не был же он бароном и врангелевцем! Да и пусть судят его, в конце концов, выясняют! Чепуха какая-то! Он подметает двор. С несчастным лицом. И действительно, похудел, какой-то обглоданный стал. Чувствует себя страшно униженным. Ну, куда обратиться? В прокуратуру?

Петров медленно вложил в рот папиросу.

— Видите ли, Мария Алексеевна... — Он потряс спичечной коробкой. — Простите, нет ли у вас спички?

— Нету, — рассеянно сказала Маруся. — Я ему говорила об этом, Лемме! Он говорит, что не стоит пока. Он, как видно, боится прокуратуры отчасти, всей этой тяжести, волокиты. А больше всего боится Абдулаева.

— Да... — Петров пососал незажженную папиросу и аккуратно переложил с одного места на другое пучок растений на столе. — Мария Алексеевна, я вас очень и очень уважаю. И как специалиста и как интеллигентного и разумного человека. А Елена Дмитриевна, жена моя, как вас любит, вы знаете. — Он помолчал. — Я понимаю эту вашу пылкость, вашу молодую горячность. Приятного вокруг, действительно, не так уж много. И вот вам мой совет: оставьте это дело, не принимайте его так близко к сердцу! — Маруся нахмурилась, сделала нетерпеливое движение плечом. — Прежде всего, дорогая Маруся, вы тут ничего не сделаете. Это слишком сложно. Ну, хорошо, вы поднимите вопрос в прокуратуре — республики ли,

Союза ли... Почему вы? Лемме сам это должен сделать! А если Лемме не будет сам действовать активно, то вы же, извините меня, окажетесь в глупом положении. А Лемме — трус, нерешителен и действовать побойтся да и не сумеет. Наконец, чего тут судом можно добиться? Против воли директора вы не можете его принять на прежнюю должность.

— Суд, разумеется, может потребовать восстановления на работе. Но кроме того за клевету Абдулаева могут, наконец, просто снять с работы!

— Ну, вряд ли! — осторожно заметил Петров. — Он ведь может сказать, что ошибался, но в целях, так сказать, бдительности и так далее. Но даже если бы его сняли, то это случилось бы нескоро, и до тех пор он бы сжил Лемме со свету. А Лемме уезжать отсюда не хочет, вы же сами говорите. Успокойтесь, Маруся, постепенно как-нибудь все устроится! Чтобы вас утешить, — Петров бледно улыбнулся, — могу вас заверить, что работать по двору гораздо полезнее для здоровья, чем сидеть в канцелярии.

Маруся вздохнула:

— Холодный вы все-таки человек, Сергей Николаевич! Хотя и рассудительный... Легко определяются? — Она потрогала растения.

— Да, конечно. Вот вы мне сказали: холодный. И сказали весьма порицающе. Может быть, я бы на другого человека и обиделся. А на вас, Маруся, и обидеться нельзя: такая вы еще, в сущности, девочка и такая горячая! Из самых хороших чувств я еще раз вам советую: поменьше вступайте в конфликты! Тут люди довольно... гм... непокладистые, скажем так. И сильнее нас с вами.

Маруся пристально посмотрела на Петрова: с безразличным лицом тот глядел куда-то в окно, на залитую послеполуденным солнцем гору.

— Почему вы так говорите, Сергей Николаевич? Точно предостерегаете! Вы что-нибудь знаете? — Она вспомнила про козулю на столе у Абдулаева: «Может быть, есть еще что-нибудь похуже».

— Нет, я ничего не знаю, — не сразу ответил Петров. — Просто общее впечатление. Для всякого умозаключения, даже незначительного, всегда необходимы факты, неопровержимые и ясные, как день.

— Вот! — воскликнула Маруся. — Вы

знаете, я видела у Абдулаева коосулю убитую, голову.

Выслушав рассказ Маруси, Петров сказал, как всегда ровно, точно на ниточку нанизаны были у него слова:

— Вы только подтверждаете мои слова, Мария Алексеевна. Когда это было?

— Дня два тому назад, — смущенно сказала Маруся. — Ну да, вчера мы с Ветловским отводили Гальку в Алушту. Это было позавчера.

— Была ли это та самая косуля или какая-нибудь другая, они ее уже, без сомнения, съели. И теперь вы ничего абсолютно не докажете! Н-да! Вы хорошо сделали, что ничего никому не сказали. И в частности — Муртазаеву. Муртазаев вообще молод для начальника охраны. И излишне горяч, как и некоторые другие уважаемые сотрудники. — Петров слегка поклонился шутливо Марусе. Помедлив, он добавил: — Надеюсь, и этот наш разговор останется между нами?

— Уж не боитесь ли и вы Абдулаева, Сергей Николаевич? — насмешливо и с большим удивлением спросила Маруся. — Это, кажется, становится повальной болезнью.

— О, нет, — сухо ответил Петров, — отнюдь! Я занимаюсь научной работой, и этого вполне достаточно. Но я вообще считаю, что никогда не следует делать лишних действий. И создавать из мухи слона там, где, может быть, нет и мухи.

— Но где сидит крокодил! — вызывающе вздернула подбородок Маруся.

Петров посмотрел на Марусю и молча улыбнулся краем губ.

— Уф! Ну, и долго же вы! — сказал Ветловский. Он ждал Марусю у подножия горы: они должны были вместе итти фотографировать. — О чем вы там так долго говорили? Нашли, к кому итти советовать: к кислому молоку! Я вам уже говорил, что надо сделать, и повторяю: надо хорошенько избить Абдулаева в потемках, чтобы он не видел, кто. Но, между прочим, непременно дать ему почувствовать, что колотят его именно за Лемме.

— Бросьте вы молоть, Станислав Михайлович! — рассеянно отозвалась Маруся. — Между прочим... Вот вы уже и меня своим «между прочим» заразили. Ужасно! А Петров, конечно, человек без искры, что ли, но все-таки...

— Ох, только не хвалите вы это жаберное, пожалуйста! — взмолился Ветловский.

11

Открытое окно в красном уголке занавесили старыми газетами. Теперь солнце в глаза не било, но все-таки было так невыносимо жарко, что сидели прямо на полу под стенкой, где было как будто чуть-чуть прохладнее.

— «Следует заметить, — медленно и четко читала Маруся, — что пережитки капитализма в сознании людей гораздо более живучи в области национального вопроса, чем в любой другой области. Они более живучи, так как имеют возможность хорошо маскироваться в национальном костюме». — Маруся крепче оперлась на вытянутую руку, подняла голову: — Вот это золотые слова, товарищи! Я читаю их уже не в первый раз, да и вы их, наверно, уже слышали, и каждый раз они поражают своей правдивостью. А для нас они особенно важны, потому что мы на каждом шагу, так или иначе, часто совсем в мелочах, так что даже не замечаем сами, сталкиваемся именно с этим — с национальным вопросом. — Маруся поправила тубетейку; она сидела, поджав под себя босые ноги. — Понимаете ли вы, как следует, что такое значит «шовинизм?»

— Понятное дело, понимаем, — сказал Осип Митрофаныч Щуренко, поудобнее вытянул ноги и принялся скручивать цыгарку. — Вот, скажем, к примеру, я сам родом тверяк. И в нашей губернии редко встречались нерусские. Но уж если попадется, скажем, еврей — то держись! Найдутся, что и ухо свиное покажут и что ни на есть гадкое спроворят сказать. Вот это есть пережиток, оно есть шовинизма, так при старом эксплуататорском строе было! — Из-под густых белых бровей он ласково и утверждающе обвел всех старческими голубыми глазами.

— Осип Митрофаныч совершенно прав, — сказала Маруся. — Это, конечно, шовинизм. Презрение, пренебрежение и полное непризнание одной нацией каких-нибудь прав за другой нацией — это шовинизм. Были нации угнетенные и нации угнетающие.

— Вот-вот, — сказал Осип Митрофаныч. — Как есть, правов не признавали! И был у нас однажды такой случай...

— Тохта!¹ — поднял руку Муртазаев. Сидя на корточках позади Маруси, он во все время чтения смотрел через ее плечо в книгу и на ее руки, лежавшие возле страниц, ему казалось, что так он лучше понимает. — Пусть Маруся говорит! Читает пусть! А мы говорить потом.

Осип Митрофаныч смутился и обиделся:

— А я разве что? Я только, что верно это написано. Подтверждение сделать хочу.

— Нет, ты напрасно, Умэр, — сказала Маруся. — Пусть все что хотят, то и говорят. И все вы спрашивайте, что непонятно. Не надо торопиться! Лучше две строчки прочесть, да с толком. Расскажите, Осип Митрофаныч, что вы хотели!

— Давеча хотел, а теперь уж охотку отбило, — пробурчал Осип Митрофаныч, сердито поглядывая на Муртазаева. — Читай дальше!

— Читай, Марусенька! — грудным голосом сказала Настя Власова. — Все мы знаем, как оно жилось при прежнем режиме.

— А уж особенно ты много знаешь! — с досадой заметил Осип Митрофаныч. — Ты-то зна-ачи-тельно опосля родивши. Тетерка!

Настя хихикнула.

— Он меня шовинистует, Маруся!

Зэминэ улыбнулась красивым ртом, выжидающе глядя на Марусю. Муртазаев и Маруся засмеялись. Осип Митрофаныч растерялся, склонил седую голову, засуетился пальцами в кيسете с табаком.

— Нет, Настя, — весело сказала Маруся, — это не шовинизм. Хотя тоже на «ш», просто — шутка! Вдобавок, вы ведь одной нации... Ну, я читаю дальше! Так... Тут про Скрипника. На Украине. Это я вам потом расскажу. — Она слегка вздохнула и начала читать, стараясь как можно отчетливее произносить слова: — «Что значит уклон к национализму, — все равно, идет ли речь об уклоне к великорусскому национализму или об уклоне к местному национализму?»

Дверь с силой распахнулась. Раздался тонкий, негодующий возглас:

— Па-ачему собрание?

Кольхаясь телесами, в красный уголок свалился Абдулаев.

— Это не собрание, — сказала Маруся. — Мы просто читаем. А если бы и собрание? Что тогда?

— Па-ачему не предупредили других? А па-ачему, скажите пожалуйста, в рабочее время? — даже с какой-то сладостью в голосе, любезно осведомился Абдулаев, изменяя своей обычной манере; с зоологом он был вежлив всегда. — Если вам, товарищ Мишина, самой лень работать, по какому праву отрываете от работы других? — Верхняя губа его приподнялась в полуулыбке, обнажая узкие, часто посаженные, острые зубы; черные маленькие глаза слегка подернулись жирноватой влагой.

На момент все замерли от неожиданности и неловкости. Потом Зэминэ поспешно поднялась с пола и встала у стены в нерешительной позе. Муртазаев сдвинул брови, все также сидя на корточках позади Маруси. Настя Власова, приоткрыв рот, смотрела то на Абдулаева, то на Марусю. Осип Митрофаныч захрипел, искаса снизу вверх зорко глядя на Абдулаева.

Сильно покраснев, Маруся сказала громко, и голос ее дрогнул:

— Товарищ Абдулаев! Сядь, Зэминэ! — Зэминэ медленно опустилась на корточки у стены. — Ваше обвинение абсолютно несправедливо. Муртазаев и Щуренко сегодня выходные. А я...

Все утро, с семи часов, Маруся просидела в лаборатории, исследуя содержимое желудков сов, отстрелянных по ее просьбе наблюдателями; только полчаса назад она покинула лабораторию. Во второй половине дня она пойдет смотреть окопанные норы полевок: в одном месте на Бабуган-Яйле она заготовила их десятка полтора. сегодня выяснится, какие из них заселены. Гордость не позволяла ей оправдываться.

— Извините, вам я не обязана отчитываться в своем рабочем времени! — Потом она сказала, не столько для Абдулаева, сколько для других: — Наконец, вы не можете не знать, что у нас, научных работников, нет твердо установленных выходных дней. Мы берем выходной день, когда позволяет работа. Договариваемся. В наших условиях постоянные выходные дни и не нужны, мы работаем каждый день одинаково.

— Или каждый день одинаково не работаем! — захлебнулся Абдулаев в фи-стальном своем смехе.

Маруся побледнела, сжала губы, подбородок у нее по-детски дрогнул, глаза сверкнули.

¹ Тохта! — Положи!

Она не успела ответить. Муртазаев, оттолкнувшись пятками, без помощи рук вскочил на ноги.

— Хэ! — крикнул он. — Они работают круглые дни! Побольше тэбэ! Конечно!

— Т-ты! — с презрением, тихо выдавил из себя Абдулаев. — Как ты смеэшь? Мальчишка! — Он часто и коротко отдышался.

— Хорошо же вы обращаетесь с начальником охраны! — вздрогнув от возмущения, насмешливо сказала Маруся.

— Книжечка небольшая, — вдруг сказал Осип Митрофаныч, до этого только молча посапывавший и вертевший пальцами в кисете, — а до чего же хорошая! Не грех бы и вам, товарищ завхоз, послушать! Так я полагаю.

— Какая книжечка? — взвизгнул Абдулаев. Может быть, он не разъярился бы так, будь с ним Щуренко почтительнее и не назови его «завхозом» с оттенком пренебрежения. — Я еще буду выяснять у директора, можно ли устраивать собрания днем! Всякие книжечки!

— Это не всякие книжечки! — неистово крикнул Муртазаев, подсакивая к Абдулаеву.

Рука у Маруси дрогнула: ей показалось, что Муртазаев хочет ударить завхоза. Брошюра упала на пол, открывшись на том месте, где ее несчетное число раз открывал Муртазаев, поджидая Марусю.

Портрет был небольшой, немного расплывчато отпечатанный. Но он был похож: зоркие глаза вождя со спокойной, мудрой усмешкой были устремлены на Абдулаева.

И Абдулаев узнал его. Черные глазки завхоза забегали. Он порывисто отвернулся, как-то дернул руками и всей своей тушей кинулся к двери.

Маруся остановила его:

— Подождите, товарищ Абдулаев! Я вас давно хотела спросить, да все не было случая. Где та косуля, которую подстрелил браконьер, задержанный Широновым?

На короткий миг их глаза встретились. Маруся отчетливо увидела: глазки Абдулаева горели жгучей ненавистью. Но это продолжалось меньше секунды. Абдулаев усмехнулся почти добродушно:

— Я сразу нэ понял. Это было довольно давно. Могу удовлетворить ваше любопытство: косуля завонялась, начала гнить, она слишком долго пролежала в

сельсовете, пока ее забрали. Пришлось ее выбросить. Вы имэете удовлетворение?

Маруся молча пожала плечами, взяла из рук Муртазаева брошюру, разглядела ее.

— Итак, товарищ завхоз, вы не интересуетесь политическим просвещением? — иронически осведомился чей-то звонкий голос.

Все быстро обернулись.

Просунув голову и плечи под край газеты и облокотившись о подоконник, на выступе стены за окном стоял метеоролог Прутников и с любопытством взирал на Абдулаева. Глаза его искрились весельем.

— Так и запишем! — сказал он сочно и прилепнул ладонью по подоконнику.

12

Прутников сделался видной фигурой в управлении. Он привез с собой маленький, паршивый патефон, который все время портился. Но потребность в музыке была очень велика. По вечерам все ходили слушать патефон: обе доярки, наблюдатели, случившиеся в управлении, Маруся, кучер, бухгалтер, сын директора, вскоре, впрочем, уехавший, нелюдимый Петров. Даже Изабеков, прогуливаясь в темноте по управлению, задерживался иногда на несколько минут в кустах под окном метеоролога и, склонив голову, слушал; переступить порог ему не позволяло, очевидно, директорское достоинство.

Не бывали у метеоролога только бабка Зэминэ, Абдулаев, жена его, жена Изабекова и Ветловский.

Харт-ана Зэминэ была глуха. Абдулаев с первого дня до того не взлюбил Прутникова, что при виде его на толстой шее завхоза и помдиректора вздувались вены. Жена Абдулаева просто не смела гойти и изнывала от зависти, прикрывая зависть высокомерной пренебрежительностью к «этому дурацкому ящику».

Жена Изабекова, прямая, иссохшая женщина, не появлялась нигде. Многие совсем не знали ее в лицо и имели лишь смутное представление о том, что у директора есть жена; некоторые вообще не подозревали об ее существовании. Говорили, что она ни слова не понимает по-русски и безмолвна настолько, что даже доярки, каждый вечер относившие ей молоко, ни разу не слышали ее голоса. Настя Власова была искренно убеждена, что

жена у Изабекова — немая. Поливала огород и делала домашнюю работу вне дома Изабекова на рассвете, в безлюдной, глубокой тишине, когда горы были окутаны серой дымкой и в котловине не просыпались еще птицы. Или поздно вечером — почти в полной темноте — Марусе случилось видеть ее высокую, плоскую фигуру, двигавшуюся между грядками.

Что касается Ветловского, то какое-то безотчетное, но непобедимое внутреннее сопротивление не давало ему возможности посетить Прутникова. Он упрямо говорил звавшей его Марусе:

— К чему мне эти фестивали? Проживу и без них.

— Но ведь музыка! — удивлялась Маруся. — Мне казалось, что у вас есть слух, Станислав Михайлович. Пластинки у Сашки тьма! Есть очень хорошие.

Ветловский слушал Марусю с тоской и замешательством: как и все, она уже называла Прутникова «Сашкой» и была с ним на «ты».

Однажды Маруся возмутилась:

— Ну и сидите себе, как сыч! А я пойду! Такого пустякового удовольствия не можете доставить, как полчаса вместе музыку послушать! Хоть бы и на дрянном патефоне. Так и буду знать!

Она швырнула на стол полотенце, которым вытирала после ужина посуду, и, глядя в маленькое зеркало на стене, сердито нацепила на затылок тюбетейку.

«Вместе послушать... Она так сказала! Ей хочется вместе». Ветловский был глубоко тронут. «Но... итти?» Он помялся, повздыхал и сказал нерешительно:

— Разве что на полчаса... — С сомнением он оглядел свою выпачканную землей рубаху: — У меня, между прочим, одежда не в блестящем состоянии.

— Кто-то там на вас смотреть станет! Вы никак рассчитываете в самом деле на бал попасть? Хотя мы иногда танцуем...

Когда Маруся и Ветловский вошли в комнату Прутникова, на длинной скамье, кем-то притащенной из клуба, уже сидели Настя, Бекир, Земинэ, Петров и кучер Асан Гани.

Патефон молчал. Сашка разбирал пластинки и весело говорил:

— Да, граждане, это умопомрачительно! Даже радио нет. Живете как в лесу!

Все засмеялись, точно Прутников сказал что-то очень остроумное.

— А ведь и правдычка в лесу живем, — со вздохом сказала Настя Власова.

И опять все засмеялись.

— Ты все о радио плачешь? — сказала Маруся и тоже стала перебирать пластинки.

Ветловский застенчиво сел в углу рядом с шумно дышавшим кучером в меховой шапке и огляделся.

Комната у Прутникова была большая, очень чистая и почти пустая. Стол, две табуретки, деревянный топчан, аккуратно застеленный розовым пикейным одеялом, клубная скамья вдоль стены. На столе — керосиновая лампа, пламя в которой слегка колебалось, оттого что Прутников над ней вертелся, патефон, груда пластинок, пачка книг и простых ученических тетрадок, эмалированная синяя кружка, краюха хлеба и несколько помидоров, прикрытых газетой. Под кроватью виднелся небольшой чемодан. На гвозде возле двери висел рюкзак.

Однообразие белых стен нарушали штук десять открыток, изображавших киноартистов и просто каких-то длинноволосых, патлатых женщин в кокетливых позах, и довольно большая репродукция с картины Беклина «Игра волн»: наяды и сатиры плескались в бурном море.

Ветловскому комната понравилась своей строгостью и неприязательностью. Она как-то не вязалась в его представлении с разбитным Сашкой, и только открытки показали ему совершенно лишними, глупыми, пошлыми и как раз в духе метеоролога. И он все поглядывал на эти открытки, поддерживая таким образом стабильность своего отношения к Прутникову.

Сашка повернулся и заметил Ветловского.

— О, я в восторге вас видеть! — воскликнул он изумленно и с неподдельной радостью и пошел к нему, протягивая руки. — Я так редко имею удовольствие с вами встречаться. Как поживаете, Станислав Михайлович?

Испытывая сильнейшее смущение от того, что на него все смотрят, досадуя на себя за это смущение и уже жалея, что вот все-таки пришел, — «надо было довести Марусю, а потом сесть хоть под окном, что ли», Ветловский пошевелил губами, открыл рот и... закрыл его, ничего не сказав.

В темных сашкиных глазах заиграли веселые огоньки. Он легко вздохнул, чуть-чуть оглянувшись, точно за поддержкой,

и сказал прочувствованным и даже немного печальным тоном:

— Какое кругом своеобразие! Даже мою затверделую душу глубоко трогает оригинальность здешней публики. Мне рассказывали, что у вас тут был некий бухгалтер Башмачкин, который, прогуливаясь по горам, всегда укладывал на дороге камешки, чтобы знать, в какую сторону идти при возвращении. И косуля перевернула однажды его камешки. И он-таки пошел назад, представьте! И дошел, бедняга, до Ялты!

Все засмеялись.

— Ну, уж это ты бреешь, хозяин! — закричал Бекир. — Ха-ха! До Ялты! Он дошел пять километров лишний и встретил мальчика Ахтэма Каранджи, Мустафу. А Мустафа его довел до управления. До Ялты! Скажешь!

Ветловский пожал плечами. Он хорошо знал этого Башмачкина, забавнейшего человека, с вечным недоумением на лице, служившего предметом постоянных шуток. Рассказывая о нем Марусе, Ветловский захлебывался от смеха, как ребенок. Но сейчас ему показался Башмачкин вовсе не смешным. «Откуда берутся такие франтики? — подумал он, искоса глядя на молодое, гладкое лицо Прутникова и на его цветистый, с нарочитой небрежностью повязанный галстук. — Как тебя еще камнем не придавило?»

Прутникова нисколько не смутило, что его уличили во вранье.

— Экзотика, не правда ли? — воскликнул он, широко обводя рукой. — Вы ощущаете этакое веяние? Роман писать можно! Вы не пишете стихов, Станислав Михайлович?

— Что ж, — с досадой сказал Ветловский, ерзая на скамье и глядя в пол, — я, между прочим, конечно, не стихотворец. Но не в этом дело... Приехал бы сюда такой... вития и написал бы что-нибудь такое: горы зарделись закатом, сумрак в буковом лесу бежевого цвета... К чему это? А там просто мертвый покров: листья веками сваялись, в труху обратились, травы нет...

Говорил Ветловский медленно, нехотя, точно, говоря, табак жевал. Сашка еле дождался, когда он кончит.

— А это неплохо — сумрак бежевого цвета! — прищелкнул Сашка пальцами. — Очень неплохо!

— Пошло до отвращения, — сказала Маруся и поставила пластинку.

— Ты находишь? Да, да, может быть! Но вообще здесь замечательно! Вот, например, наш уважаемый арабаджи... — Все глаза устремились на кучера, задыхавшего еще громче. — Ну, разве это не сногшибательно? Ведь его зовут Асан Гани! Когда он меня сюда вез, я всю дорогу ему пел: «Асан, не гони лошадей, мне некуда больше спешить». А дальше не спел. И хорошо сделал... — Сашка посмотрел на Марусю.

Ветловскому стало трудно дышать, щекам его сделалось горячо от прихлынувшей к ним крови. Он смутно подумал: «Вот как раз таким бьют морду».

— «Мне некого больше любить!» — протодушно и хриловато пропела Настя.

— Ну, хватит трепаться, Сашка! Помолчи! — Маруся опустила иглу.

Патефон заскрипел, затрепал, забормотал невнятно и вдруг пронзительно, пиסקливейшим голосом заплакал:

— Ку-уда, ку-уда...

Бекир и Настя захохотали. Асан Гани громыхнул грубым смехом, прерывистым, как лай косули. Сашка схватился за голову.

— Как кура! — нежным голосом, радостно сказала Зэминэ.

Маруся поспешно отдернула иглу.

— Просто невозможно! Это Ленский? Ха-ха! Чини опять!

Ветловский успел собраться с силами.

— Вы что, анекдоты собираете? — злым голосом спросил он Сашку. — Так, пожалуйста, могу, между прочим, добавить материалу. Например, когда я был студентом, то потерял ключ от комнаты и целый год лазил в окно. За год, помню, у меня был всего один гость. И тот — квартирная комиссия.

Маруся издала легкий смешок:

— Было такое, я знаю. — Но посмотрела на Ветловского внимательно и степлой обеспокоенностью.

— Очень интересно! Изумительно! — Изобразив крайнее сочувствие на лице, Сашка сжал губы, чтобы не рассмеяться. — Да! И эта комиссия — как же? Подивившись, тоже влезла в окно?

— Вот именно, — сказал Ветловский. — А то еще у нас свинья съела косуленка. У Сидорова сбежала, одичала и слопала. Не надо это вам?

— Весьма примечательный случай! —

скромно склонил голову Сашка. — Оди-
чавшие свиньи — враги косуль.

Все смотрели на Ветловского и Сашку
с любопытством и уже не смеясь.

— У нас происшествий, между прочим,
много. И случаи мордобития бывали. —
Внезапно Ветловский встал во весь свой
большой рост.

От неожиданности все застыли. Потом
Настя тихонько взвизгнула. Зэминэ рас-
теряннo приложила руку к щеке. Сашка
отшатнулся, слегка побледнев.

— Перестаньте, Станислав Михайло-
вич! — строго сказала Маруся и инстинк-
тивно сделала несколько шагов в сторону
Ветловского. — Что за люди, в самом деле!

— У него начинается родимчик, — не-
громко сказал до сих пор молчавший
Петров.

Ветловский ринулся к двери.

На крыльце он остановился тяжело
дыша и слышал через окно, как Маруся
ругала Сашку «записным трепачом» и как
Сашка растеряннo оправдывался: «Я не
хотел вовсе. Что за ерундистика?»

Маруся высунулась в окно и крикнула
в темноту:

— Станислав Михайлович, не уходите,
пожалуйста! Сейчас вместе пойдем. А луч-
ше вернитесь! Не обращайтесь внимания
на дурака!

— Подожду вас внизу, у камня, — глу-
хо отозвался Ветловский.

— Не покидай нас, Марусенька, так
скоро! — уже своим обычным голосом про-

говорил Сашка. — Ведь скоро ты нас
совсем покинешь! Поезд тебя помчит:
ту-ту-у-у.

От тяжелой ненависти у Ветловского
закружилась голова. Он медленно пошел
вниз по тропинке и вскоре услышал за
собой легкое шуршание камней. Маруся
его догнала.

— Ну, как вам не стыдно, Станислав
Михайлович? — сказала она сердито. На
секунду опершись на его плечо, она ловко
спрыгнула со склона на широкую дорогу. —
Чего вы, в самом деле, взъелись? Просто
непонятно! Прутников просит вас изви-
нить его, если он вас чем-нибудь обидел.
Но, по-моему, он вас ничем не обижал.
Конечно, он — трепло отчаянное, но в об-
щем парень ничего и не так глуп, как
может показаться. Вы его совсем не знаете.

— Э, — сказал Ветловский, — чего в нем,
между прочим, знать? — Неловко и береж-
но, как всегда, он взял Марусю под руку.

— Во всяком человеке надо знать. И
надо найти. Вы так на него напустились!
Ха-ха! Еще, неровен час, спугнете нам
метеоролога!

— Вы были бы этим очень опеча-
лены? — угромо спросил Ветловский.

— Вы много на себя берете! — сказала
Маруся небрежно, и он почувствовал, хотя
и не видел в темноте, что она гордо под-
няла голову.

Но рука ее лежала на его руке с чистой
доверчивостью, слегка прохладная и ла-
сковая, и теплая радость поднималась
в сердце Ветловского.

Часть вторая

1

Весь год лес молчал.

Пробегал по деревьям ветер, гавкали
потревоженные косули, шурша проскаль-
зывала лисица, стонали дикие голуби,
нежно и залиристо пели малиновка, зор-
янка и славка-черноголовка, тенькали си-
ницы, сухо постукивал по стволу дятел.
Но все это были звуки негромкие, слу-
чайные и короткие; они тонули в глубо-
кой, безгранично-спокойной, задумчивой
тишине.

Осенью лес гулко кричал множеством
трубных и яростных голосов, то отрыви-
стых, то длинных: ревели олени.

Они начинали реветь с заходом солнца
и ревели всю ночь до рассвета. А иногда
лес оглашался неистовыми криками и ут-
ром, и под вечер, и даже днем, при ярком
солнце. В грубые, мощные звуки, сопровож-
давшиеся храпом и уханьем, врывались тон-
кие, всхлипывающие выкрики молодняка.

Люди непривычные не могли спать.
Жена Асана Баджи, городская и русская,
приехавшая к Асану недавно, засовывала
голову под подушку.

Неторопливо ужиная, Осип Митрофа-
ныч прислушался. Пронесся зычный, ахаю-
щий звук.

Осип Митрофаныч положил ложку:

— Начинается концерт!

Маруся поблагодарила старуху Щуренко и встала. Улучив момент, когда Маруся повернулась спиной, Осип Митрофаныч немного смущенно перекрестился, тоже встал и принялся методически собирать: засунул в мешок краюху хлеба, огурцы, сало, кусок старенькой, чистой холстины, короткий, широкий половичок, проверил кисет с табаком. Потом перекинул мешок за спину и взял ватную пальтушку.

С рюкзаком за плечами Маруся поджидала Осипа Митрофаныча у калитки.

По небу стлался утихавший закат. В чистой и ясной, тончайшей прозрачности, тишине лежали пологие хребты, выгнув рыжие спины с охристыми, пурпурными пятнами дубняков и темными сосен. Ниже простирался смешанный лес, пестрый, кудрявый, широкий — бук, ясень, клен, липа, дуб, ольха, целые рощи кизила, диких яблонь и груш. Обнаженные сланцы сбегали с хребтов светлыми, розоватыми струями, точно кто-то промазал их кистью. Всё — горы, лес, даже небо — словно прислушивалось, слегка дремотное, ласковое и счастливое. Это был район, лишенный мрачных ущелий, высоких, черных гор, более открытый, свободно раскинутый, полный света, со множеством душистых, сочных полянок, любимый оленями, приветливый ко всему живому.

«Как хорошо! — думала Маруся. — До чего, до чего хорошо!»

Вышла жена Осипа Митрофаныча, полная, высокая старуха, которую все называли «Щуриха». Она подплыла к Марусе и сунула ей в руки теплый узелок: в чистый платок были завязаны пирожки.

— Возьми ты, Марусенька! — негромко сказала Щуриха, и в хитрой улыбке мелькнули белые, совсем молодые зубы. — Он-то сердает: «Неча, — баит, — на работе баловство разводить». А ночью, глядишь, и скушаете мягоньких.

— Спасибо, Матрена Ивановна! — Маруся сняла с плеча рюкзак и положила туда узелок.

— Это чего такое ей подпихнула? — строго сказал Осип Митрофаныч, подходя. — Думаете, не вижу? Эх, вы, бабы, сладкоежки! Оставайся здорова! — Из-под бровей он зорко глянул на жену. Она ответила ему каким-то радостно-покорным, близким взглядом. — Пошли! — Он крупно зашагал по дороге.

Маруся улыбнулась Матрене Ивановне, заторопилась за Осипом Митрофанычем.

Небо потухло, быстро стало затягиваться зеленоватой синевой. Посерели чахилы, померкли лесные куши.

— Осип Митрофаныч, знаете, — сказала Маруся, ровно шагая рядом с Щуренко, — вы и Матрена Ивановна часто мне напоминаете Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну. Это у Гоголя. Вы совсем-совсем другие, чем они, и все-таки похожи чем-то. И даже очень!

— А кто такие были? — спросил Осип Митрофаныч.

— Они были помещики. Я и говорю, что совсем другие, чем вы. Они целый день ничего не делали, только ели. А вы и Матрена Ивановна целый день работаете. И у них детей не было, а у вас сын. А вот все-таки похожи!

— Худо это — цельный день есть! — серьезно сказал Осип Митрофаныч. — Смерть! Очень скоро престаившись. Такого я у Гоголя не знаю. Я знаю «Ночь под Рождество». И Толстого «Хаджи-Мурат». Это я твердо знаю. Хорошо там про Кавказ описано! Давненько не читал я что-то. А в этом ты, девонька, кругом виновата. Книг мне не носишь. Я книгу с кизила аль с ореха не сниму.

— Я принесу, Осип Митрофаныч. Непременно.

— Ну-ну! То-то же!

Где-то на горе, казалось, — совсем близко, запыхтело, несколько раз коротко, прерывисто ухнуло, загремел, нарастая, могучий, страстный призыв. Звук был густой, гулкий, точно в пустую бочку.

— Сорок четвертый квартал, — сказал Осип Митрофаныч. — Старик подзывает!

И Маруся знала, что Щуренко не ошибается: гораздо ближе было еще несколько кварталов, но именно в сорок четвертом, отстоявшем дальше, ревел взрослый самец, по крайней мере лет пяти отроду.

В низкорослом дубняке под скалой Осип Митрофаныч выбрал закрытое от ветра, уютное местечко, расстелил половик. Они сели. Маруся придавила камешком листок из блокнота.

Громадные, яркие звезды висели на небе. Сильно пахло чебрецом. Чебрец рос не здесь, выше, на открытом месте, но запах подступал широкой волной, щекоча ноздри. Трубные, дрожащие и плотные, длинные, почти ощутимые для осязания

звуки вставали, неслись, замирали и взмывались вновь.

Склонив седую голову набок и держа себя за кончик косматого уса, — он брил только бороду, а к усам никогда не прикасался, считая, что они у него и сами, когда надо, укорачиваются, «вроде линяют», — Осип Митрофаныч слушал.

— Сорок шестой квартал, — говорил он, ни на секунду не задумавшись. — Два. Оба рогачи. Один помоложе, трехлеток. . . А это спичак! (Так назывались молодые олени с еще не развитыми рогами.) — Дернул, пискнул — и кончено. Ишь, его разбирает спозаранку! Вона! Сразу три! Два — сорок девятый квартал, ну, а один — в сорок седьмом.

Маруся торопливо записывала. По реву учитывались олени.

Временами рев круто обрывался. Слышно было бурное пыхтенье, потом сухой стук.

— Сцепились, — говорил Осип Митрофаныч с сожалением. — Пошла писать губерния! Теперь поранятся шибко. . . Прошлый год двоих нашли этак, рогами спутавшись. Разодрались, сердешные, и пришла кончина. А оба добрые, матёрые. . . Кроткий зверь, нежный, одно слово — олень! Глаза куда красивее, чем у девки. А приходит пора, до чего же нестерпимый становится — беда! Вот, смотри, дочка, — в лесу Осип Митрофаныч всегда называл Марусю «дочкой», — вон на теим чахиле, — видишь белеется? — Я весной та-акую картину видел! Под вечерок вышли это три самки, и каждой по оленчику махонькому, и давай играть! Отвернется она, а он сзади забежит да брык-скок! А она повернется, головой по ему мотнет. Чисто в прятки аль в пятнашки! Каждая со своим. Я смотрел-смотрел. . .

Маруся слушала, пригнув голову, шопотом спрашивала сама. Сидя в «засаде», Осип Митрофаныч требовал полнейшей тишины и сам говорил еле слышно, точно шелестел. Он был очень строг и, если бы пошуметь да еще в неподходящий момент, мог просто уйти, обидевшись. С одним практикантом так и было: тот громко выразил восторг красотами природы; Осип Митрофаныч встал, сказал дрожащим от негодования голосом: «Дери глотку, коль невтерпеж, а мне одному веселее!» — и ушел, оставив практиканта в полной растерянности. И только после униженных извинений практиканта и долгих упрашиваний Маруси и невестки Стёши старый

наблюдатель согласился с ним дальше работать.

Рассказы Щуренко Маруся могла слушать без конца. «Один вечер с Осипом Митрофанычем дает больше, чем несколько часов лекций у иного профессора, — писала она домой. — Я столькому у него научилась».

Старик провел в лесу сорок с лишним лет своей жизни. В этом лесу он жил пятнадцать лет, до этого несколько лет работал в Беловежской пуше. «Так мне, вidać, на роду написано, — говорил он, — все лес да лес. . . Мне сон снится, так что все деревья, аль заяц, аль еще зверь какой. . . Вчера иволгу во сне видал. Город — так николь ни разу приснившийся не был. Вовсе я зеленым парнишкой был к лесничему в помощники попал у нашего же тверского помещика, да так в лесу и остался. В лесу и женился на лесниковой дочке. В лесу, видно, и помру. А чем плохо? Кому — море, кому — город, а кому — и лес!»

Об оленях, косулях, муфлонах, лисицах, совах, жаворонках, трясогузках Осип Митрофаныч говорил как о хороших знакомых, с которыми не раз ему доводилось запросто беседовать: «Ну как, мол, у вас? Как делишки? Чего вам нехватает? Или справно живете? Ну-ну!» Он знал пути к водопою, излюбленные места лёжек, весной знал наверно, где, в каких рощицах происходит отёл.

Ему были известны такие вещи о животных, птицах, деревьях и даже о траве, которые в устах другого человека могли бы показаться просто талантливой выдумкой. Но Щуренко никогда не врал, это было самое ценное. «Царские» тропки, — около метра шириной, вившиеся в некоторых местах по хребтам, проложенные по склонам специально для царя, чтобы могло «величество» сходить на охоту или полюбоваться, поднявшись на гору, лесными просторами, — Осип Митрофаныч ощущал чисто проезжей дорогой, да и все тропки «браконьерские» были для него как на ладони. «Браконьерские тропки» вызывали в нем чувство негодования, презрения и сильной горести.

Браконьеров Щуренко считал самыми лютыми злодеями, преступниками, почти неисправимыми. Каждый случай браконьерства он тяжело переживал: молчал, плохо ел и даже украдкой плакал. «Животное — оно куда нашего брата поумнее

будет, — бормотал он сморщившись. — А со всем тем оно — как малое дитё. Было бы еще, где охота есть! А у нас? Зона охранная! Они это знают, что их не трогают. Я им сколько раз говорил: «Паситесь, никто вас трогать не может! Все одно, как девочку аль парнишку малого обманом сгубить».

Ночью острая свежесть почти леденила. Звезды, казалось, застывали, сияли отчетливо и неподвижно на глубоком, точно ставшем выше небе. Осип Митрофаныч плотнее запахивал ватную пальтушку. Маруся прятала руки в рукава теплой спецовки, натягивала на уши берет.

Они ели взятое с собой Осипом Митрофанычем. Когда все бывало прикончено до крошки, и никак не раньше, Осип Митрофаныч, усмехаясь, спрашивал:

— Ну-ка, чего нам старуха навязала? Все равно пропадет, к утру сохнет, так уж придется сжевать. Поглядим, каков гостинец?

Маруся знала все его повадки и никогда не вынимала «гостинец», прежде чем Осип Митрофаныч о нем спрашивал. Старик страшно огорчился бы, если бы его лишили этой возможности немножко посмеяться над женой.

— Она думает, это все ты скушаешь, — говорил он довольно, отправляя пирожок в рот. — Тебе давала. Ан и я за обе щеки улетаю! Ешь побольше! И никогда не бойся холода, дочка! Ни стужи ночной, ни ветра в горах, ни зверя никакого не бойся! И дети у тебя будут крепкие-крепкие да бесстрашные!

Солнце поднималось. Таяли, расплзались туманы. Просыпались птицы, начинали снова ящерицы.

Они возвращались домой. Маруся мучительно хотела спать, все тело ее как-то размягчалось под горячим солнцем; она удерживала зевоту из уважения к Осипу Митрофанычу и чтобы он над ней не посмеялся. А старик-наблюдатель шел как ни в чем не бывало. Он останавливался на каждой поляне, подолгу осматривая следы пребывания оленей.

Трава на полянах была вытоптана до голой земли. Валялись поломанные ветки, кустарники местами были разодраны — видно было, что здесь стремительно прорывалось большое тело. Задыхаясь от страсти, олени валяли, случалось, целые

небольшие деревья. Слепленные, они часто сильно ранили себя, не замечая боли.

Маруся зажимала нос: едкий запах оленьего пота был невыносим.

— Дух верно что тяжкий! — скручивая дыгарку, замечал Осип Митрофаныч. — Так и шибает! На этого оленя и браконьер не прельстится — все одно, мясо есть нельзя.

— Ну, а что нынче в газетах пишут? — спрашивал он, когда шли дальше, и неспеша нагибался сорвать мокрый от росы «лимон», мутнозеленого цвета пушистое растение, с которым, по примеру татар, он пил чай.

Маруся рассказывала: в Испании встают рабочие, частые стачки на заводах и фабриках, доходило и до вооруженных столкновений с полицией и регулярными войсками; по Союзу идет чистка партии, в центре уже почти закончилась, теперь — на периферии, и в Крыму тоже. Вскрыли немало чужаков, врагов трудящихся, например на одной из железнодорожных линий — там нарочно задерживали систематически ремонт вагонов, выпускали брак. всячески мешали строить социализм.

— Скоро и наши коммунисты будут проходить чистку, — сказала Маруся. — Надо, чтобы все-все наблюдатели пришли на это собрание. И говорили бы начистоту, что каждый думает.

Осип Митрофаныч внимательно слушал и говорил раздумчиво:

— Это дело в Испании. Бей буржуев! И чистка — дело. Есть которые хорошенькие, а на свет его разглядишь, — он гаже всякой гадючки. Придем на собрание. А как же?

На речке за домом Маруся долго мылась холодной водой. Как она ни оставала, все-таки шла на речку: ни в каком рукомыльнике нехватило бы ей воды смыть этот буйный олений запах с рук, с лица и, главное, с ног. Потом ложилась на кровать в приятно прохладной комнате и проваливалась в сладкий, отраднейший сон.

Проснувшись, Маруся почти всякий раз видела прежде всего плотную спину Стёши и ее юбки, приподнятые над упругими икрами. Пригнувшись, Стёша смотрела через замочную скважину в соседнюю комнату. Видимо, скважины ей было мало — она легонько приоткрывала дверь и глядела в щель. Лицо ее выражало радостное и настороженное любопытство.

— Все через щелку воспитываешь? — Смеясь, Маруся вскакивала и тоже, пле-

чом к плечу со Стёшей, заглядывала в щель.

В соседней комнате стояла на полу большая шайка. В шайке сидел ребенок месяцев шести, со всех сторон утыканый пеленками и подушками, чтобы не упал. Ребенок махал и хлопал толстыми ручками, тарашил круглые голубые глаза, пускал пузыри, ворковал. Светлые волосы стояли у него торчком.

— Ух ты, большой какой! — говорила Маруся.

Стёша вздыхала:

— Вот и смотрю отсюда. Чтобы не баловать. Хуже всего — к рукам приучишь.

Ребенок поворачивал головку и замечал лица в дверной щели. Очевидно, это было ему не впервые, потому что он заметно оживлялся, сильнее начинал бить ручками. Его пухлое личико собиралось множеством складочек, тряслось от смеха.

— Главное, к рукам не... — Распахнув дверь, Стёша опрометью бросалась в комнату, хватала сынишку, подбрасывала его, целовала под пухлый подбородочек, в ножки, в животик. Ребенок заливался дробным смехом, от смеха начинал икать.

— Тимофей Палыч! — говорила Стёша. — Тимошенька! Это дедушка тебя Тимошей обозвал. У-у, Тимошка — рваные сапожки! У-у, я т-тебя, негодного! — И снова целовала, тормошила, тискала.

— Ну, как Павел? — спрашивала Маруся.

Сын Осипа Митрофаныча, Павел, учился в Симферополе на курсах трактористов.

— Учится, — отвечала Стёша. — Учится наш папка хорошо, скоро кончит, начнет работать, и мы к нему поедem, да-с! Вот! У-у, малюшка-каплюшка, сладкий мой! Пуговка!

— Опять цельный час нянькаешься? — раздавался со двора ласково-ворчливый голос. Под окном виднелась седая маковка Осипа Митрофаныча: сидя на завалинке, он что-то строгал или плел. — «К рукам приучать не буду!» Хвастуха! Давай-ка сюда мальчика, на приволье!

Стёша, услышав голос тестя, прятала голову в плечи, лукаво закусывала губы, шептала ребенку в ушко, но так, что и на дворе было слышно:

— Ой, сейчас нас дедка заругает! Ты чего ж это с мамой лижешься, сопливый?

— Давно встали, Осип Митрофаныч? — спрашивала Маруся.

— Мне больше часа и не требуется. А

ты-то чего вскочила? Твое дело молодец Сон для тебя должен быть бо-о-ольшая утеха!

— Спасибо, Осип Митрофаныч! Я совсем выпалась. Сто верст пройти могу.

Маруся потягивалась. За окном сиял просторный, ясный день. Ей было хорошо. Хорошо...

Перед заходом солнца они снова отправлялись слушать рев.

2

Ветка боярышника едва не хлестнула Марусю по глазам. Умэр Муртазаев прыгнул и отвел ветку рукой. Тропинка была узка. Они шли друг за другом. Маруся — на полшага впереди.

С Муртазаевым Маруся обходила наблюдателей, проверяла, как они проводят осенний учет оленей.

Муртазаев глубоко вздохнул и заговорил по-татарски.

— Я не вижу твоего лица, девушка, — сказал он со сдерживаемым волнением и немного торжественно, — и это хорошо. Так мне лучше сказать то, что я уже некоторое время хочу тебе сказать, но еще не успел. Выходи за меня замуж, ты красивая, с легкими ногами и стройным станом! Ты знаешь наш язык, ты знаешь нашу жизнь, ты будешь хорошей женой. Мать моя любит тебя, она будет в большом счастье, если я приведу тебя в дом...

Он помолчал, глядя на стройные ноги Маруси в белых носках и спортсменках, на ее ровную спину под темным сарафаном, на короткие белые рукава кофточки, сблегавшие худощавые плечи, на алую косынку. Маруся ровной поступью шла вперед, не поворачивая головы и не произнося ни слова.

— Ты очень ученая, — сказал Умэр. — Ты много знаешь, больше гораздо, чем я! Но и я выучусь и буду знать. Я хочу знать! Я начальник, меня уважают, мы стали бы жить очень хорошо. Я работал бы, и ты работала бы. Хорошо в лесу, но если бы ты захотела жить в городе и каждый день купаться в море и видеть больше людей, то мы бы стали жить в городе. И каждый день купались бы в море, и видели бы больше людей, и покупали бы книг сколько хотим. Я нашел бы себе работу и в городе. В нашей счастливой стране нет безработных. А тебе бы

доверили всякую работу, тебе, хорошей! И мы читали бы вместе... И думали бы... И умнели бы оба... — Он замолк.

Несколько минут они шли молча. Потом Маруся заговорила, тоже по-татарски. И в голосе ее не было и тени улыбки.

— Умэр, — сказала Маруся, — я всегда чувствовала тебя как хорошего товарища моего, почти как брата. Как младшего брата, Умэр, обрати на это внимание. У меня нет братьев, и я иногда думаю, живя здесь: вот и брат у меня завелся. Я очень уважаю твою мать, старую Мэргэм, я люблю ее. Как ласкова она всегда со мной! Как заботится она о тебе! Пожалуй, ты не всегда отвечаешь ей такими же заботами, хотя вообще ты хороший сын. Шаль ее стала немного потрепана уже — ты мог бы купить ей новую. И, когда я проходила на-днях мимо вашего дома, твоя мать несла тяжелое ведро воды с Сары-су, а ты в это время читал книгу, я видела тебя у окна. Ты мог бы запасти воды на целый день, хотя бы в те дни, когда ты дома. То, о чем я говорю сейчас, можно было бы и не ставить тебе в вину. У тебя очень много работы, мать просто не сказала тебе, что у нее нет воды, наверно это вышло случайно, я знаю, что ты хороший сын. Но нет предела там, где надо заботиться о матери! У меня тоже есть мать, она еще не очень стара, но ей все-таки много лет. Она еще работает, и с ней живет моя сестра, мать той маленькой девочки, которую ты видел у меня. Может быть, и мы, — я и сестра, — недостаточно о ней заботимся? — Маруся помолчала. — И вот, мой брат, мой младший брат, — повторяю это, — я никак не могу выйти за тебя замуж. Никогда я не могла бы смотреть на тебя как на мужа, только как на товарища, как на брата! Я ведь старше тебя, Умэр, пусть не на много, года на три, на четыре...

— Не на четыре. Меньше, — глухо сказал Муртазаев. — Мне уже исполнилось девятнадцать лет в месяце, который был перед этим. Балджи женился, ты знаешь, жена его русская и старше его почти на пять лет. Они живут как два голубя. Как она любит его, если бы ты знала!

— Она не только любит его, — усмехнулась Маруся, — она обожает его. Она няньчится с ним, как с трехлетним малюшкой. И этим портит его отчаянно. Асан Балджи и так ленив и беспечен, а она всячески развивает в нем эти качества.

Тебе стало завидно, Умэр? Никогда не завидуй чужому счастью! Найди свое! Ты очень молод, Умэр, ты совсем мальчик. Только поэтому ты сейчас просишь меня стать твоей женой. Когда ты станешь старше, ты поймешь, что мы не подходим друг к другу как муж и жена. Мы не были бы счастливы... Забудем об этом, и пусть это никак не отразится на наших отношениях. Я ведь собираюсь уезжать, я тебе говорила. Но даже если бы не это, все равно у нас ничего бы не вышло. — Маруся перевела дыхание, пошла тише. — Сейчас перед тобой другие задачи, Умэр. Ты должен, ты просто обязан учиться! Ты кончил всего несколько классов, ты должен кончить девятилетку и учиться еще дальше. Ты очень способный человек, я это знаю хорошо, потому что занимаюсь с тобой. А ведь по-русски ты пишешь совсем плохо! Прошлый раз в диктовке ты вдруг написал: «сэбака». Разве так можно? Здесь учиться трудно. Самому вообще учиться трудно. Я даже советовала бы тебе, — не обязательно сейчас, может быть позже, — переехать в город и работать там. Ради учебы! Ты хочешь знать — это хорошо. Но одного желанья ведь мало. Знаний надо добиваться! Теперь слушай, что я тебе скажу еще. И будь очень внимателен! Я скажу тебе суровые слова, я давно хотела их тебе сказать и виновата, что до сих пор не выбрала времени. Может быть, ты обидишься, но думаю, надеюсь, что нет. Ты сказал, что ты начальник. Ты часто говоришь, что ты начальник. Ты гордишься этим. Если взять по форме, снаружи, то ты имеешь право гордиться: в девятнадцать лет ты — начальник охраны целой большой территории, в твоём подчинении десятка полтора-два людей. А по существу, по сути дела ты не имеешь права гордиться. Ты начальник — да. Но начальник плохой.

— Как? — вскричал Муртазаев. — Что ты говоришь, Маруся? И тебе не стыдно?

— Нисколько! — засмеялась Маруся. Потом снова стала серьезной. — Возможно, следовало бы об этом поговорить с тобой раньше. Но раньше это так не чувствовалось. И ты собственно мало виноват в том, что ты плохой начальник. Ты слишком молодой, у тебя нет опыта, и некуда ему взяться. Ты говоришь, что тебя уважают. К тебе очень хорошо относятся, но так ли уж сильно тебя уважают? Неко-

торые над тобой немножко посмеиваются, добродушно, правда, но все же... Говорят: «Надел большую шапку, думает: и голова стала большая».

— Кто так говорит? — гневно закричал Муртазаев, перелез по склону и стал, рассерженный, перед Марусей. — Я убью его!

— Никогда ты никого не убьешь. — Улыбаясь, Маруся села на камень. — Мы вочти дошли до казармы Ахтэма. Видишь, как незаметно сколько километров отма- хали? Сядь! Я сейчас кончу.

На тропке Муртазаев уселся на пятки перед Марусей. Лицо его пылало, брови были сдвинуты. Он в упор смотрел на Марусю черными глазами, в которых пла- менел гнев.

«А какой красавец! — подумала Ма- руся. — Прямо хоть картину пиши!»

— Почему за последнее время было столько случаев браконьерства? — спро- сила она строго. — Ну-ка, скажи, началь- ник! Ведь ты ответственен за охрану. По- чему некоторые наблюдатели, — и их не так мало, — ничего не делают, только хо- зяйством своим занимаются: огородом да коровами и свиньями? Почему ты не проводишь разъяснительную работу среди населения по вопросу охраны — отчего нельзя стрелять дичь и так далее? Мне одной не разорваться, да и тебе тоже: надо всех наблюдателей этому учить, а у нас один Рустэм Ширанов по деревьям ораторствует. Почему приговорили Муш- табу Ислаева, которого задержал Рустэм, только к штрафу? Он там разжалобил всех, Ислаев клялся, что ружьем погро- зил нечаянно, с испугу, не хотел стрелять. И Абдулаев, я слышала, за него просил, давал хорошие показания. Было признано, что не было у Ислаева злых намерений. Пусть Ислаев даже действительно не хо- тел стрелять. Но ведь он поднял руку на охраняющего государственную соб- ственность! А ты со своей стороны сде- лал что-нибудь, чтобы добиться настоя- щего наказания? Боюсь, что нет. А ведь Рустэм — твой наблюдатель, и наблюда- тель прекрасный! Уф! Я прямо замучи- лась, столько времени говорю по-татар- ски! — по-русски сказала Маруся, сдер- нула с головы косынку и стала ею обмахиваться. — Ну, что же ты молчишь, на- чальник?

Умэр давно уже опустил глаза. Пуши- стые ресницы бросали густую тень на его

щеки. Руки его беспомощно лежали на коленях.

— Что же делать, Маруся? — спросил он приглушенно и растерянно. — Маруся- абла!¹ — Он сильно покраснел. — Стар- ший сестра, чего будем делать?

— Пойдем к Ахтэму, Умэр! — Маруся встала. — А там будет видно, вместе по- думаем. До чего я хочу пить!

Хатэджэ, Гюлимдан, Айшэ и Нури возились на корточках у ручья, палоч- ками прокапывали канавки, отводили ка- кие-то крошечные протоки. Тут же бро- дила ручная хараджа. Она была уже по- осеннему ровно-рыжая, высокая и гладкая.

Увидев подошедших, дети вскоили и, немного помедлив, подошли, застенчиво улыбаясь, по очереди, не толкаясь и не мешая друг другу, подали правую руку, дер- жа ее дощечкой, сперва Марусе, потом Муртазаеву.

— Мы строим Беломорканал! — сказала бойкая Гюлимдан. — Нам Мустафа сказал.

Маруся громко рассмеялась, одну за другой звонко расцеловала девочек, схва- тила на руки Нури и закурилась с ним возле ручья.

Это было время самой напряженной ра- боты, по несколько дней Маруся совсем не бывала в управлении. Поэтому о проис- шествии, там случившемся, она узнала, когда все уже, собственно, было кончено.

3

Слушанию прутниковского патефона внезапно и неожиданно наступил конец.

Пробегая по склону Большой Чучели, под которой сидел над почвенным термо- метром Сашка, косуля свалила, задев острым копытцем, увесистый камень. Ка-мень упал на термометр; термометр раз- бился вдребезги. Несколько ошарашенный метеоролог успел увидеть виновницу зло- дения, уносившуюся легкими скачками. Косуля сердито и жалобно гавкала на скаку, точно досадливо извинялась. Но от этого Сашке было не легче: другого почвенного термометра не было.

Сашка отправился в кабинет к Изабе- кову, сообщил о случившемся и потребо- вал денег на новый термометр. С равно- душной вежливостью Изабеков категори- чески отказал.

¹ А б л а — старшая сестра.

— Вы смеетесь, товарищ директор? — изумился Сашка. — Почвенный термометр стоит от силы тридцать рублей, а то и пятнадцать-двадцать. Я бы и сам его купил и принес бы вам счет, но, увы! — я не при финансах. Как вам должно быть известно, нам, вопреки всякому логическому мышлению, сильно задержана зарплата.

— Я не оплатил бы счет, — холодно сказал Изабеков. — Вы будете бить термометры, а я покупать новые? Государство не обязано сорить деньги.

Подметая в конторе пол, Настя Власова услышала два голоса: залихватский и возмущенный — сашкин и презрительно-сухой — Изабекова. Сначала голоса следовали один за другим, потом они стали перебивать друг друга, — голос Изабекова сделался небывало крикливым и пронзительным, — и, наконец, слились в общий, неразборчивый гвалт. Потом наступила тишина. Очевидно, Сашка продолжал нападение безмолвно, путем мимики или жестов, — может быть, показал фигу, — потому что внезапно раздался неистовый вопль Изабекова:

— Кит шайтан! ¹ Вон!

Сашка вышел из конторы нарочито медленно, заложив руки в карманы, красный и взбешенный, однако с издевательской миной на лице. На прощание он сильно пнул ногой дверь.

А через полчаса жители заповедника сделали свидетелями странного зрелища.

На земле, под окном метеоролога, стоял раскрытый чемодан. Торопливыми рывками в окно высовывался Сашка и швырял в чемодан вещи. При этом он громко и ясно произносил речь. Речь то затихала (Прутников скрывался в комнате), то вновь нарастала (Прутников появлялся), напоминая сильный морской прибой.

Первым подошел мальчик-татарин, приехавший продавать виноград. Коричневый пыльный ишачок с тяжелыми корзинами на боках задумчиво стоял, растопырив длинные уши, рядом с хозяином. Потом прибежала Настя Власова и, раскрыв рот, погрузилась в созерцание. Прискакала на одной ножке Сюндюз. От удивления она забыла опустить другую ногу и несколько минут стояла с поджатой ногой, точно смуглоногая цапелька. Медленными шагами пришел кучер Асан Гани, ведя за ру-

ку сынишку. Слегка колеблясь, подошел Ветловский.

— Что я, — кричал Сашка, — не видал таких барсуков? — Метнувшись на минуту в комнату, он швырнул в чемодан эмалированную кружку. — Эпоха строящегося социализма (победный взгляд на публику) и второй пятилетки не потерпит подобных устаревших абсцессов на своем теле. Гены и шакалы капитализма дума... — Прутников отошел от окна, затем появился вновь: — Ошибаются! Мы не допустим подобного лихачества в отношении скромных служителей метеорологии. Этак и без флюгера останешься! — Склонив голову набок и прищурившись, он критически пригляделся к чемодану, видимо соображая, что еще туда бросить. — Я не прошу у него барометр XVII века, какой-нибудь — отойди да шлепнись! Всего лишь маленький, паршивый почвенный термометр.

— Что это, между прочим, за представление? — не выдержав, спросил Ветловский. — Для чего вы себя так утруждаете?

— А, это вы, ученый муж? Ничего, пожалуйста! Крохотная пантомима меня не затруднит. Да и в вашей жизни она не помешает. — Сашка ушел в глубь комнаты и, повозившись там, снова возник в окне; в чемодан спланировала репродукция с картины Беклина. — Вы, между прочим, — ах, прошу прощения за плагиат! — вы, почтеннейший Станислав Михайлович, сильно напоминаете мне бук. Конечно, извините великодушно, не прекраснейший экземпляр из чистого букowego леса, а тот корявый бук, что растет на границе с Яйлой. Ваша слегка растрепанная и этак малость извилистая фигура здорово смахивает на древесные узлы и ветки. Что ж! Говорят, люди становятся похожи на тех, с кем они живут. Или, чуть-чуть перефразируя: с кем поведешься, от того и наберешься! Я знал одного человека, который стал похож на свою любимую собаку. Итак, осталось лишь запереть чемодан, — вздохнул Сашка.

— Уезжает! — ахнула Настя, которую вдруг осенило.

— Правда? — не смея верить, обрадованно спросил Ветловский.

— Моя душа страдает по работе! — воскликнул Сашка.

— Что-то я этого в данный момент не замечаю, — сказал Ветловский.

¹ Кит шайтан! — Пошел к черту!

— Вы так погружены в науку, драгоценнейший, — сочувственно посмотрел на Ветловского Сашка, — что, держа пари, лоя букашку, не заметили бы, если бы на вас наступил одень. По настоящей работе я стражду! По настоящей! Без возмутительных тычков в бок от всяких мумий местного характера! Меня уже давно приглашали в Джанкой, на метстандию. Там хоть радио есть. И, цитируя вас, Станислав Михайлович, между прочим, оклад там выше.

Ветловский засмеялся, очень довольный: похоже было, что Прутников и правда уезжает, а сравнение с деревом его нимало не задело. И он вдруг произнес нараспев:

Срывать ударный
Темп не нам,
Мы не допустим
В стройке срыва!
Позор рвачам и летунам —
Организаторам
Прорыва!

— Какие таланты! — всплеснул руками Сашка. — Я же вам говорил, что вы пишете стихи, Станислав Михайлович.

— Я прочел это... в трамвае, кажется, — смутился Ветловский.

— Уверю вас, вы сочинили это сами. Про трамвай вы из скромности. Ну, а теперь я скажу вам прощальную речь.

Сашка встал на подоконник, держась рукой за верхний наличник окна и балансируя одной ногой над высохшим от зноя кустом черной смородины.

— Я покидаю вас, граждане! Ваш директор Осман Изабеков, которому гораздо больше подходила бы фамилия Нежелаяев, Нехочухов или Отрицалов или просто Отнеков, так как на самые разумные утверждения он лишь отнекивается, по восточному обычаю прикрывая свои веки, изнуренные тяжелой работой...

Асан Гани громыхнул тяжким, нутряным смехом и в испуге присел на корточки, кинув боязливый взгляд по сторонам и едва не повалив сына. Все посмотрели на кучера. Произошло легкое смятение. Ветловский удивленно нагнулся к Асану Гани:

— Что с вами, аркадаш арабаджи? ¹

Кучер поднялся на ноги, отдуваясь и зажимая покрепче в своей широченной ладони ручонку сына.

— Я вижу, публика сильно переживает, — участливо сказал Сашка. — Но

утештесь: планета узка, мы можем еще встретиться! Так вот вышеозначенный директор отказал мне в маленьком, но абсолютно необходимом приборчике. Но не в этом дело, как говорит наш друг Ветловский. Дело в том, что так работать нельзя и...

— Хычерма! — Крик был тонок и яростен. — Нэ кричать!

Звонкий, как колокол, сашкин голос привлек даже Абдулаева.

— А-а! — поклонился Сашка. — Прибыл ответственный работник, мало расположенный к чтению книг.

Разбрызгивая слюну, Абдулаев разразился неистовыми, омерзительными ругательствами.

На лице Ветловского выразилось сильное отвращение. Настя фыркала, спрятав лицо в ладонях. Асан Гани взял сына на руки и, пятясь, осторожно скрылся за бугром. Мальчик-татарин, привезший виноград, вдруг громко крикнул на ишачка и хлопнул его рукой между ушами. Сюндюз в страхе села на землю, широкими глазами глядя на Абдулаева.

Сашка поморщился.

— «Жить значит умирать», — произнес он нарочито медленно и тихо. — Вы уже в значительной степени отправились к праотцам, гражданин Абдулаев. Но если вы не прекратите немедленно этой гнусности, основательно расшатывающей вам нервы, то околеете совсем. Уберите же от меня этот жирный кусок барахла! — крикнул он и топнул ногой по кусту, едва не вывалившись из окна. — Он мешает мне подумать перед дорогой! Я достаточно изучил местный язык, чтобы у меня трещало за ушами от этого сквернословия. Тюрьма плачет по вас, прелестнейший, если я сколько-нибудь смыслю в гносеологии.

Открытым ртом Абдулаев несколько раз поймал воздух, как вытасченная из воды рыба.

— За нарушение... общественного... мэста-а, — просипел он, задыхаясь, — я упэку тэбэ под суд, кобель!

— Катитесь, пожалуйста! Я не приглашал вас на аудиенцию. Привет, граждане! Собрание объявляю закрытым. — Сашка приготовился прыгнуть в комнату и вдруг увидел Марусю: она медленно, видимо сильно уставшая и разомлевшая от жары, спускалась с горы с рюкзаком за плечами.

— Э-э! — заорал Сашка, размахивая свободной рукой. — Маруся-а-а!

¹ Аркадаш арабаджи — товарищ кучер.

Она подняла голову, увидела Сашку в окне и собравшихся под окном и остановилась удивленная.

— Как здо-ро-во, что ты иде-ешь! — приложив руку ко рту, прокричал Сашка.

Он соскочил на землю и проникновенно сказал Ветловскому в самое лицо, прищелкнув перед его носом пальцами:

— Она была царицей мира, а он... дежурный по полку. Запомните, пожалуйста! — И бегом пустился к Марусе на встречу.

Ветловский стоял, ошеломленный дерзкой выходкой Прутникова. Пошатываясь, бормоча и жестикулируя, Абдулаев грузно понесся к конторе.

С независимым видом, гордо подняв голову, Сашка шагал по шоссе. За плечами его висел рюкзак, в руке раскачивался небольшой, памятный всем чемодан. Лошади Прутников даже не просил: ему все равно бы ее не дали.

Взор ваш, синьора,
Мне прия-тней
Самой высокой
Голубя-тнии
И всех голубок
Он миле-ей!
Чичисбей!

Сашка бросил выразительный взгляд на идущую рядом, с патефоном подмышкой, Марусю и тоскливо вздохнул.

— Что же, я виноват, что у вас тут парнокопытные стаями ходят? — сказал он строптиво. — И камнями дают приборы.

— Отчасти и в этом виноват, — сказала Маруся. — Ты мог бы прикрыть на всякий случай термометр металлической сеткой. Но...

— И ты, Брут! — возопил Сашка. — Уж тебя, Маруся, я никак не мог заподозрить в несправедливости. Да ваши бешеные ко-сули и меня бы убить могли — такую каменюгу свалили! И подумаешь — термометр! Тоненькая стеклянная трубочка со ртутью. Наконец, он мог просто упасть откуда-нибудь и разбиться. В чем дело? Амортизация производства! По-твоему, что же, я непременно должен был выложить из своего кармана эти паршивые копейки и ничего не говорить? Ах, для нашего пленительного начальства это озорчительно!

— Разумеется, ты должен был денег требовать. Никто об этом и не говорит. Но ты все равно виноват: во-первых, по-

тому что слишком перегружаешь свои голосовые связки, а во-вторых, — и это главное, — потому что уходишь.

— Но они мне заявили, чорт возьми, что ни капли не нуждаются во мне! — заорал Сашка. — У меня деликатный организм. Я уже ушел. Амба!

Некоторое время шли молча. Шоссе тянулось перед ними, покрытое белой пылью. Лес по сторонам стоял густой и спокойный, насыщенный солнечными пятнами, мелькавшими на стволах. Где-то сбоку тихонько звенела речка.

Сашка напевал негромко:

Ах, у меня
На сердце сту-ужа,
Больше всего
Боюсь я му-ужа!
Чичисбей!

— Все-таки так не делают, — сказала Маруся. Она была задумчива и немного грустна.

— А чего сидеть в этой дыре с этими типичными дегенератами? — беззаботно сказал Сашка. — Мне опротивела ваша огородная достопримечательность — Изабеков. Вот ведь и ты уедешь! Если бы я не знал наверняка, что скоро и тебя здесь не будет, я бы еще, может быть, подумал. Ты ведь уж совсем скоро уедешь, правда?

— Да-а, — неуверенно сказала Маруся.

— И советую задавать лататы поскорее! Тебе не место здесь, с этими вырожденками полууголовного типа вроде Абдулаева.

— Как ты легко бросаешься словами, Сашка! Надо ведь знать! Тогда можно говорить. Знаешь, — Маруся засмеялась, — ты мне сейчас очень напоминаешь Ветловского. Он всегда считает, что для меня тут все плохо. Он не говорит этого прямо, но я знаю, что он так думает. Это совершенно уморительно! Какая я цаца, неправда ли? Так ведь то он, а то ты. Ведь это смешная и нелепая постановка вопроса: для меня тут все плохо, я создана для лучшей жизни — ах! Какая противная чушь! Только разве Ветловскому и можно простить.

Сашка сбоку, приподняв брови, посмотрел на Марусю:

— Я нахожу, что при всех его чудачествах в данном случае суждения ученого мужа отнюдь не лишены справедливости. Статьи, какие у тебя отношения с сим ультра-почтеннейшим энтомологом?

— Видишь ли... — Замедлив шаг, Ма-

руся немного отстала от Прутникова. — Он... очень хороший человек, очень! Все над ним посмеиваются, да он и правда смешной! А он очень хороший, честный! И вдумчивый, глубокий!

— М-да, — промычал Сашка. Он испустил долгий, меланхолический вздох. — По тебе он помирает, Маруся.

Маруся смущенно рассмеялась.

— Ну, может быть, не так уж сильно! Но... вообще — да. Думаю, что он любит меня, — сказала она просто.

Помолчав, она заговорила быстро и немного волнуясь, как говорят о том, что давно мучило, но о чем не приходилось еще говорить:

— И вот я думаю иногда, что, может быть, это нехорошо с моей стороны, что я так... ну, позволяю ему о себе заботиться. И ведь мы так тесно живем, многое вместе делаем! Ну, ты знаешь, у нас и огород один, и едим вместе. Иной раз мне кажется, что этим я ему... не то чтобы даю какие-то права на себя, но отчасти... ну, поддерживаю надежды, что ли... А с другой стороны это все у нас так естественно выходит, как-то само собой, и я отчетливо сознаю, что тут ничего плохого с моей стороны нет. А потом я вдруг чувствую, что он... все больше и больше привыкает ко мне. И опять мне кажется, что я его как будто вроде обманываю. Как тебе кажется? Но ведь я его ни в чем не обманываю, положив руку на сердце! — Маруся даже прижала маленькую смуглую руку к груди. — А иногда так получается... А потом опять ничего...

Они вышли на перевал. Солнце снизилось. Все золотилось кругом. Мягко пламенел в закате лес, точно разлились повсюду широкие струи огня. Нежный, теплый воздух ласкал лицо. Пахло сеном, соснами, осенней листвой, какими-то поздними цветами и ягодами.

Сашка сел на мочалистую, сухую траву, покрывавшую бугор, и пропел мечтательно:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты!

— Если бы я вообще собирался в настоящее время жениться. — сказал он вполголоса, глядя вдаль, мимо Маруси, — она сидела, поджав ноги, возле патефонного ящика, складывала в пучок сухие травинки, — то я бы немедленно, не теряя ни одной терции времени, упал бы. Марусень-

ка, к твоим ножкам, пожженным крапивой и ясенцем, и умолял бы тебя выйти за меня замуж. И валялся бы, протирая брюки. до тех пор, пока бы ты не согласилась. Прошу не прерывать! — сурово поднял он руку, заметив, что Маруся пошевелилась и хочет что-то сказать. Лицо его было необычно сервезно и задумчиво. — Я говорю от полноты сердца... Я сделал бы это, ибо не встречал еще особы женского пола более высокого качества. — Прутников вздохнул. — Но я дал себе слово стать геофизиком, я еще должен окончить университет. И жениться я еще не имею права... «Кто может сравниться с Матильдой моей!» — пропел он бурно, во всю ширь легких, вскочил, прошагал взд-вперед и плашмя растянулся на траве.

Маруся вспомнила, как ей делал предложение Муртазаев. Ей стало смешно и почему-то немного грустно.

Сашка сел, подтянув ноги к подбородку.

— Что же касается вышеуказанного светила энтомологии и так далее, то тут вся суть в том, как ты сама к нему относишься?

— Я очень-очень хорошо к нему отношусь, — горячо сказала Маруся. — Очень. Я тоже привыкла к нему. У меня к нему самые теплые чувства, я даже очень люблю его, но... не так. Понимаешь?

— Понятно. «Прости, небесное создание, что я нарушил твой покой!» Короче говоря, всех необходимых данных для выхода замуж не наблюдается.

— Выражаясь твоим языком — да. Не наблюдается. Впрочем, — улыбнулась Маруся, — если бы я собиралась выйти за него замуж, мне пришлось бы самой потрудиться. — Она рассмеялась. — Пришлось бы подойти к нему и сказать что-нибудь вроде: «А ну, давайте поженимся! Живо!» Вероятно, он бы согласился.

— Я думаю! — воскликнул Сашка. — Но он тебе еще не сделал предложения? О, боги!

— По-настоящему, к счастью, нет. И это очень хорошо. Мы бы не могли продолжать так жить. А, впрочем, может быть, и могли бы. Но вообще это могло бы внести осложнения... Сашка, ты ведь знаешь его, видал во всяком случае! — Маруся неудержимо рассмеялась. — Я сейчас вспомнила одну вещь. Это было так смешно, так смешно!

Маруся так смеялась, что закрыла лицо руками; плечи ее дрожали от смеха. Она

отнимала руки, взглядывала на Сашку, пробовала рассказать и, не в силах говорить, опять звонко, до слез хохотала. закинув голову, обессилев от смеха. Сашка смотрел на Марусю с дружески-снихождительной лаской и тоже невольно смеялся.

— Ты понимаешь... Он вообразил, что мне надо знать про ночных бабочек, чем они питаются... И он пришел и вдруг стал говорить... латинские названия... Ха-ха-ха! Просто вспомнить не могу! Сашка! И он... он сел в... Ха-ха-ха!

— Ну? — нетерпеливо спросил Сашка.

— В... тарелку с пенками, — шопотом произнесла Маруся. — Я варила варенье.

— В тарелку с пенками? Он сел туда? Ха-ха-ха! Но почему? — спросил Сашка с недоумением. — Разве не было другого места?

— Нечаянно, разумеется. — Маруся несколько раз глубоко вздохнула, прогоняя смех. Потом сказала со строгим лицом: — Но если ты, Сашка, когда-нибудь, где-нибудь скажешь про этот случай или насмеешься над ним, над Ветловским, из-за этого, то я тебе этого никогда не прощу. Презирать буду! Понятно?

— Клянусь, никогда! — Сашка торжественно приложил руку к груди и склонил голову. — Тем более, что я абсолютно ничего не понял. Какие-то бабочки сели... в ночную тарелку с пенками. Так, что ли? Рассказать об этом было бы более чем затруднительно.

Маруся вынула из-за сарафана на груди носовой платок и помахала им себе на лицо.

— Ты не дойдешь до темноты. И как ты все-таки потащишь еще и патефон?

— Я вопру его в рюкзак. А при луне ходить я обожаю. Как хорошо, что мне удалось с тобой повидаться, Маруся! Я даже думал, не дожидаться ли мне тебя? Но ведь я не знал: может, ты через неделю появишься! И эту неделю мне пришлось бы побираться. Уже сегодня мне Абдулаев не дал хлеба — была выдача. Впрочем, начини я побираться, мне бы подали. Мне сдается, что я доставил всем основательное удовольствие, критикуя ваших драгоценных руководителей. Первым мне подал бы наш друг Ветловский. Он был в восторге, что я отплываю. Вот жаль, с Рустэмкой проститься не удалось!

— Да, он будет очень опечален, — сказала Маруся. — Рустэм тобой прямо восхищается. — И с улыбкой добавила: — Мне кажется, что он чувствует в тебе черты,

общие с самим собой, но, так сказать, высшего качества. Ведь он тоже трепло хорошее! Но, конечно, ты ему дашь несколько очков вперед.

— А ты думала? — повел подбородком Сашка. — У меня ведь практика, стаж! Да, жаль, что с Рустэмкой не повидался!

— А тебе, пожалуй, может еще что-нибудь быть за «критику», которую ты учинял. Они могут постараться записать тебе в трудсписок какие-нибудь приятные вещи.

— Якши-яман в один карман! — хладнокровно сказал Сашка. — Пускай записывают! Мне не жалко. Я за себя постоять сумею.

Они еще посидели молча, вдыхая душевную теплоту вечера. Растянули рюкзак и затолкали туда патефон. Потом Маруся встала и протянула Сашке руку:

— Ну, прощай, друг! Будь здоров, будь молодцом, будь геофизиком! Живи счастливо! Не треплись без толку направо и налево, пожалей свой язык.

Двумя руками Сашка пожимал марусину руку:

— Как? Ты уже уходишь? Марусенька, имей совесть! Досюда всего километра четыре. Какое же это провожание? А на сколько тебя твой-то провожает? Знаток букашек?

— Он предпочитает итти до самого места, — улыбнулась Маруся. — А если нельзя, то километров на двенадцать.

— Вот видишь! — покачал Сашка головой. — Эх, жизнь моя пропащая!

Маруся сильно встряхнула сашкины руки:

— Ну, до свидания! Авось, еще увидимся! Я сегодня километров сорок за день прошла. — Она высвободила руку и побегала с пригорка.

Сашка махал кепкой.

— Маруся, подожди! Мару-ся!

Она остановилась:

— Что-о?

— Давай хоть поцелуемся! — Он не кричал, а говорил, но она поняла по движению губ и выражению лица.

— Не сто-ит!

Сашка двумя руками посылал воздушные поцелуи.

Маруся ходко пошла вниз по отлогому шоссе; немного пройдя, оглянулась. Все было уже серое, бесцветное — солнце село. За бугром до половины видна была сашкина фигура; он спустился на ту сторону перевала. Вот уже видны только плечи

и голова. Еще раз мелькнула сашкина кепка.

Маруся вздохнула и быстро пошла к управлению.

4

В пятый раз, по крайней мере, Маруся с недоумением читала приказ, прилепленный на стене застекленного коридора, возле дверей конторы:

«Объявляется строгий выговор зоологу Мишиной М. А. за порчу социалистической собственности, крыши от кормушек в количестве трех штук, по вине которой обнаружались в поврежденном виде с дырками и промятостью боков, которые перевозимые наблюдателем Р. Ширановым при недопустимом участии одной из практиканток по указанию зоолога Мишиной.

Директор Изабеков».

Слова стояли на неравном расстоянии друг от друга: то далеко, то почти вплотную, кучками. Некоторые слова подскакивали, почти достигая верхней строчки, точно им дали шелчка. «Марфа печатала, — подумала Маруся. — Все-таки довольно сносно научилась».

Лемме продолжал подметать двор. Обратиться в суд он так и не нашел в себе присутствия духа, но, по совету и с помощью Маруси, написал подробное письмо в районную газету. Он просил помочь ему снять с себя пятно, «позорное и абсолютно не идущее ко мне ни с какого боку!» Маруся зачеркнула «не идущее» и написала сверху «несправедливое».

Лемме ждал ответа с трепетом и со сладкой надеждой. Ответ отчего-то не приходил, и Федор Платонич несколько раз допытывался у Бекира Арнаута, которому он дал для отправки письмо, в правильный ли ящик тот письмо опустил. Бекир отмахивался: «Да, да!» — не решаясь признаться, что он передумал тогда идти в город, остался в колхозе Узень-баш у тетки, а письмо еще на шоссе отдал обогнавшему его в линейке Абдулаеву. Ничего тут худого не было: Абдулаев, конечно, письмо опустил, но — «Абдулаев и Лемме... Гм, гм! Лучше уж не говорить!»

Делопроизводителем Изабеков, ко все-

общему удивлению, назначил жену Абдулаева. До уморительности важничая, она ходила с папкой подмышкой, едва отвечала на приветствия и откликалась теперь не иначе, как на «Марфу Евдокимовну».

За русским текстом, для вящей убедительности, следовал татарский, написанный от руки, так как латинского шрифта на машинке не было. Составлен он был еще безграмотнее русского.

Маруся невольно усмехнулась: «Потрудились супруги!» Несомненно было, что по-татарски приказ писал Абдулаев. Изабеков был слишком культурен, чтобы в приказе на родном языке насажать таких ошибок. «Но что это вообще за белберда? Чего-чего... но такое! В голову притти не могло».

В конторе Изабекова уже не было. Не было его и на огороде. К Изабекову на дом не ходили, это было как-то совсем не принято, не то что к Макарову, к которому с любым вопросом врывались во всякое время дня и научные работники и наблюдатели. Но, преодолев неохоту, Маруся пошла в дом директора.

Дом, в котором всегда жил директор, по традиции еще с царских времен, носил название «Охотничий домик»: именно здесь останавливался царь, приезжая на охоту. Дом этот был выстроен в самом живописном месте котловины. Кругом неровной высокой стеной поднимались лесистые хребты; на темном их фоне дом казался небольшим, хотя, если не считать церкви, это было самое большое здание заповедника, светлое, приветливое; перед домом была лужайка с несколькими клумбами, сплошь в ярких петуниях, настурциях и огненных лилиях, которые ежедневно, не глядя на директорские окна, поливал Лемме.

Поднявшись на веранду, всю увитую глициниями, Маруся постучала в застекленную дверь. Откуда-то из глубины громко сказали по-татарски:

— Можно.

Изабеков с женой сидели за столом и пили чай. Едва Маруся переступила порог, жена Изабекова встала и бесшумно удалилась из комнаты. Хотя Маруся и знала отчужденность Изабековой, это неприятно ее поразило. Она давно не видела жену директора; та показалась ей еще хуже и безжизненнее, чем прежде.

«До чего все-таки странная женщина!» — подумала Маруся.

— Здравствуй, товарищ Изабеков. Почему ваша жена от меня убежала? — спросила она прямо.

— Прошу садиться. Она не любит общества, — ответил Изабеков недобольно. — Всякий имэет свой характер.

— Безусловно. Но все-таки это странно. Ваша жена всех избегает, просто незнакома ни с кем. Вы — член партии, могли бы на нее повлиять.

Изабеков взглянул мельком на Марусю. Затем, бесстрастно опустив веки, сказал сухо:

— Вы слишком любопытны, товарищ Мишина, к частной жизни других. Это не входит в обязанности зоолога.

— Очень может быть, что в обязанности зоолога это не входит, — покраснев, сказала Маруся, и голос ее зазвенел. — Но я думаю, ни одной советской женщине не возбраняется интересоваться жизнью другой советской женщины. Тем более у себя под боком. . . Я пришла узнать, товарищ Изабеков, что значит подписанный вами приказ?

— Данный приказ значит имэнно то, что в нем написано. За дурное обращение с казенным. . . я имэю в виду — с государственным, имуществом вам объявляется выговор. Кровли кормушек сильно попорчены.

— Но позвольте, это какое-то недоразумение! Крыши вовсе не были испорчены, когда упали с лошади. Мы осматривали их с Рустэмом. И, наконец, почему же вы мне делаете выговор только теперь? Ведь прошло больше трех месяцев.

— Мнэ сообщили об этом недавно.

— Кто?

— Это, извините, не ваше дело.

— Почему? Неужели это тайна? — Маруся пожала плечами. — Но ведь это, вероятно, просто чья-то выдумка.

— Ошибаетесь! Я посылаа наблюдателя проверить.

— Какого наблюдателя? — Маруся слегка усмехнулась. — Или, может быть, это тоже тайна?

Изабеков помолчал. Он ничем не выразил своего раздражения, только лицо у него сделалось еще суше и бесстрастнее.

— Я посылаа Сидорова.

— Си-до-ро-ва? — протянула Маруся. — Но ведь Сидоров был вместе с нами тогда! Он мог видеть крыши корму-

шек. Правда, он тогда скоро ушел. . . может быть, и не посмотрел. . .

— Тэперь он смотрел. Они сильно испорчены. Он подтверждает, что был с вами в то время. И объяснил причины порчи: кровли скатились с горы, практикантка испугала лошадь.

— Они были целы, — в раздумье покачала головой Маруся. — Их ведь задержали кусты. Как и Юлю. Позвольте, — сказала она с живостью, — ведь одну кормушку, в сто первом квартале, я видела на-днях. Она именно из той партии. И крыша на ней была в порядке. Я требую, чтобы была назначена комиссия, что ли. Для осмотра кормушек. Это какое-то странное недоразумение. Пойдемте сейчас посмотреть?

Изабеков сделал медленный, отстраняющий жест рукой, полный презрения:

— Неужели вы думаете, что я имэю время ездить смотреть какие-то кормушки?

Маруся нахмурилась, подумала возмущенно: «Вот уж кто, действительно, барон, так это ты!»

— Вашу просьбу я удовлетворю: комиссия для освидетельствования кормушек будет назначена. — Изабеков помолчал. — Я нэдоволен вами, товарищ Мишина. — сказал он медленно и важно. — Очень нэдоволен.

Маруся посмотрела на Изабекова восторженно.

— Вы плохо работаете.

— В чем же это выражается?

— Я имэю сведения, что оленей стало меньше.

— От кого? — воскликнула Маруся. — Кто мог дать такие нелепые сведения? У меня уже есть предварительные данные учета: поголовье увеличилось. И даже довольно значительно.

— Также я имэю сведения, — холодно продолжал Изабеков, — что вы имэете дурное влияние на наблюдателей-татар.

— Я? — В недоумении Маруся широко раскрыла глаза. — Как так?

— Вам известно о том, что начальник охраны Муртазаев подал заявление об уходе?

— Я слышала об этом вчера, но его еще не видела.

— Когда я выразил понятное удивление и свое порицание, он резко заявил мне, что «зато вот товарищ Мишина меня очень одобрит».

Маруся гордо подняла голову:

— Да, я ему советовала итти учиться.

И не вижу в этом никакого дурного влияния.

— Ах, вы даже со-вэ-то-ва-ли ему?

Очень хорошо. Вы мешаете выдвижению кадров из местной национальной молодежи.

Маруся густо покраснела:

— Вы абсолютно неправы! Умэру надо учиться. И для начальника охраны он слишком молод. Это все, что вы мне... инкриминируете?

Изабеков слегка прищурился:

— Инкри... Простыте, мне нэизвестно это слово! Скажите по-татарски!

— Обвиняете, ставите в вину, — по-татарски сказала Маруся.

— Так. Затем под влиянием вашим и весьма для вас бывшего приятным... этого... сумасшедшего... одержимого, — не правда ли так? («Не кривляйся, что не знаешь русского языка, — подумала Маруся. — Ты достаточно его знаешь».) — метеоролога Прутникова наблюдатель Ширанов окончательно распустился. Вчера, проходя здесь, он бросил мне в окно предмет.

Маруся едва не расхохоталась. Сдержавшись, она спросила с предельной учтивостью:

— Какой же это был предмет?

— Кажется, это была ветка барбариса. Но хотя предмет по существу неоскорбительный, это не меняет дела.

Маруся улыбнулась, подумала: «Он не тебе, барон, бросил, а твоей жене — из любопытства, чтоб она хоть выглянула. Это на Рустэма похоже».

— По этому поводу никаких объяснений дать не могу. А теперь поговорим, пожалуйста, немного о работе, — сказала она решительно. — Я и так достаточно долго отнимаю ваше драгоценное время. Во-первых, Муртазаев, повидимому, окончательно уходит? Как вы считаете?

— Я никого нэ задерживаю насильно, — уклончиво сказал Изабеков.

— Так вот: кого вы намереваетесь назначить начальником охраны? Как вы, несомненно, понимаете, меня это очень интересует, так как весьма важно для моей работы.

— Я еще не думал над этим вопросом, — веско сказал Изабеков. Помолчав, он вдруг спросил: — А кого бы вы предложили?

— Я бы предложила Рустэма Ширано-

ва, — горячо сказала Маруся. — Он очень энергичен и подвижен. И очень оперативен. Прекрасный работник.

Изабеков сухо рассмеялся:

— Вы хотите шутить со мной, товарищ Мишина? Этого... б-болтуна? Б-бездельника?

— Он вовсе не бездельник! — раздраженно сказала Маруся: было ясно, что кандидатура Рустэма абсолютно безнадежна. — Он очень хороший работник! Конечно, больше всех подошел бы Осип Митрофанович Щуренко. Но он слишком стар ему было бы трудно... Ах, вот! — воскликнула она, вдруг сообразив и очень обрадовавшись. — Ахтэм Каранджи! Спокойный, серьезный работник. Знающий, его очень уважают.

— Кто такой Ахтэм Каранджи? — Изабеков, видимо, искренно не мог представить себе этого наблюдателя.

«Даже наблюдателей своих не знаешь!» — подумала Маруся с презрением.

— Он живет очень далеко. Один из самых отдаленных участков. За Яполахом. Но можно было бы его переселить ближе к управлению.

— Об этом я еще буду думать.

— Затем скажите, пожалуйста, как обстоит дело с загоном? Он все еще не строится. И надо же, наконец, конкретно поставить вопрос об акклиматизации новых видов. В плане давным-давно предусмотрена необходимость попробовать акклиматизацию белки и зубра.

— Это чрезвычайно сложные вопросы. — Изабеков встал: — Сейчас уже довольно поздно.

Маруся тоже встала, нахмуренная, раздосадованная, чувствуя себя внезапно утомленной, хотя и недолг был разговор с Изабековым. «Нет, с ним просто невозможно договориться. Это чорт знает что такое!»

Вдруг Изабеков спросил почти ласково, так что Маруся удивленно подняла на него глаза:

— Я слышал, что вы намерены повышать свою квалификацию, товарищ Мишина? При Московском университете? Это очень хорошо, когда молодой научный работник стремится повысить свою квалификацию.

«До чего ему хочется, чтобы я уехала, даже удивительно!» — подумала Маруся.

— Я еще не решила этот вопрос окон-

чательно, — сказала она задорно. — До свидания!

Из-под опущенных век Изабеков провидил Марусю мрачным взглядом.

Смотреть кормушки отправились четверо: Маруся, Абдулаев, Сидоров и Муртазаев, ходивший в начальниках последние дни.

Абдулаев ехал на лошади. Ослино-упрямый Чалий опять совершил тот же путь, что и три месяца назад. Но теперь Юля так не страдала бы от жары: безветренный воздух был сух и тепел, но по-осеннему чист и приятен и деревья стояли желтые, тихие.

Шли молча. Внезапно Абдулаев проявил совершенно неожиданную галантность: он слегка повернул свою голову к Марусе и с хрипотцой спросил тонким голосом:

— Хотытэ сидать на конь?

— Спасибо, не хочу, — сказала Маруся и про себя добавила: «Из меня еще жир не каплет».

Когда спустились в лошину, Маруся бегом побежала к кормушке. Подбежала и громко вскрикнула, пораженная. На ее крик подскочил Муртазаев. Потом неторопливо приблизился Сидоров, вытягивая шею и немного склонив голову набок, как курица, смотрящая в небо. Подъехал Абдулаев.

Минуты две все стояли безмолвно. Маруся — взволнованная, красная от изумления и возмущения. Муртазаев — со смущенным, недоуменным, почти страдальческим лицом. Сидоров, сожалеюще потрясывая бороденкой, смотрел в землю. Абдулаев безучастной громадой возвышался на спине Чалия; лицо его было совершенно неподвижно, но обширная спина моментами вздрагивала, точно в торжествующем смехе.

Кормушка — обычные деревянные ясли, какие устраивают в деревнях для скота. — была до половины набита сеном. Двускатная железная крыша кормушки была совершенно исковеркана: погнута, местами вдавлена, кое-где надорванные края торчали кверху.

Маруся влезла на боковую балку, — Муртазаев почти машинально сейчас же рукой стал поддерживать ее за пояс, чтобы ей было ловчее и тверже стоять. — и стала близко рассматривать повреждения.

— Вот здесь снег будет падать непо-

средственно в кормушку, — показал рукой Абдулаев.

— Да, — рассеянно отозвалась Маруся. Она прыгнула на землю. — Этого не было тогда! — сказала она твердо. — Я не знаю, чьи это штучки. Но этого ни в коем случае не было! Рустэм Ширанов может подтвердить. Мы вместе с ним прикрепляли крыши.

— Ширанов всегда брәшәт как собака, — фыркнул Абдулаев.

— Силантий Прокофьич! — обратилась Маруся к Сидорову. — Неужели вы не помните, какие они были тогда? Вы — опытный наблюдатель. Неужели вы не обратили бы внимания, если бы крыши были в таком безобразном виде?

Сидоров дернулся смущенно, хихикнул в бороденку, не глядя на Марусю, сказал: — Что ж... конешно... Пооббились!

— Но, Умэр, — воскликнула Маруся, — ты ведь веришь, что они не были тогда такими? Ведь не могла же я в таком виде оставить крыши и никому не сказать? Да что за дичь! Мы ставили их с Ширановым...

Муртазаев выпрямился:

— Да, я верю! Вы с Рустэмом не могли тайком оставить так плохую вещь. — Он черными яркими глазами в упор посмотрел на Абдулаева. — Буду говорить правду: на эту кормушку я не клал внимания. Но с этой же партии другие я видел недавно. Будем их проверять!

— Кто же мог сделать такое? — визгливо засмеялся Абдулаев. — Товарищ Мишина, вы знаете, тут нә город, мальчишки нә бегают.

— Вот уж этого я не знаю, кто это сделал, — сказала Маруся. — Мальчишки никакие тут, правда, не бегают. Да мальчишкам такое и не сделать. Я ведь смотрела! Тут местами гвоздем пробито, просверлено чем-то. Надо силу иметь, пусть хоть небольшую, да взрослого человека.

Не оглядываясь, она пошла вперед. Остальные двинулись за ней.

Крыши двух других кормушек были также испорчены, хотя значительно меньше.

5

Ветловский не понимал, что происходит с Марусей.

Осыпались листья с деревьев — медленно, но неуклонно, с тихим шелестом лес расставался со своим покровом; под но-

гами шуршало, просветы между деревьями становились все шире. Сбрасывали рога олени, бегали однорогие, с кровоточащими пеньками вместо рогов, забирались поглубже в чащу. И вот уже стали попадаться кусули с моховыми мохнатыми рожками, изредка можно было видеть на стволах узенькие обрывки кожи: чесались отрастающие рога. Олени и кусули меняли летний рыжий цвет на кофейно-серый; расплывчатая пятнистость на боках муфлонов становилась резче. В лежках оставались клочки шерсти от линяющих животных.

Внизу, в поёмном лесу, появились снегири, чечотки, коноплянки, простые, обыкновенные, а не горные — овсянки, исчезли зяблики: птицы перекочевывали, прилетали зимовать. Однажды на рассвете Ветловский видел в бледном, еще зеленоватом небе целую вереницу негромко, нежно и странно курлыкающих журавлей. Почти не стало насекомых, только мухи еще летали, толстые и злые. По утрам земля покрывалась инеем, дольше лежал на горах туман.

А Маруся все не уезжала.

Она как будто и не собиралась уезжать: совсем перестала говорить об отъезде и хотя занималась по вечерам, но как-то вяло, словно нехотя. Рано складывала книги, не глядя на Ветловского, и заявляла, что хочет спать. Это было непохоже на нее, всегда усидчивую в занятиях, требовательную к себе, живую, энергичную.

Ветловский смотрел на Марусю с нежным беспокойством и с робкой жалостью, мялся, вздыхал, но поговорить не решался. Она стала раздражительна, была со всеми резка, даже к письмам от матери и сестры относилась как будто равнодушно: взяв письмо, клала его в карман, не торопясь, как обычно, прочесть. Он понимал, что это потому, что они удивляются, что она не едет, ждут ее, скучают, торопят и этим ее мучают.

Но почему же, в самом деле, она не уезжает? Он знал, что она даже написала зоологу, своему сокурснику, с которым прежде договаривалась, что он ее тут сменил, чтобы он взялся «пока» за другую работу. Она вскользь сообщила об этом Ветловскому.

Он видел, что живется ей до крайности трудно. Ничего из того, чего она добивалась так горячо и упорно, не дела-

лось: загон не строился, об освоении новых видов животных она уже и сама перестала говорить, настолько это было бесполезно. Она раньше очень хотела организовать занятия с наблюдателями по ботанике и зоологии, хотя бы в небольших размерах, насколько позволит обширная территория и разбросанность казарм. Но Изабеков запретил проводить эти занятия, заявив, что это только разовьет лодырничество и вообще пустая выдумка. «Зоолог Мишина с жиру начинает беситься!» — сказал он во всеуслышание. Каждый пуд соли для солонца, сетку для вольеры, отраву для лисиц — все приходилось выпрашивать, требовать, выхаживать по многу раз. Маруся открыто, подчас даже слишком резко и грубо, так что ее останавливал иногда Петров, ругалась не только с Абдулаевым, но и с Изабековым по всякому поводу.

И прежде у нее случались стычки с Изабековым, а теперь это была какая-то сплошная цепь препятствий, через которые она непрерывно, настойчиво продиралась. Она надолго уходила в лес и возвращалась почти такая же спокойная как прежде и оживленная. Ветловский расцветал. Он готов был пуститься в пляс, когда вновь видел ее смеющейся, веселой. Потом опять приходилось за чем-нибудь обращаться к начальству...

Муртазаев уехал. Говорили, что в Алуште он поступил на работу в милицию и учится в школе взрослых. Начальником охраны Изабеков назначил Сидорова.

Однажды вечером Ветловский вошел к Марусе, не постучавшись, — дверь была открыта почти настежь, — и остановился, потрясенный. Маруся лежала головой на столе и сердито, навзрыд плакала, как плачут дети, когда их сильно и незаслуженно обидят.

Комок поднялся к горлу Ветловского. Он вдруг увидел, как сильно Маруся за последнее время похудела, как трогательно и жалобно прилипла к ее вискам волос, какая она тоненькая, в сущности несильная. Маруся была немного выше среднего роста, но сейчас от жалости она показалась Ветловскому маленькой. Он обмер, перепугался до слабости в ногах: «Да что это? А я-то что же? Скотина! Мы ничего не делаем. Как можно такое? Боже мой, это ужасно!»

Он заспел, приблизился и робко произнес заплетающимся от волнения языком:

— Кто обидел вас? Марусенька, милая, скажите! Я избыю того... или еще что-нибудь... Что вы хотите, чтобы я сделал?

Маруся подняла голову, посмотрела в вытаращенные глаза Ветловского, в которых сквозили испуг и робкая, большая, так хорошо знакомая ей нежность, перестала плакать, вздохнула прерывисто и отвернулась.

— Ничего, — сказала она и откашлялась. — Это я просто так. Уже прошло. — Она достала из кармана жакета носовой платок, высморкалась и спросила с лукавой усмешкой, не очень веселой: — Ну, так чем же питаются ночные бабочки?

Сердце Ветловского захлестнула новая волна жалости. Он понимал, что это она нарочно, чтобы не говорить о чем-то другом. Все-таки он шутливо выпятил грудь, сказал громко и обрадованно:

— Вообще все взрослые бабочки питаются нектаром цветов и сладким соком другого происхождения, например соком, вытекающим при поранении деревьев.

Маруся думала: зачем она стала бы рассказывать этому смешному, милому, преданному человеку о том совершенно диком и отвратительном, что случилось с ней сейчас на дороге? Кроме страданий, возмущения, негодования, беспокойства за нее, абсолютно бесполезных, она ничего не могла бы ему доставить своей откровенностью.

На дороге, недалеко от своего дома, она вдруг услышала за своей спиной отчетливо произнесенные по-татарски слова: «Убирайся отсюда, ты! Тебе будет плохо, если не уберешься». Ее назвали грязно, гнусно, оскорбительно для женщины.

Маруся остановилась как вкопанная, до того пораженная, что даже не почувствовала сначала оскорбления. Она оглянулась. Никого не было видно. С одной стороны дороги уходило вверх подножие хребта, с другой — был обрыв, заросший по краю кустами, в которых суетливо шуршали, укладываясь на ночь, крапивники. Было тихо, смеркалось. Прохладная мгла уже окутывала котловину, только самые верхушки гор оранжевели ярко, словно отрезанные чертой от остального пространства.

Маруся постояла, прислушиваясь. И вот опять, на этот раз тише. — видимо, говоривший соблюдал осторожность, — поползла грязь. Голос нестарый, сипловатый,

Марусе совсем незнакомый, шел сверху: человек прятался где-то на горе, за выступом скалы.

Маруся высоко подняла голову, ни одним движением не показывая торопливости или волнения. Вероятно, лицо ее уже нельзя было разглядеть в сумерках, но тогда она об этом не подумала: «Пусть видят! Неужели меня можно испугать, прогнать?» Твердым шагом она дошла до дверей своего дома. И только в комнате она не выдержала и разрыдалась.

Наблюдая за Марусей, Ветловский видел, что она совсем его не слушает — рассеянно, с каким-то недоумением на лице она царапала ногтем штукатурку стены.

Он тяжело вздохнул и вдруг сказал голосом, полным отчаянной решимости:

— Уезжайте, Маруся! — Лицо у него было такое, точно он собирался немедленно прыгнуть в пропасть.

Маруся невольно улыбнулась. Потом снова стала сумрачной.

— И вы меня гоните? — сказала она тихо и грустно.

Ветловский издал глухой стон, махнул рукой и стремительно вышел из комнаты.

Через несколько минут он вернулся.

— Да, уезжайте! — повторил он дрожащим голосом. — Вы их не переспорите. Вы только губите себя. Плюньте на них! Они не дают вам работать — пускай провалятся в тартарары!

— В Овиедо горняки сейчас дерутся всю, — медленно и задумчиво проговорила Маруся, выпрямилась и скрестила на груди руки. — А мы, что же, должны сидеть? Уходить, уезжать и просто спокойно наслаждаться жизнью?

— Почему сидеть? — робко спросил Ветловский. — В Испании классовая борьба, там восстание горняков, а у нас ведь нет войны.

— Как смотреть, Станислав Михайлович! Всюду свой фронт. И у нас он есть. Забыли, что Сталин говорил в своем докладе? Будут еще наскакивать на СССР, стараться всячески приносить нам вред.

— Это все, разумеется, правильно. Но ведь здесь просто два распоясавшихся бюрократа.

— Так ли? — вставила Маруся.

— Я просто стараюсь иметь с ними возможно меньше дела. Материю для мешков — и то за свой счет покупаю в Симферополе, никому об этом не заикаясь.

Живу научной работой и не обращаю на них внимания. А вы так не можете! Значит, вам надо уходить и не мучить себя. Вы, Марусенька, между прочим, всякую сетку для вольеры превращаете в объект борьбы.

— Что ж, иногда и вольерная сетка становится орудием борьбы, — жестко сказала Маруся. — В чьи руки попадет.

— В ваших-то все хорошим становится.

— Я не о своих руках говорю, — сухо заметила Маруся.

— А как же ваша аспирантура? — тихо спросил Ветловский.

Губы Маруси дрогнули. Она посмотрела в окно, в холодную звездную темноту. Чернела сурово гора с острями сосновых верхушек. Лунный свет блестящей, широкой полосой ложился на стол. Повернутое к окну лицо Маруси казалось очень бледным.

— Я опоздала! Опоздала! — с внезапной тоской вырвалось у нее. — Что вы не понимаете? Занятия давно начались. Ох, эта наша тишина! Тихо-тихо... И вода журчит...

— Вероятно, будет еще зимний прием, — прошептал Ветловский.

— Закройте, пожалуйста, окно! — громко сказала Маруся. — Очень холодно. — Она встала и зажгла лампу. — Давайте скорей ужинать. Я вас совсем заморила. — Она присела на корточки перед плитой и открыла дверцу.

Доставая заготовленную лучину, Ветловский сказал:

— Между прочим, когда к вам шел, я видел коушского Муштабу Ислаева. Он с горы спускался. У него такая тупая рожа, что я и в сумерках узнал. Я его в лицо знаю, несколько раз с Абдулаевым видал. Ведь это его, кажется, задержал Ширанов?

— Да, кажется.

Маруся пригнулась ниже, чтобы Ветловский не заметил ее вспыхнувших щек, и стала усиленно раздувать пламя.

«В нынешний день текущего месяца сего года происходили таковые научные данные».

Сидоров откинулся в старинном ореховом кресле, которое, в виде приданого, приволокла каким-то образом его супруга из настоятельской монастыря, пощипал

бороденку, поставил две жирные точки, подумал и с наслаждением продолжал:

«В квартале девяносто пятом ходили две косули-самочки и еще одна самочка прибылая, жировали на бирючине, страху стменя не имели никакого при тихой к ним подступи. Особенным образом одна, заприметив, не сигала, а паслась уже в одиночку, по какой причине имею расположение, что была когда в прошедшем времени в вольере и выпущенная. Либо сбегшая. В квартале девяносто шестом по течению Алмы видал ворон, пили воду с речных камней и каркали; имею расположение, что прилетели с-под Воронежа. Там же, в Алме, не глядя на осеннюю пору, проплыла голавль, что также может оказать научный антирес...»

— Пишешь? — входя с пустой поросычей миской в руках, спросила жена Сидорова, коренастая, плотная женщина, лет сорока пяти, в цветистом платке, повязанном вокруг головы так, что концы торчали над лбом в виде бантика. — Сидишь? К науке добавляешь?

— По мере сил своих слабых, — со скромным достоинством отозвался Сидоров и со скрытой опаской покосился на жену, на всякий случай немного отодвинув кресло от стола и поставив посвободнее ноги.

Жена молча загремела у печи ухватом. Гроза как будто не предвиделась, и Сидоров приободрился.

— Как считаете, Капитона Васильевна? — спросил он с осторожной усмешечкой. — Имею расположение, что пора бы и это самое... пообедать.

— Тебе бы все жрать, сухотка, да на печке полеживать!

Однако в басистом голосе жены не было ни злобы, ни раздражения. Сидоров мирно расчесал пятерней бороденку.

С чувством удовлетворения он перечел написанное, добавил по найтиту две-три запяты, но писать дальше не стал, тем более что грозная супруга уже принялась ставить на стол горшки и мимоходом ссунула тетрадку на пол. Сидоров бережно поднял тетрадь, отряхнул ее, обдул и спрятал в сундучок.

— Садись! — сказала жена. — Жри.

Сидоров перекрестился в неопределенном направлении, — две иконы лежали на дне сундука, но повесить их в угол, у всех на виду, Сидоровы боялись, — и сел за стол.

Оба жадно стали есть пышущий жаром борщ.

«С чего она нонче такая добрая? — думал Сидоров про жену. — Не иначе кто-нибудь платье новое похвалил».

— Не заходил ли кто ненароком? — осведомился он ласково.

— Жена Асана Балджийки проходила, сказала, — я как раз примерялась: «И все-то вы франтите, Капитона Васильевна!». Подходящая женщина! И с чего она за его пошла? С нужды, что ли?

— С ка-акой там нужды! По самой истинной любви, это уж с полным доверием. Какая ей нужда? Жила в Алуште с братом, брат — служащий приказником в кооперации. В самый раз жить! Лучше чем здесь.

— Тьфу! — сплюнула на пол Сидорова. — Польстилась!

От горячего, вкусного борща и от приятного спокойствия домашней атмосферы Сидорову хотелось поговорить. Он горько вздохнул и потряс бородой:

— Вот сидел я это, Капитона Васильевна, записывал научно-популярные сведения и... душу мою промеж писания съедала тоска. — Он снова потряс бородой.

— Не тряси как козел! — сдвинула густые брови Сидорова. — Какая еще тоска? Через чего?

— А через того, Капитона Васильевна, — Сидоров высоко поднял брови, — что принял я грех на душу.

— Ну? — подождь, прогудела супруга. — Чего нашкодил? Говори, а то плохо будет!

— Именно нашкодил, Капитона Васильевна! Справедливо изволили заметить. — Сидоров оглянулся на окна и дверь и прошептал звеняще, с горечью в лице и не без любования собой и своими переживаниями: — Кормушечки я изгадил, Капитона Васильевна! Да так, что не приведи господь! Вот и тоскую я: жалко кровелек железных! Была вещь добротная, качественная, к тому же крашенная...

Сидорова гадливо отодвинулась от наседавшей на нее, вымазанной в борще борды мужа, потом снова хладнокровно принялась за еду.

— Я думала, в самом деле чего... Кормушки для поганных оленей! Невидаль! Как изгадил-то? — спросила она лениво.

— Гвоздочком и молоточком... И кашемком, что покрепче... Всяко... И как ни говори, — шелестел Сидоров, непрерывно

встряхивая бородой, — а все же стыдно, можно сказать, мне теперь Марии Алексеевне в глаза смотреть. Сильно они это переживали, бедные, тот пакостный вид кормушек-то. Эх, напасть!

Отправляя в рот ложку за ложкой, Сидорова со всегдашним презрением разглядывала мужа.

— А на чорта надо было такое делать? Не тряс как овечий хвост, тебе говорят!

— Для выговора, Капитона Васильевна, — сжимаясь под суровым взглядом жены, убедительно ответил Сидоров. — Именно для выговора! Чтобы, значит, Мария Алексеевна строгий выговор получили.

— Ничего не пойму. Говори понятно! А то плохо будет!

— Так что же тут не понять, Капитона Васильевна? Ей выговор. Марии Алексеевне. И выходит, что за дело. Потому имущество социалистическое спортила? Спортила. Скрыла об этом? Скрыла. Ну, а через выговор строгий в приказе она роняется, значит, перед наблюдателями и прочими массаами колхозными, что ли. Мне это досконально объясняли.

— Кто объяснял?

— И для тебя тоже, мол, Сидоров, с этого большая польза окажется, — точно не слыша вопроса и только дернувшись спиной, продолжал Сидоров. — Был бы ты, значит, начальник, кабы не она. И все такое прочее... Она против тебя, значит, массы разлагает. Затирает тебя.

— Неужто так вредна? — поразилась Сидорова. — А на вид девка как девка! Ходит аккуратно, со всеми приветная. Мне раз телушку помогла найти, проходила мимо. — На лице ее отразилось движение неповоротливой мысли, брови сдвинулись. Внезапно она выложила на стол тяжелый кулак (Сидоров инстинктивно отклонился и переместил ноги под столом). — И все-то ты брешешь, чорт дохлый! Тебя же все одно начальником назначили! Или что? Через это, что ли, тот чернявенький из схраны ушел, что начальником был?

— Вот-вот, от этого самого! — поспешно закивал головой Сидоров, хотя прекрасно знал, что Муртазаев переехал в город для учебы и что испорченные кормушки тут ни при чем.

— Ска-ажите! — протянула Сидорова, медленно убирая со стола кулак.

— А душа-то томится! — вздохнул Сидоров.

— Ну, и томись! — отрезала жена, вста-

вая и начиная шумно собирать со стола. — А мне доить пора.

Вдруг Сидоров испугался.

— Только вы уж, Капитона Васильевна, — зашептал он встревоженно, — сделайте божескую милость, никому про кормушечки! Ни-ни-ни! — Он мотал худым, крючковатым пальцем перед носом. — А то, знаете, я ведь это самое... и свидетельствовал еще, что они при падении с практиканткой поиспортились. Ни-ни-ни! В тюрьму нам не угодить бы!

— Нам? — заорала Сидорова и широкой поступью вернулась от двери. — Да ты что, малохолный? Не-ет, стервец! Я твоим пакостям не ответчица! — Она рывком схватила мужа за бороду и принялась дергать, приговаривая: — Вот тебе за кормушки! — Дёрг! — Вот тебе за Маруську! — Дёрг! — Вот тебе за то! — Дёрг! — Чтоб душа твоя дырявая не томилась! — Дёрг! Дёрг! Дёрг! — Она выпустила мужнюю бороду, вытерла о фартук руки и, покачивая крутыми бедрами, неторопливо прошла к двери.

Сидоров открыл глаза, — во время экзекуции веки его были плотно сомкнуты, — потер затылок, которым стукнулся о спинку кресла, — выскочить из кресла он так и не успел, несмотря на предосторожности, — вынул из кармана гребешок, аккуратно расчесал бороду и волосы, вздохнул успокоенно, встал и достал из сундучка тетрадь.

Он перечел написанное и, зачем-то подув на обмакнутое перо, вдохновенно стал писать дальше:

«Видал также муфлончика, прыгнул с высокого утеса, вскинул задок и оттолкнулся ножками. Имею расположение, что пониже паслось стадо, в квартале девяносто седьмом».

Наблюдательский дневник Сидорова Маруся всегда читала с невольной улыбкой и со смешанным чувством удовольствия и досады. В занятных, часто лирических строчках, которыми сам Сидоров так наслаждался, не было никакой достоверности. Число замеченных животных, время и место наблюдения сообщались Сидоровым совершенно произвольно, независимо от истины. Маруся знала наверно, что в многие из дней, когда Сидоров «видал» эссенно большое количество оленей, муфлонов, косуль, лисиц и зайцев, он даже не

выходил из дому. «И ведь природу знает, опытный. Был бы честный человек, какой бы вышел прекрасный наблюдатель. Вот бы Осип Митрофаныч так записывал!» — с сожалением думала Маруся.

Но на бумаге старик Щуренко не умел связать двух слов. Презирав «писанину», он почти всегда забывал вести даже те примитивные, чисто цифровые записи, которые требовались от каждого наблюдателя. Когда Маруся приходила к нему «за статистикой», он смущался, кряхтел и, махнув рукой, не глядя на Марусю, говорил: «Не найти мне этой бумажонки. Садись, пиши сама, я расскажу». Маруся лукаво улыбалась, понимая, что и искать-то нечего, и охотно бралась за карандаш. Память у Осипа Митрофаныча была превосходная: чуть ли не за месяц он помнил, где, как и в каком количестве передвигались животные в его обходе.

7

Секретарь Алуштинского райкома комсомола, Сёма Круц, черненкиий, кудрявый паренек лет двадцати, старался важной даже величественной осанкой сделать менее заметным свой несолидный возраст. Выпрямившись, он сидел за столом и слушал комсомолку Мишину со снисходительным видом человека, умудренного опытом, отлично понимающего не только то, что ему говорят, но и то, что еще скажут.

— Поэтому я и считаю, что у нас полный развал работы, — говорила Маруся. — Как я уже сказала, директор совершенно равнодушно относится к самым необходимым мероприятиям... О завхозе я тебе уже говорила: его боятся, его не любят... Даже к вопросу охраны у нас относятся спустя рукава, смотрят сквозь пальцы. Доказательство — то ничтожное наказание, которое получают браконьеры.

— Та-ак! — сказал Сёма Круц. — Можешь не продолжать. Ты уже начинаешь повторяться. Мне абсолютно понятна твоя точка зрения на существующее у вас положение. Конечно, ты безусловно права, что сигнализируешь и советуешься, что предпринять. Каждый комсомолец обязан сигнализировать, даже если неполадки, которые он видит, значительно преувеличиваются его воображением.

— Это ты что, про меня? — удивилась Маруся.

— К слову пришлось, — уклончиво ото-

звался Круц. — А скажи, пожалуйста, товарищ Мишина, — с видом тонкой пронзительности он уставился на Марусю, — как ты сама относишься к государственной собственности?

Маруся помолчала, поглядела на Круца: — Странный вопрос! Не понимаю, чего ты хочешь? Ну, само собой, я считаю, что к государственной социалистической собственности надо относиться сугубо внимательно и бережно. Гораздо бережнее, чем к своей. Всячески ее охранять.

— А я слышал, что ты именно за дурное обращение с социалистической собственностью получила выговор, — нарочито небрежно заметил Круц. — Кажется, даже строгий.

Маруся покраснела. Это не укрылось от внимательного взгляда Круца, на лице которого появилось мальчишеское выражение самодовольства, — «Имею, мол, подход!», — впрочем быстро им с физиономии удаленное, как неподобающее ответственному работнику.

— Ты имеешь в виду крыши на оленьих кормушках? — раздраженно спросила Маруся. — Не знаю уж, кто тебе сообщил об этой нелепости. Да, мне вкатили строгий выговор в приказ и в трудсписок. Это сплошная дичь с начала до конца! Я их не портила. Они были целешеньки, после того как упали.

— Ага, упали? — вставил Круц.

— Ведь это не фарфор, наконец, а кровельное железо! А потом они оказались в безобразнейшем виде.

— Упали и оказались в безобразнейшем виде. Так!

— Есть дела поважнее, — с досадой сказала Маруся, — да и некому этим заняться, а то следовало бы насчет этих паршивых кормушек просто расследование произвести в конце концов.

— А как ты смотришь, товарищ Мишина, на тот факт, когда комсомола мешает выдвижению кадров из местной национальной молодежи? — Круц значительно померцал на Марусю глазами.

— Ну, знаешь! — вспыхнула Маруся. — Я догадываюсь, что ты получил сведения обо мне из самого непосредственного источника. Очень тронута, что уважаемый директор Осман Изабеков преодолел свое всегданнее нежелание заниматься делами ради моей особы. Не поленился в райком комсомола зайти!

— Поосторожнее, товарищ Мишина!

Так... неуважительно ты отзываешься о члене партии! — предостерегающе сказал Круц, слегка покраснев.

Ему было неприятно, что Маруся так легко проникла в причину его тонкой осведомленности. Кроме того, он почувствовал обиду за Изабекова, который его, действительно, недавно посетил. В меру обязательный и ласковый, весьма почтенный с виду, Изабеков произвел на него самое выгодное впечатление. Сёме польстило, что старый член партии из местных жителей с таким уважением, доверием и даже предупредительностью относится к нему, совсем молодому и недавно приехавшему работнику.

— Помнишь, — сказала Маруся, — на пленуме Ленинградского обкома партии Киров сказал: «Критиковать смело, а не замазывать отклонения некоторых товарищей от марксизма-ленинизма». Он имел в виду именно членов партии. Когда надо, и членов партии можно критиковать.

— Я газеты читаю, товарищ Мишина, — оскорбленно сказал Круц. — И, наверно, не хуже тебя знаю, что сказал Киров. А вот что ты ответишь по существу вопроса? У вас молодого татарина выдвинули на руководящую работу, а ты его подбила бросить эту работу, устроить прорыв.

— Никакого прорыва он не устроил! — сказала Маруся. — Потому что работал недостаточно хорошо. («Но как, правда, плохо, что Умэр уехал! — подумала она. — Ведь с Сидоровым еще хуже. Этот уж совсем ничего не делает».) Она вдруг почувствовала растерянность; у нее сделалось усталое и огорченное лицо. («Ага, пробирает!» — подумал Круц и напустил на себя некоторую сухость, почти предвидя уже полное «разоблачение» Мишиной.) — Это все сложно у нас, надо знать обстановку, товарищ Круц. Теперь назначили начальника еще худшего.

— Назначили? — насмешливо переспросил Круц. — Кто же?

— Директор Изабеков. А Умэр Муртазаев — он не подходил к этой работе, он был слишком молод, неопытен. Выдвинуть его выдвинули, а работать не помогали, наоборот — мешали скорее.

— Чем же? И кто?

— Например, ему кружили голову: ах, де, ты начальник! Был такой оттенок нездоровый, и он, глупый парень, ему поддавался.

— Ну, товарищ Мишина, — иронически

улыбнулся Круц, — это что-то уж слишком туманно. Беллетристика!

— Никакая не беллетристика! — рассердилась Маруся, встала и прошлась по комнате. — Ничего ты не хочешь понять. Как жаль, что Якуб Мамбетов уехал! — вырвалось у нее восклицание. — Я ни в коем случае не хочу тебя обидеть, товарищ Круц, — добавила она мягко. — Но, правда, ты человек очень городской какой-то.

— При чем тут городской? — сказал Круц, уши которого ярко зарделись. — Ты хочешь сказать, что я совсем не знаю местных условий. Еще неизвестно, насколько ты в них правильно разбираешься. А, конечно, Якуб Мамбетов был прекрасным секретарем райкома. Мне до него далеко, — добавил он скромно.

— Кстати, — сказала Маруся, — ведь Якуб уехал учиться, поступил в вуз. Нашли ему замену — тебя. И наш Умэр Муртазаев ушел учиться. И я его не подбивала, даже больше — если хочешь знать, я ему советовала переехать в город для учебы, но не обязательно сразу. А он немедленно сорвался! И ему можно было бы найти прекрасную замену. Что у нас, людей нет? Есть у нас люди! Выдвижение кадров! — усмехнулась Маруся. — Надо ведь смотреть по существу лозунга. Иногда мне кажется, — сказала она негромко и задумчиво, взяв со стола пресспапье и рассматривая его машинально, — что, может быть, это все нарочно. Использовать неспытность Муртазаева и то, что он мальчишка, было очень легко. А для удобства... прикрыться лозунгом. — Она положила пресспапье и прямо посмотрела в глаза Круцу.

Круц невольно привстал, в лице его мелькнули замешательство и испуг. Потом он сел и, почти обретя свой всегдашний апломб, хотя еще немного неуверенно, проговорил:

— Слушай, Мишина! Ты говоришь очень серьезные вещи. В таких вещах надо отдавать себе отчет. Ты понимаешь, как можно понять то, что ты сказала сейчас о своих руководителях? Или ты грубо чернишь членов партии...

— Или? — спросила Маруся.

— Вот скоро у вас должна быть чистка вашей партийной организации, — сказал Круц, проводя растопыренными пальцами через свою густую шевелюру и не глядя Марусе в лицо, так как смятение овладело его душой, даже посещение Иза-

бекова вдруг начало ему представляться каким-то неясным: «Чорт его знает, что там у них происходит?» — посмотрим, что там будет. Я постараюсь приехать все что бы то ни стало.

Маруся протянула руку.

— Ну, до свидания! — в голосе ее было неудовольствие.

— До свидания, товарищ Мишина! — Круц вышел из-за стола для вежливости. — Кстати, почему ты посещаешь нас так редко?

— Всегда очень трудно бывает выбраться. А сейчас еще дожди пошли. Дорога, знаешь, какая? Еле ноги вытащишь!

— Разве ты не умеешь ездить верхом или хотя бы править лошадьми?

Маруся звонко рассмеялась:

— Разумеется, я умею и верхом ездить и лошадьми править. Но... какими лошадьми?

— Не поверю, что у вас нет ни одной лошади, — сухо сказал Круц, обиженный марусиным смехом. — Ваш директор, например, приезжал на линейке. — Случайно он взглянул на марусины ноги и смутился: следы тщательно очищенной грязи покрывали сплошь русские сапоги Маруси; даже пальто ее снизу было все забрызганно.

— Так то директор! — равнодушно отзывалась Маруся. — Вот ты говоришь, товарищ Круц, что я редко прихожу. А из райкома, с тех пор как Якуб уехал, у меня ни разу никто не был. Может быть, я уже умерла там, — вы и не знаете. Ручаюсь, что ты и дороги к нам не знаешь.

— Ну, и не знаю! — уже без всякого апломба огрызнулся Круц. — Работы, знаешь, сколько? А у нас и так один работник scarлатиной заболел.

— Бедняга! — Маруся невольно усмехнулась, покачала головой. — А все-таки... Я ведь ваша комсомолка, — сказала она мягко, и в голосе ее мелькнула печаль, от которой Круц опять покраснел.

— А ты чего сама? — буркнул Круц. — Я сейчас вспомнил. Ваш директор говорил, что ты собиралась ехать еще учиться, а почему-то не едешь, пренебрегаешь занятиями.

Маруся коротко вздохнула:

— Да ладно! Он бы меня рад выгнать, да повода настоящего не находит. Кормушек все-таки мало.

Когда Мишина ушла, Круц несколько

минут стоял в задумчивости у окна. Шел крупный редкий дождь, наверно холодный. Спешили редкие прохожие. Все было серо и уныло кругом. Между мокрыми крышами мелькало море; большое стального цвета, оно сливалось с небом, и, только взглядевшись, можно было различить сквозь дождь, как вздымались на нем, бедея на краях, волны.

Круц был очень занят, и поездка в заповедник все откладывалась и откладывалась. Но через несколько дней в райком явился неожиданный посетитель, заставивший Круца вспомнить обо всем и основательно задуматься.

Часов в десять утра, когда Круц только что пришел в райком и еще не успел даже отпереть ящики стола, дверь рывком раскрылась и вошел молодой высокий татарин в темносиней форменной, забрызганной грязью одежде, в облепленных черной грязью сапогах и с ружьем за плечами.

— Это ра-айком ко-омсомола? — спросил он громко.

— Да, — ответил Круц приветливо, но с подобающей ответственному работнику сдержанностью. — В чем дело?

— Вы ра-айком? — ткнул человек пальцем в сторону Круца.

«С чего он заикается, такой здоровущий?» — подумал Круц.

— Да, я секретарь райкома, — сказал он негромко и с достоинством.

— Вот хо-орошо! — человек радостно засмеялся, прошел в угол и, сняв с плеча ружье, поставил его. — Пэк якши!¹ — воскликнул он, подходя к столу. — Я ны-ырял, ны-ырял, пла-вал, пла-вал, думал — у-утону. А вот при-иплыл и нашел! Пэк якши. — Он стоял перед Круцем загорелый, грязный, подвижной и певуче кричал:

— Я-акши! У вас тут до-олжна быть одна девушка, комсомолка, Ми-ишина Маруся! Зо-олог по специа-а...

— Зоолог, да, — сказал Круц, не дождаввшись конца слова и с любопытством разглядывая посетителя. — Мишина у нас состоит на учете. Ну, и что же?

— Сты-ыдно вам, рай-ком! — закричал человек, размахивая рукой перед круцовским носом. — Она ва-аша комсомолка, а вы ее не-е защи-щаете! Ее тра-авят у нас,

ей не дают работать. Она такая де-евушка, у-ученый человек! Другая бы сбежала д-давно, а она все ра-аботает!

Очевидно, он считал, что все сказал, потому что вдруг успокоился, замолчал и даже сел в кресло возле стенки.

Покраснев, Круц несколько оторопело посмотрел на татарина и пробормотал:

— Она мне не говорила, что ее тра-авят. — Ему вспомнились огорченное лицо Маруси, его подозрительно-холодное отношение к ней, особенно вначале. «Чорт! Нехорошо получилось! И как она убежденно говорила о развале работы! Может быть, действительно, ее директор неверно утверждал, что Мишина сама кругом виновата? Если это так, то совсем нехорошо получилось». — Позвольте, а вы кто?

— На-аблюдатель Ши-иранов. — Простав, парень протянул Круцу руку.

Невольнo улыбнувшись, Круц пожал руку, твердую и темную.

— Очень приятно. Так! А почему вы сказали: плыл? — помолчав, спросил он, не зная, с чего начать получше разговор с незнакомцем. — Вы морем разве прибыли?

— Не одно мо-оре, а мно-ого! — сказал парень. — Ха-ха-ха! — захохотал он раскатисто, видя недоумение на лице Круца. — Ты думал морем, лодкой? Дорога грязная просто!

— Ну да, конечно! — С досадой («Опять сказал глупость!») опустил Круц на момент глаза. — А она вас не подослала? — спросил он подозрительно и в упор, забывшая о всяких «подходах» и действую, так сказать, «в брод». «Неужели в самом деле этот директор нарочно наговаривал на Мишину? — думал он. — Где тут правда? Такой почтенный, пожилой! Рассказывал о гражданской войне. Сам в боях участвовал... Конечно, не умею я еще разбираться в здешних людях. Надо найти суть!»

— Как так подо-ослала? — изумился парень: — Не-ет! Послала, думал? Я ей не сказал, что по-ойду, — вдруг не позволит! Мне еще на базар зайти надо, то-оварищ райком, — сказал он, вставая. — Но вы смотрите та-ам! Пугните, что ли, нашего О-османа!

— Это я так просто. — «Нет, конечно, не подослала. Она не такая. Сразу видно. Хотя вообще мне мало приходилось иметь с ней дела». — А какого это Османа вы советуете пугнуть?

— А ди-иректора Изабекова! Он ей соли и то для со-олонца не дает. И со-об-

¹ Пэк якши — очень хорошо.

упираясь в облачное небо, ветер бормочет, перебирая верхушки деревьев, и, только вдали замирая, потрескивает. . .

Олени пронеслись. Еще некоторое время Маруся стояла внизу, у подножия хребта, подняв голову, захваченная этим бурным движением. Потом пошла торопливо, балансируя руками, пробежала по толстому мшистому бревну, высоко перекинутому со склона на склон. Внизу звенела посиневшая от дождей речка, перекатывалась через пушистые, в темнозеленом мху, скользкие камни; от воды тянуло холодком.

Не опоздать бы! Вот сейчас, наконец-то, она и другие, — кто захочет, — скажут всем прямо и открыто то, что давно надо сказать. И это будет не разговор двух-трех человек, не в уголке где-нибудь, а на виду у всех, для многих ушей и глаз. Только бы говорили побольше, не мялись, не трусили! И факты, факты! Что скажет она сама? Маруся стала еще раз, наспех, укладывая в голове много раз продуманное.

На дворе — невиданное зрелище! — стояли две легковые машины, грузовик и две линейки. Марусе стало весело. Радостная, с легким сердцем, полная спокойной решимости (а перед глазами все еще, хотя и не думалось об этом, неслись олени, увеличивая невольную радость), Маруся, без шапки, в накинутом на плечи пальто, вошла в клуб.

Она пришла во-время: перед столом, за которым сидела комиссия по чистке партии, стоял Изабеков.

Все скамьи были заняты, кое-кто даже стоял в проходе. Одновременно проходили чистку и партийцы соседнего лесничества; там было больше членов партии, чем в заповеднике, но всего рабочих и служащих меньше, поэтому лесхозовцы приехали сюда. «Как хорошо, что у нас, — подумала Маруся, оглядывая сидевших и всюду видя знакомые лица. — Разве наши раскочались бы все куда-нибудь выехать?»

Она мельком увидела Круца. С серьезной сдержанностью на лице, он сидел между незнакомыми Марусе парнем и девушкой. Обрадованно удивилась, подумала: «Вот молодец, прикатил все-таки! Жаль, не ногами пришел». Одна легковая машина была, конечно, райкомовская. Потом увидела, — и в сердце вошла теплота, Маруся слегка покраснела, — Муртазаева. Умэр сидел рядом с Рустэмом Ширано-

вым и, сдвинув брови, глядя в пол, слушал, что тот наговаривает ему на ухо.

Муртазаева Маруся видела в последний раз, когда он пришел проститься. Просто и дружески они поговорили о будущей учебе и работе Умэра, о том, кто-то будет теперь начальником охраны (Изабеков отпустил Муртазаева, не назначив еще нового начальника), посмеялись. Но, перед тем как уходить, Умэр остановился посреди комнаты, его юное лицо стало серьезным, в глазах внезапно появилась тоска. Он протянул перед собой руку и сказал негромко и хрипло, точно что-то попало ему в горло:

— Онутмаиджак!¹ Сахгол! Мэним абла! — круто повернулся и ушел, не оглядываясь.

Маруся была тронута. Вскочив, она крикнула в открытую дверь:

— Сахгол, Умэр! Сахглыкнэн вар!

Ветловский, привстав, махал Марусе и указывал рукой: есть место! Маруся прошла, села на скамью возле Ветловского и сейчас же забыла обо всем, стала смотреть и слушать.

Изабеков был иным, чем обычно. Куда девались его неприступность, его столь величественная бесстрастность? Он жестиком лировал, усмехался почти подобострастно и по-стариковски: вот я какой, смотрите, совсем простой, бесхитростный, старый, меня и обидеть нетрудно! Надо понять меня, посочувствовать, пожалеть, защитить. . . Он то возвышал голос, то ослаблял до трагического шопота, в котором смутно звенели слезы; говорил он с большим акцентом, чем всегда, как бы подчеркивая свою национальность; временами совсем переходил на татарский.

— Судытэ мэне, граждане, и вы, уважаемая комиссия, облеченная такой очень высокой миссией проверить чистоту нашей великой и любимой партии большевиков! — говорил Изабеков. — Я рассказал вам свою жизнь, жизнь батрака и пролетарий, который только благодаря советский власти стал жив. . . Я рассказал вам, как был рядовой боец партизанского отряда Рабоче-Крестьянской Красной армии. И как поймали мэне кулаки. — Изабеков сморщился горестно, взволнованно произнес, начав шопотом и дойдя почти до выкрика: — И как били, били. . . палками, кнутами! — Он бил себя кулаками в

¹ О н у т м а и д ж а к — забываемая.

грудь, дрожал, не в силах совладать с тяжёлым воспоминанием.

Кто-то из комиссии поспешно налил в стакан воды из графина и протянул Изабекову. Он отстраняюще повел рукой, снисходительно и горько улыбнулся, сказал медленно и прочувствованно:

— И вот в грязном старом погрёбе я очнулся без сознания...

— Слушайте, — нахмуренная Маруся нагнулась к Ветловскому, — про этот грязный погреб я уже не раз слышала. А что он сперва говорил?

— Батрачил у какого-то кулака, — шопотом ответил Ветловский, сдерживая дыхание, потому что волосы Маруси, пахучие и нежные, касались его щеки. — Мучился в детстве, одним словом. Может, правда, только все равно вырос из него какой-то буржуйский подголосок. Между прочим, произвел впечатление, расчувствовал многих. Кто-то даже всхлипнул. Кажется, Настя Власова.

— Ну и пусть! — сердито прошептала Маруся и выпрямилась.

— Я стоял за генеральную линию партии всегда, всегда... На страже! И я получал свою долю истязаний... — Изабеков замолк, склонив голову, опустив глаза, в позе величайшей скромности.

Председательствующий — толстый человек, во время речи Изабекова мерно, с сочувственным видом кивавший головой, вздохнул, оглядел сидящих и спросил отчего-то печальным тоном:

— Имеются вопросы к уважаемому товарищу Изабекову?

Все молчали. Наблюдение Ветловского оказалось правильным: речь Изабекова, действительно, произвела впечатление. Маруся вздохнула, машинально сжала кулак. Ветловский заметил ее жест, усмехнулся про себя с отеческой жалостливостью; ему захотелось погладить этот небольшой кулачок. Засопев, он отвернулся.

— У меня вопрос! — резко прозвучало в тишине.

— Пожалуйста! — сказал председатель.

Встал Рустэм Ширанов. Маруся заметила, что Круц тоже привстал, вдруг отчего-то взволновавшись, и торопливо нагнулся к сидевшему впереди арабаджи Асану Гани, видимо спрашивая что-то о Ширанове.

— Меня интересует, за что-о товарищ Изабеков, как он есть член партии бо-оль-

шевиков, так лю-убит эту ж-жилу? — Рустем сел.

— Ж-жилу? — в недоумении переспросил председатель. — Что вы хотите сказать?

В некоторых местах послышался смех: кое-кто уже догадался, о ком говорит Ширанов.

Рустем вскочил:

— Я х-очу сказать — А-абдулаева. Оз тут всех давит, как... ведьмедь!

Раздался дружный хохот. Смеялись не только свои, а и лесхозовские. Многие тянули шеи, заглядывая на Абдулаева грузного, неподвижного, с напряженным налившимся кровью затылком.

— И-и еще я хочу сказать...

— Высказывания потом! — резко сказал председатель. — Сейчас вопросы.

— То-огда вопрос! — не унимался Ширанов.

— Ну? — нетерпеливо произнес председатель.

Рустэм привстал на носки, упираясь двумя руками в плечо впереди сидевшего. Им оказался Сидоров. Он дернулся снизу вверх, остолбенело посмотрел на Ширанова, прошипел: «Спятил, сумасшедший Рустэмка?»

— Что-о это за и-исключительное хамство с кормушками? — крикнул Рустэм.

— Выбирайте выражения! — раздражился председатель.

— Я-а их сам вез! — весь красный, кричал Рустэм. — Были це-еле-охоньки, ра-аз-ве один капельный дирка... А по-отом, че-рез три месяца дира — те-еленок пролезет! А Ма-арусе Мишиной выговор? Да про-о-вались он в нору барсучью, такой не-справильный приказ! Так... — в запальчивости Рустэм не сдержался и ввернул чересчур крепкое слово.

— Гражданин, вы удаляетесь из зала, — безапелляционно сказал председатель.

Рустэм поспешно опустился на корточки в тесном проходе между скамьями, скрючился за спиной у Сидорова, вызвав кругом смешки.

Сидоров, который, услышав, о чем спрашивает Рустэм, обмер и, зажмурив глаза, как во время домашней экзекуции, тоже весело захихикал вместе со всеми и погрозил пальцем Рустэму.

Председатель неприветливо поискал глазами.

— Он уже ушла! — крикнул с места Балджи. — К дверям пробралась!

Один из членов комиссии, маленький, худой старик, который все время, как в муфте, грел руки в лежавшей перед ним на столе барашковой шапке, наклонился к председателю и что-то сказал ему, жуя губами, потом вопросительно взглянул на Изабекова.

Изабеков задышал всей грудью как человек, до того возмущенный незаслуженным оскорблением, что у него нехватает дыхания.

— Разрешите ответить?

— Пожалуйста, товарищ Изабеков, — как бы извиняясь, мягко сказал председатель.

— На глупый вопрос наблюдателя Ширанова, — резко сказал Изабеков, обретя на момент и в голосе и во всей осанке свое всегдашнее пренебрежение к окружающим, — насчет оленьих кормушек даю ответ. Портил крыши сам наблюдатель Ширанов, а ви-но-ва-та и несет ответственность зоолог Мишина. Кто не знает, что Ширанов — лгун и пустой болтушка? — бросил он в зал и сверкнул глазами: — Об этом знают все!

Улыбки исчезли с лиц. У Круца появилось на лице сомнение.

— Теперь второй вопрос: за что я ценю товарища Абдулаева? За то, что товарищ Абдулаев — дальний человек, не в пример многим, и... преданный советской власти! — Затихнув, Изабеков бросил покорный взгляд в сторону комиссии, снова стал благожелательным, заслуженным, неприязненным, стареющим.

Больше вопросов Изабекову не было кроме одного. Низенький, длиннородый старик, попавший на чистку случайно, спросил, где Изабеков находился в девятнадцатом году, в июле месяце. Вопрос был задан робко и очень тихо, так что председателю пришлось дважды переспросить. Изабеков нахмурился на момент, потом снисходительно усмехнулся и сказал, что в девятнадцатом году, как уже было им сказано, он партизанил, а где находился именно в июле месяце — вспомнить не может. Старик-колхозник, стоявший с неуверенным видом, пока Изабеков отвечал, молча кивнул и сел, ни на кого не глядя.

Потом стали высказываться. Взяла слово Маруся.

Горячо, но стараясь не волноваться, ре-

шительно и твердо она сказала, что директор Изабеков — очень плохой член партии. Почему он плохой член партии? Потому что он — плохой работник. А плохой, недобросовестный работник не может быть хорошим членом партии. Чем же он плохой работник? Доказательств этого, к сожалению, очень много. Почему участились случаи браконьерства? Почему браконьеры почти не караются? Почему, выгнав метеоролога, другого до сих пор не нашли и работа на метеостанции идет кое-как? Почему не проводится никакой воспитательной работы среди наблюдателей и местного населения? Почему не строится загон для диких животных, что необходимо для подробных над ними наблюдений? Почему наблюдатели даже с самыми простыми и вместе с тем необходимыми и неотложными вопросами избегают обращаться к директору?

— Почему? — спрашивала Маруся.

И на всех лицах стоял этот вопрос: «Почему?» Было очень тихо. Марусин голос раздавался отчетливо: звонкий, уверенный и волевой, он звучал как призыв к какому-то немедленному действию. Только пыхтение кучера Асана Гани было слышно временами или чей-нибудь вздох.

Старенький член комиссии вынул руки из шапки, пригнулся к другому члену комиссии, русскому пожилому рабочему какого-то симферопольского завода, который с большим любопытством ко всем присматривался, и что-то стал шептать ему на ухо. Председатель смотрел вниз, на стол, и пальцем шевелил листок бумаги; выражение пресыщенности на его лице усилилось. Изабеков несколько раз искоса оглянулся на комиссию, побледнел, потом застыл.

— Почему товарищ Изабеков так все передоверил Абдулаеву? — говорила Маруся. — Я считаю, что Ширанов прав, что спросил, за что Изабеков любит Абдулаева.

Сразу в нескольких местах громко захлопали. Председатель позвонил в колокольчик. Подождав немного, Маруся продолжала:

— Никуда не годится такой завхоз, как Абдулаев! У нас есть наблюдатель Ахтэм Каранджи. У него пятеро детей, весной они насиделись голодные — Абдулаев ни муки, ни печеного хлеба не давал неделю. Что, не было хлеба в Алуште, в

Симферополь? Ерунда, всюду был хлеб! Мы часто получаем меньше продуктов, чем могли бы получать. Абдулаев изде...

— Прошу к порядку! — сказал председатель. Он поднял глаза от стола и уже некоторое время, прищурившись, пристально вглядывался в Марусю. — Мы нэ Абдулаева разбираем. Товарищ Абдулаев не есть член партии.

— Что же из этого? — возразила Маруся. — Директор Изабеков не мог не знать про все штучки Абдулаева и...

— Выбирайте выражения! — повысил голос председатель. — Я лишу вас слова. По собранию прошел легкий гул.

— Я сейчас прошу. — Глаза и щеки у Маруси горели; она провела рукой по волосам. — Я хотела сказать, что Абдулаев... Звякнул колокольчик.

— Да, именно Абдулаев! — нетерпеливо сказала Маруся. Секунду она помолчала, потом сказала быстро: — Он издевается над людьми! Пример — Лемме. Только нерешительность и мягкотелость товарища Лемме мешают ему подать на Абдулаева в суд за клевету. Не звоните, пожалуйста, — насмешливо обратилась она к председателю, который снова взялся за колокольчик, — эта клевета, несомненно, совершалась с ведома товарища Изабекова, а ведь он — член партии! И вот я считаю, — продолжала она уже спокойно, — что, будучи членом партии, товарищ Изабеков не оправдывает это высокое звание. По крайней мере, у нас. Я не знаю, как он работал в других местах. Вялый, равнодушный работник, идущий на поводу у некоторых из своих же подчиненных, он...

— Разрешите вопрос? — Синевато побледневший Изабеков слегка изогнулся в сторону председателя. — Кто же я, по мнению этой... зоолога Мишиной? Так расписала...

— Вы оппортунист! — звонко сказала Маруся. — Не думайте, что вашим действиям нельзя подыскать название.

Изабеков потемнел от ярости, руки его мелко задрожали.

Маруся села, и неожиданно протянул руку Асан Балджи. Среди заповеднических пролетело легкое, веселое оживление. Балджи приосанился, оглянулся и, краснея, кося по сторонам глазами, сказал:

— Мэн¹ шла и видит: Осман... Я хочу говорить — директор товарищ Изабе-

ков — стоит на огороде, бахчада. За что думаю, Осман... директор товарищ Изабеков получает пятьсот рублей?

Смех. Крики с мест: «Ай да Балджи! «Молодец Асан!» Зазвенел колокольчик.

В восторге от общего одобрения, Балджи продолжал:

— А потом, чего Марусю травят? Якши девушка! Якши научный!

Несколько мгновений тишины — все ждали, что Балджи еще что-то скажет, но он молча постояв, вдруг сел.

Потом говорил Муртазаев:

— Я уже нэ здесь теперь, — сказал он сумрачно и немного виновато. И коротко повторил то, что говорила Маруся.

Поднялся Ветловский, сказал, неловко усмехаясь и крутя рукой:

— Обращаться к директору Изабекову по научным вопросам, даже если это касается какого-нибудь сачка или... дрючка... или... сетки, которые хотя в прямом смысле научного значения не имеют, но не в этом дело... — абсолютно бесполезно! Между прочим, товарищ Изабеков выглядит как помещик в своем имении, распоясанный, обрюзгший, ленивый...

— Без оскорблений! — сказал председатель.

— Почему говорить не даете? — вызывающе крикнула с места Маруся.

Но Ветловский уже сел, и опять было некоторое замешательство, так как не поняли, кончил он говорить или нет. Петрова, скучно говорившего несколько минут о том, что работа, действительно, не на высоте и что при Макарове было гораздо лучше, слушали уже без всякого внимания.

Не произвела впечатления и заключительная речь Изабекова, во время которой он, хотя и слегка утомленно, бил себя все-таки кулаком в грудь. Только в одном месте этой речи многие лица выразили интерес и удивление, а Лемме так и привскочил на своем месте, разинув от неожиданности рот: «Ах ты, дрянь такая! Вон как повернул, подумайте!»

— Это прэсловутое дэло Лемме! — Со снисходительной усмешкой Изабеков пожал плечами. — Смэшно слышать, как возмущается товарищ Мишина. «Издэвательство над человеком!» Ха-ха! Ничего подобного не было. Должен огорчить товарища Мишину и раз навсэгда рассеять неправильно нарисованную ею картину. Что имэло мэсто на самом деле? Мы выясняли прошлое гражданина Лемме, нами

¹ Мэн — я

руководила исключительно бдительность. Это первое. Второе: гражданин Лемме не справлялся с работой делопроизводителя. Мы перевели его на менее квалифицированную работу. И все! И в данном случае, как и всегда, зоолог Мишина суется не в свое дело!

Чей-то удивленный голос крикнул за-поздало:

— А Марфа лучше работает, что ли?

Председатель позвонил, но в этом не было необходимости. Без тени смущения Изабеков изливался дальше.

Но все-таки у всех было такое чувство, точно что-то сдвинулось с места, произошло что-то важное и долгожданное. Когда объявил председатель перерыв, все повскакали с мест, взволнованные, заговорили оживленно и шумно.

Несколько раздосадованный неуспехом своего последнего выступления, но державшийся с благожелательным, чуть снисходительным достоинством, Изабеков повел к себе обедать председателя и старенького члена комиссии. Третий член комиссии от приглашения Изабекова отказался, уселся на пригорке вместе с лесхозовскими и наблюдателями; они разложили на земле свертки с едой. Настя Власова и Зэминэ притащили по ведру огурцов.

Круц подсаживался то к одной кучке людей, то к другой, прислушивался к разговорам, изредка сам вступал в беседу. Наблюдатели отвечали ему охотно, смотрели на него с приветливым любопытством и с уважением.

Причиной этой популярности секретаря райкома, совершенно неожиданной для него и немного его смущавшей, так как он явно ничем не заслужил такого к себе отношения, был Рустэм Ширанов. Рустэм приветствовал Круца как старого знакомого издали, через головы сидевших, кивал ему, делал таинственные, поощрительно-одобрительные знаки и еще до перерыва успел каким-то образом сообщить большинству наблюдателей, что этот черноволосый паренек — «бо-ольшой человек, не гля-ади что мо-олод — не в се-едине радость», что за интересы наблюдателей он «стоит го-орой» и что Изабеков его отчаянно боится. Опасаясь, как бы до Маруси не дошло, что он ходил в райком, и она бы на него не рассердилась, — она была не из тех, кто позволяет себя жалеть, — Рустэм нарочно не говорил о Круце, кто он

такой, и у многих сложилось убеждение, что это приезжий откуда-то из центра.

Присев на ступеньки клуба возле старичка-колхозника, спрашивавшего Изабекова про июль девятнадцатого года, Круц от души похвалил его палку. Палка, действительно, была великолепная: толстая, сплошь покрытая резными, очень тонкими и замысловатыми узорами, она была выкрашена красной и золотистой охрой, а местами лазурью.

— Неужели вы сами сделали такую? Замечательно!

— Резал сама, — улыбнулся краем сухих, тонких губ старичок. — Красила внук младший. Школьник.

— Чудесная палка! Настоящее произведение искусства!

— Нравится? Хочешь, дарю? — Неторопливым жестом старческая рука спокойно протянула палку.

— Что вы! — покраснел Круц. «Может, нельзя сильно хвалить? Может, я вроде попросил?» — Спасибо! Не надо мне. — Он поспешно привстал и потянул за рукав проходившую мимо Марусю, очень довольный предложением замять разговор о палке:

— А ты ведь здорово говорила, Мишина! Молодец!

— Собрался все-таки к нам? — весело сказала Маруся. — Хвалю! Ты заходи потом ко мне! Вон на верхнем шоссе дом. Потолкуем.

— Идет!

Маруся отошла.

— Скажите, пожалуйста, — стараясь не глядеть на палку, сказал Круц, — вы что, прежде знали здешнего директора?

— Изабеков? — Старичок пожевал губами, пробормотал неохотно: — Не-е...

— Я думал, что может быть... Потому что вы ведь спрашивали, где он был...

В это время в клубе призывно зазвенел колокольчик. Кончился перерыв. Оба встали. Но на этом не кончилось знакомство Круца со старичком-колхозником.

Недели через две, после того как проходил директор Изабеков чистку, Петров сидел, кутаясь в пальто, за столом в своей комнате и, читая «Записки научного общества естествоиспытателей», медленно ел кашу прямо из кастрюли. Раскрытый журнал, прислоненный к стеклянной банке.

стоял прочно, но неудачно падал свет: мелкая печать сливалась, хотя Петров был дальнорезок.

Сильно раздражаясь, Петров двигал журнал то туда, то сюда. Только вчера его основательно трепанула малярия, в голове еще гудело, в ногах, в спине была тягучая слабость. Все раздражало ботаника: и то, что он ест из кастрюли, а тарелки вдруг оказались все грязными — явление необычное, он всегда очень аккуратен, — и то, что печать плохо видно, и что каша невкусная, и что писем от Елены Дмитриевны не было. И то, что жена совсем не пиала ему, было во всем, во всем — и в каше, и в тарелках, и в мозгу, и в сердце. . .

Нехотя, из сознания, что есть необходимо, Петров ворочал во рту кашу.

Постучали в дверь: неуверенно, точно поскреблись. Потом вдруг стукнули сильно, наверно, кулаком.

— Войдите! — как всегда негромко сказал Петров.

Снова сильный стук, закончившийся поскребыванием.

— Войдите! — тонким голосом крикнул Петров и уже хотел встать.

Но в это время дверь, наконец, открылась. Показался Ветловский в пальто и затрепанной меховой шапке с прорехой на боку.

Петров очень удивился, — и при Елене Дмитриевне Ветловский к ним заглядывал в полгода раз, непременно по делу и на минуту, а без Елены Дмитриевны он пришел впервые, — но ничем удивления не выказал и безразлично продолжал есть.

— Здравствуйте! — сказал Ветловский, посмеиваясь от неловкости, и без приглашения плюхнулся на стул. — Приятного аппетита! Между прочим, я никогда не подозревал, что вы способны есть из кастрюльки. Я думал, это только моя привилегия.

Петров молчал, вяло двигая ложкой.

— Вам есть из кастрюльки как-то не пристало, — усмехнулся Ветловский и завозился на стуле. — А почему вы, между прочим, кашу жуете? Или у вас каша очень жесткая? — На момент в его голосе мелькнула интонация детски-непосредственного любопытства.

Ботаник положил ложку и с отвращением доглатывал, собираясь спросить с уничтожающей вежливостью: «Чему я обязан вашим любезным посещением?», как

вдруг Ветловский сказал громко, быстро и взволнованно, дрожащим голосом:

— Сергей Николаевич! Где Маруся?

Петров повернулся, посмотрел на Ветловского своими унылыми глазами и чуть не подавился кашей, еще оставшейся у него во рту. Вид у Ветловского был совершенно растерянный: лицо бледно, рот беспомощно искривлен, шапка надета задом наперед, в глазах испуг и недоумение.

— То есть? — сказал Петров, проглотив наконец кашу. — Я вас не понимаю.

— Но ее нет! — вскричал Ветловский. — Ее нет уже третий день. Ее нет! Просте нигде!

— Позвольте! — поморщился Петров. — Не кричите же как истеричная женщина! Третий день? А что она сказала, когда уходила? Вы видели ее перед уходом?

— Она никуда, никуда не уходила, — сердито и жалобно сказал Ветловский. — Вы, между прочим, сами малярик, а меня истериком называете! Как же вы не понимаете? Она, между прочим, сказала, что никуда не пойдет эти дни, что ей надо обрабатывать материалы. Да и она была немного простужена. . . И вдруг ее нет! Я уходил к Лемме занять склянки для морилки. Жена его мне нашла две паршивые и мало подходящие банки из-под варенья. Но не в этом дело. . . Прихожу назад — дверь на запоре, Маруси нет. И потом ее все нет! Я спрашивал у Зэминэ, у Насти, у Бекира. Никто не знает. Зэминэ сказала, что видела ее в последний раз в библиотеке. Я и Сыдоева хотел спросить, — он ведь наш библиотекарь, — да он в таком виде. . . нелицеприятном. Пьет уже третий день. И где водку взял? Тогда я нарушил свое табу и пошел к вам. . . Может быть, вы знаете, где она, между прочим? — спросил он умоляюще. Потом взволнованно и сбивчиво: — Ведь она меня почти всегда предупреждает, когда уходит. Даже летом! Так это невольно принято у нас. . . Или оставляет записку, случается. . . А сейчас — ничего! Только не начинайте опять жевать вашу твердую кашу! — сказал он торопливо, так как Петров, сидевший неподвижно, зашевелился. — А скажите, что делать?

Но Петров и не думал есть кашу. Он встал, продел руки в рукава пальто и молча направился к двери. На пороге он оглянулся. Видя, что Ветловский продолжает сидеть, устремив на него непонимающий испуганный взгляд, он сказал негромко и вяло:

— Пойдемте же!

— Куда?

Петров молча побрел. Ветловский догнал его, как-то даже подскакивая на длинных ногах от торопливости.

Солнце стояло высоко, но дул холодный ветер. Земля затвердела от стужи. Петров поднял воротник пальто.

Взобравшись по крутой тропинке, они подошли к марусиному дому.

— Я был тут тысячу раз! — нервно сказал Ветловский. — Ну, висит замок! Чего вы здесь не видели?

— Мария Алексеевна, — однотонно проговорил Петров, зачем-то вертя в руках замок и приглядываясь к нему, — пошла, разумеется, к кому-нибудь из наблюдателей... По делу... И вы напрасно думаете, что она обязана вас ставить в известность о каждом своем шаге. Третий день, вы говорите? Значит, два дня. Это немного. А вот это вы видели? Хотя бы не тысячу, а один раз? — Он снял без всякого усилия вместе с кольцами замок и поднес его к носу оторопевшего Ветловского. — Кольца вывихнуты. Замок кто-то дергал. И довольно основательно.

— Что же... Отчего это? — шопотом спросил Ветловский.

Петров толкнул дверь. Они услышали хлопанье оконной рамы, позвякивание стекла. Ветловский ринулся через маленькие сени.

— Окно не закрыто! — крикнул он. — Словно она вышла на минутку.

Мельком оглянув сени, Петров тоже вошел.

— Какое же на минутку? Вы же видите: листьев и сучьев набросало в окно И весь подоконник мокрый.

Он прошел в другую комнату. Ветловский в растерянности следовал машинально за ним.

— Может быть, вам известно, — с обычным унылым видом спросил Петров, — содержание письменного стола Марии Алексеевны? — Он подошел к небольшому столику, где были сложены книги и тетради Маруси.

— А вам-то что? — подозрительно взглянул Ветловский. — Знаю, не знаю?

— Конечно, волнение ваше, Станислав Михайлович, отчасти извиняет ваше... простите... недомыслие. Разве вы не видите, что ящик стола открыт? Кто-то в нем рылся. Будем надеяться, что сама Мария Алексеевна.

— Как? — вскричал Ветловский, бледнея. — Господи! Вы думаете, с ней что-нибудь случилось? Голубчик Сергей Николаевич, да что же это? Правда, правда! Ящик открытый, кто-то рылся... — бормотал он в смертельном испуге, наступая на Петрова и почти касаясь его грудью.

— Не хватайте меня руками! — раздраженно отстранился Петров. — Не выношу! Кстати, вот кровать смята. Насколько я знаю Марию Алексеевну, она бы перед уходом привела ее в порядок.

— Да все, все... Никогда ни одной складочки.

— А это что? — Петров поднял с пола книгу, прочел медленно: «О куроводстве». — Не знал, что Мария Алексеевна интересуется куроводством.

— Какое куроводство? Вы что, смеетесь надо мной? При чем тут куроводство? — Ветловский вырвал из рук Петрова книгу, повертел ее бестолково и уронил, не замечая этого, на пол. — Вы благородный человек, Сергей Николаевич, хоть вы и камба... ботаник. Найдите ее! Вы, может быть, между прочим, сумеете... Я вам, хотите, с любой вершины Ай-Петри, Роман-Коша сто растений достану? Миленький! — бормотал Ветловский почти бессмысленно.

Петров слабо улыбнулся:

— До чего вы невыдержанны, Станислав Михайлович! И ребячливы! Сейчас мы заявим Изабекову. Не думаю, чтобы что-нибудь случилось. Безусловно, мало вероятно. Но мы обязаны разузнать. Обзвонить всех наблюдателей, к кому проведен из управления этот наш допотопный телефон. И так далее...

Петров подошел к открытому окну в первой комнате и, перевесившись через подоконник, заглянул вниз. Это окно выходило на узкий, глубокий овражек; пройти под окном было почти невозможно.

— Почему вы смотрите туда? — оторопело прошептал Ветловский.

— Просто так. На всякий случай.

— Надо туда, может быть, слазить? Я сейчас!

— Незачем, — довольно мягко сказал Петров.

Ему стало жаль Ветловского. «Вели этому несчастному сейчас в огонь, в пропасть лезть — ползет немедленно», — подумал он.

В глубине души Петров тоже не был спокоен. Он не рискнул сказать Ветлов-

скому, что чувствует себя немного виноватым. При виде поврежденного замка он вдруг вспомнил, что на-днях, — и как раз это было дня два назад, — отправляясь на рассвете в лес, он видел стоявшего у марусиной двери Абдулаева. Он даже обратил тогда внимание, — правда, мельком, — что у Абдулаева совершенно взбешенная физиономия, буквально перекошенная отчего-то, и подумал: «Какая все-таки отвратительная личность!»

Как почти всем окружающим, Петрову был неприятен Абдулаев, особенно абдулаевский голос. Петрова безмерно раздражало, что голос этот так тонок; он даже как-то задумывался, отчего это может быть при таком массивном телосложении? Видимо, трахея или гортань Абдулаева имели какой-то хронический порок. Но, в сущности, Петрову было глубоко наплевать на Абдулаева, как и на очень многих; вдобавок в тот момент у него начинался приступ малярии. Он просто пошел своей дорогой.

И Марусю он, действительно, не видел ни разу с тех пор. Но ведь ему случилось не видеть ее по нескольку дней. «Непременно надо было поинтересоваться, что делал этот субъект у марусиной двери. Чорт его, в конце концов, знает?» — думал Петров.

На плите лежал коробок спичек. Петров взял его, вынул из кармана другой коробок, пустой, и принялся перекаладывать спички.

— Вы, как видно, всегда с собой пустую коробку таскаете? — вздыхая от нетерпения, но все-таки язвительно, заметил Ветловский. — Да берите вы весь, скорей будет!

— Вы никогда не слышали, Станислав Михайлович, — Петров закрыл наполовину полный коробок Маруси и положил его на плиту, на прежнее место, — что брать вещи у человека отсутствующего и местопребывание которого неизвестно не полагаются?

— Почему это?

— Дурная примета.

— Так положьте же назад, чорт возьми! — испуганно закричал Ветловский, переступая ногами, как лошадь, на одном месте. — Вы ведь взяли сколько-то спичек.

Петров чуть-чуть улыбнулся:

— Я взяла так немного, что это не имеет значения. Оказывается, вы и в приметы верите!

Когда вышли из дома, он аккуратно вставил кольца вместе с замком.

Изабеков отдыхал после обеда. Жена его, стоя в дверях, показала пальцем куда-то за спину, приложила на момент руку к щеке и молча покачала отрицательно головой.

Ветловский заорал:

— Все равно сейчас разбужу! Все равно!

Когда жена Изабекова ушла, плотно прикрыв за собой дверь, он спросил, не умеряя голоса:

— Между прочим, она, верно, что ли, немая?

Петров пожал плечами.

Через некоторое время Изабеков вышел, заспанный и неприязненный.

— Почему? — бросил он коротко.

Петров движением руки заставил Ветловского молчать и сухо сказал:

— Два дня нет зоолога Мишиной. Вам неизвестно, где она может находиться?

— И по этому поводу вы беспокоите уставшего человека? — насмешливо спросил Изабеков. — Почему я знаю, где и у кого таскается эта... дэвчонка, так любящая слоки?

— Как вы смеете? — крикнул Ветловский, багровея.

— Да помолчите же, Станислав Михайлович! — раздраженно сказал Петров. — Товарищ Изабеков, — холодно обратился он к директору, — мы обязаны выяснить это. Некоторые обстоятельства... нехороши. Например, замок на ее двери почему-то сломан. Затем она непременно должна была быть дома. Она специально сказала товарищу Ветловскому, что никуда не пойдет. Надо опросить всех. В первую голову — товарища Абдулаева. И позвонить на казармы.

— Почему именно Абдулаева? — с неудовольствием и досадой спросил Изабеков, но, против воли, в лице его недоброжелательность смешалась с беспокойством.

— После вас начальство — он, — безразличным тоном сказал Петров.

— Сейчас я надэну шапку.

Молча они дошли до дома Абдулаева. Ветловский громко сопел, шагая вслед за Петровым по пятам. Уже и капли всегдашнего презрения к ботанику в нем не осталось; тревога его росла, и он смотрел на Петрова с безвольным и детским выражением страха и надежды, чем очень того раздражал.

Марфа Абдулаева высунулась из спальни с помятым и подпухшим лицом, точно она только что спала, уткнувшись в подушку, или плакала. Несколько секунд она с молчаливым испугом смотрела на вошедших. Потом сказала тихо и неуверенно:

— Садитесь, товарищ Изабеков!

— Где товарищ Сеитабла? — спросил Изабеков, не садясь на подставленный табурет.

— Его нету, — ответила Марфа и стала смотреть в пол.

— Где же он? — спросил Петров.

— Не знаю, — сказала Абдулаева.

— Он в город поехал? — спросил Изабеков.

— Может быть, в город, — сказала Абдулаева. — Не знаю.

— В Алушту? Или в Симферополь? — перебивая друг друга, враз спросили Петров и Изабеков.

Марфа молчала.

— Да отвечайте, чорт возьми! — крикнул Ветловский.

Робость покинула Абдулаеву.

— Чего ты кричишь на меня? — подбоченясь, закричала она. — Насекомая! Я те покричу!

— Товарищ Абдулаева! — Угрюмое беспокойство уже явно проступило на лице Изабекова. — Отвечайте, где ваш муж?

— Не знаю я, товарищ Изабеков. Не знаю, — сказала Марфа. И вдруг залилась слезами. — Не... могу я... отвечать.

— Однако вам придется все-таки, — прозвучал у них за спиной спокойный голос.

Все обернулись. Изабеков сильно вздрогнул. Через порог перешагнул незнакомый человек в коричневом пальто и мягкой городской шляпе. Из-за спины его, сдвинув брови на внимательном лице, выглядывала Маруся. Она увидела Ветловского и звонко спросила:

— Вы не хватились меня, Станислав Михайлович?

Ветловский, по дороге сильно толкнув Изабекова, метнулся к двери с дикой радостью на лице. Петров посторонился от Ветловского, вздохнул облегченно и посмотрел в окно: блестя на солнце черными боками, посреди двора стояла легковая машина.

— Итак, гражданка Абдулаева, вам придется рассказать все подробно! — повторил незнакомый человек. — Присядьте и никуда не выходите! Вы задержаны.

— Я есть директор! — с подобострастной улыбкой приблизился Изабеков.

— Очень приятно, — сказал человек. — Будем знакомы. Следовательно Семенов. Надо немедленно отыскать и задержать бухгалтера Сыдоева, — повернулся он к двери.

Тогда все заметили, что на крыльце стоит милиционер.

— Быстро и без шума, прошу вас!

10

Вот что случилось с Марусей.

Начатый годовой отчет лежал на столе и нарочно целый день не убирался. Маруся решила никуда эти дни не уходить и во что бы то ни стало отчет кончить. Но писать не хотелось. Она распахнула окно.

Волны теплого, немного сыроватого воздуха потекли в комнату. День был мягок, задумчив. Было часов пять вечера. Стволы сосен горели; тени, удлинненные уже, сползали с гор.

Маруся подставила лицо солнечным лучам, полузакрывает глаза. Только здесь, на юге, может быть такая погода в ноябре! В одном платье, она почти не ощущает свежести. Как величественно и ровно стоят сосны! А прямо перед окном уходит вверх гора, на ней — тесные, неровно стоящие ряды стволов, толстых, тонких, с переплетом веток. Сейчас их видно хорошо, а летом стволы только мелькают кое-где. Гора косматая, заросшая, волнистая и кажется гораздо ближе, чем теперь, — протяни руку и дотронься, погладь эту густую зеленую шерсть!

И всегда тут тихо-тихо, спокойно... Что бы ни случилось вокруг... И только вода журчит. Стоит сесть где-нибудь смиренно — и сейчас же со всех сторон охватывает глубокая тишина, разбиваемая лишь этим бесконечным звуком — легким звоном бегущей воды. Даже если ветер и ураган, и дождь, и снег валит — все равно, спокойно, величественно, изумительно красиво...

Марусе вдруг мучительно захотелось шума, людского движения, голосов, громкого смеха. Захотелось бежать куда-нибудь с подругами, смеясь и болтая, торопиться, бояться опоздать, толкаться в трамвае, пойти в кино, — пусть картина глупая, неинтересная, — все равно! Они ведь могут уйти из кино, просто... в горелки побегать, что ли.

Она вдруг так ярко почувствовала это

ощущение, которое бывает только в детстве или в ранней юности, — ощущение предельно-живой жизни, стремительного движения, когда внутри все бьется, трепещет. Вот в прятки играют, надо прятаться, а тут как назло чулок отстегнулся, а все уже разбежалось — скорей, скорей! Так и дрожь вся, мчишься-мчишься, так и не пристегнув чулка, куда-нибудь в угол, под лестницу. Сидишь там с бьющимся сердцем, а потом несешься, летишь, не помня себя, застучиваться. А то в казачьи-разбойники... Двор у них был большой, дурно мощный — жили на окраине, недалеко от завода, где работал, тогда еще живой, отец; детей во дворе было много...

Да какие горелки? Ведь там сейчас зима, зима! Падает снег, может быть, мороз... Мама идет из школы, вся белая, руки засунула в муфточку, — наверно, все в ту же старую, с вылезшим мехом, — разве мама соберется себе купить? А, может быть, сестра и купила ей.

«Мама!» — Маруся улыбнулась со слезами на глазах. Ей показалось, что она не видела мать много-много лет, полжизни. Какие у нее морщинки на лице, смешные, милые! Потрогать бы каждую пальцем, поцеловать! Прижаться крепко, крепко! Наверно, морщинок стало еще больше. Когда она, год назад, ездила ненадолго в отпуск, она и тогда заметила, что мать сильно постарела, волосы побелели почти совсем. И как всегда мать говорила без конца о школе, о своих учениках. Как послушаешь ее, все эти первокурсники, второкурсники — такие чудные, одаренные дети. А на самом деле, наверно, обыкновенные сорванцы и проказники. Комса! Как они еще маме за двадцать лет учительства не надоели?

Как-то там сестра? Как Галка? Под галькину диктовку сестра пишет Марусе уморительные письма. Маруся вспомнила, как отводили они с Ветловским Гальку в Алушту. Галка бежала впереди по шоссе, ежеминутно останавливаясь, возвращаясь. Хватала в рот терпкий, твердый терн, кизил, агину — каждую встречную ягоду. Потом заснула у Ветловского на спине.

И он нес ее с мирным, чуть-чуть опасливым выражением на лице... Смешной, милый Ветловский!

«Нет, я уеду отсюда, я не могу больше! Ну, что? До каких пор я буду здесь сидеть? Мама так соскучилась: в каждом

письме — ожидания, забота, а теперь — и недоумение и даже тревога. «Почему ты не едешь? Когда же приедешь?» А прежде, когда узнали, что приеду поступать в аспирантуру, в каждом письме была радость». И она сама, Маруся, реже стала отвечать на письма. И пишет сухо... Нехорошо! Но что им сейчас писать?

Маруся глубоко задумалась, подпершись руками.

Приподнятое настроение, охватившее всех во время чистки партии, быстро прошло. Изабекова не исключили из партии, как надеялись многие; он даже не получил никакого выговора за плохую работу. Все осталось попрежнему. Только теперь директор и завхоз презирают и ненавидят Марусю более открыто. Иногда так посмотрят — кажется, так бы и съели... И другие, — кое-кто, — за ними понемножку тянутся.

На Изабекова и Абдулаева ей наплевать, но вот прошлый раз Сидоров... Так было неприятно! Хотя Сидоров и лиса известная, но такого она от него все-таки не ожидала. Они шли по лесу и говорили о последнем учете оленей. И вдруг Сидоров сказал:

— Конечно, я вас сильно уважаю, Мария Алексеевна... Мы, конечно, всегда... Однажды... Шила в мешке не утаишь! — Он заискивающе заглядывал ей в глаза, вертел шеей. — Оленчиков-то стало меньше-меньше...

— Что за дикость! — От удивления Маруся даже остановилась. — Как меньше? Вам лучше, чем кому-нибудь, Силаантий Прокофьевич, должно быть известно, что делалось здесь в гражданскую войну. Выбили дичь почти до нуля. Однако мы уже превысили дореволюционный уровень.

— Так-то оно так! Да вот в последнее время что-то их меньше стало. — Теперь Сидоров не смотрел на Марусю, а суетливо заглядывал вперед.

Маруся пристально посмотрела на Сидорова; на сердце у нее стало тяжело.

Ну что ж, уехать — так уехать! Вот она уедет, и эти Изабековы и Абдулаевы будут торжествовать: «Ага! Испугалась! Отступила! Выжили-таки!» Позже придет человек, — все равно, кто он будет по специальности. — более энергичный и умелый, чем она, перед которым не устоят уже они. Да и здесь, на месте, есть настоящие люди, которые в конце концов сумеют справиться с Изабековым. Конец

таких «работников», как Изабеков, неизбежен, хотя бы и удалось ему сейчас «статься в партии. Их участок невелик, отдален, глух, в общем масштабе страны он — лишь маленькая деталь. Ничего, радостная, подлинно советская жизнь наступит, конечно, и здесь.

Она хорошо знает все это, но... все-таки тяжело. И ведь, пожалуй, она уже не увидит, как эти чужие, скверные люди уступят место людям настоящим... Не увидит? Но почему же? И какая она после этого комсомолка: уезжать от трудностей? Как смеет она уехать, если чувствует, что уезжать сейчас нельзя, что работа от этого еще больше пострадает? Как она покинет здесь своих друзей? Как она товарищам своим и маме, — хотя мама ее и ждет, — и всем посмотрит в глаза, раз она уехала, когда могла еще помочь? И ведь из гордости она тоже уехать не может. «Выжили!» Может быть, это низкое чувство — гордость в данном случае? Нет, не низкое.

У Маруси опустились руки, сильно сжалось сердце: «Значит, остаться? Добиваться до десятого пота улучшения работы? В этой атмосфере неприязни, недоброжелательства, насмешек? Конечно, она не одна. Да много ли проку вышло? Драться по мелочам ежедневно. Кормушки, сетки... Лисиц пора травить, а отравы для лисиц почти нет, — надо итти разговаривать. Тьфу!

А учиться можно всюду. Написать — пусть ей пришлют непременно еще книг, новых журналов... Изю дня в день всё эти дрягни! А рядом все время Ветловский, смешливый, хороший, любящий. Это все-таки скрашивает жизнь. Но может ли так тянуться у них без конца? Что же, может, выйти в самом деле замуж за Ветловского? Ведь он такой хороший, он многого еще не понимает, но можно ему вложить в сознание, открыть шире глаза, выучить...

Маруся сильно покраснела: «Ну, деду-малась!» Нет, этого она, конечно, не может, сделать. Она не любит никого другого, но... Нет! Ведь она еще многих людей не видела, какие есть другие... Как во всякой девушке, в Марусе жило бесознательное чувство ожидания: вот он придет — настоящий.

Вечер был теплый, но Маруся все-таки прозябла у окна. От огорчения и тоскливости ей захотелось спать. Она захлопнула окно, легла на кровать, колени к подбород-

ку, с головой накрывшись пальто. Лежала несколько минут неподвижно, точно затаившись, даже сдерживая зачем-то дыхание. Потом высунула из-под пальто порозовевшее лицо, с кровати поглядела в окно.

Над горой небо вспыхнуло нежными, розоватыми тонами, гора потемнела. Скоро здесь будут глухие сумерки, потом — черно, а в долинах еще яркий вечер... До чего тихо-тихо! Хотя бы ветер поднялся, что ли, деревья бы закачались!

Слабый, мерный звук: тук-тук-тук! тук-тук! «Точило мое завозилось», — подумала Маруся. В ящике стола поселился где-то жук-точильщик. Ветловский предлагал его найти и изъять. Маруся сказала: «Не надо, пусть себе живет! Меня не раздражает. И стол не провалится». — «И правда, хорошо, что не выгнали его: все-таки не одна».

Но этот негромкий, сухой и однотонный стук только резче оттенял тишину. «Уж не собираюсь ли я плакать? Это было бы форменное идиотство!» Маруся сердито натянула поплотнее на ноги пальто, сбивая одеяло. Из кармана пальто выпал на пол распечатанный конверт. Маруся дотянулась и подняла. Это было последнее письмо Прутникова.

Сашка работал на метстанции в Джанкое. Мелким и залихватским, со множеством завитушек, почерком он писал:

«Живу ничего себе, но здорово скучно. Вообрази, здесь скучнее, чем даже в вашей благословенной дыре. Я приписываю это отсутствию одной молодой особы, при взгляде на которую сразу легче становилось жить. Нет, кроме шуток, мне до чортиков нехватает тебя, Марусёнок! И со скуки я даже чуть ли не наизусть выучил физику Косоногова. Данное обстоятельство доказует, что во всяком плохом есть крупица хорошего. А никакого возмездия за учиненное перед отъездом словесное бесчинство я так и не понес. Некоторое время я ждал все-таки какой-нибудь репрессии по новому местожительству. Хоть бы хны! Удивляюсь нерасторопности этого «превосходного» завхоза Абдулаева и его патрона».

«Вот и Сашки нет, — подумала Маруся. — Задрыхну сейчас. Как сурок! Ветловский придет от Лемме — разбудит».

Она закрыла глаза, но сейчас же открыла их: кто-то вошел, тяжело ступая, в первую комнату.

Приподнявшись на локте, Маруся окликнула:

— Кто там?

Молчание. Только какое-то сопение, всхрапывание. Заскрипела табуретка: вошедший грузно сел.

Маруся вскочила, сбросив пальто, всунула ноги в туфли, выглянула в первую комнату.

На табуретке у стола, наклонив голову в меховой шапке, сидел арабджи Асан Гани.

— Здравствуй, товарищ Гани! Что же ты не отзываешься?

Маруся пригладила волосы, села на другую табуретку против кучера.

— Ну, что скажешь, арадаш Гани?

Еще некоторое время Асан Гани молча глядел в пол, потом сказал хрипло:

— Ты месткома, Маруся?

— Да, я секретарь месткома. А у тебя дело в местком? Я тебя слушаю.

— Ну, что же ты молчишь, Асан Гани? — спросила она с легким нетерпением, подождав немного, и передернула плечами: она, кажется, еще больше простудилась, сидя без конца у открытого окна. — Ох, из тебя слово вытянуть...

Асан Гани медленно поднял голову. Выражение его небольших, тускловатых, всегда отчего-то немного покорно-печальных глаз поразило Марусю. В глазах колебались угрюмый страх, тоска, горесть и за всем этим — упорная, яростная решимость и еще что-то. Оскорбленная гордость, ненависть? Это были глаза человека, внезапно решившегося на какой-то безмерно трудный, даже мучительный шаг.

Инстинктивно Маруся стремительно протянула руку, легонько коснулась плеча кучера, по-татарски прошептала взволнованно:

— Асан Гани! Нэ сэн? ¹

— Ты месткома, Маруся, — натуженно повторил Асан Гани, опуская голову. И снова — лишь прерывистое, густое дыхание. Повидимому, Асан Гани приготовил какую-то речь, но находил в себе силы выговорить только первую фразу.

Разбивая гнетущую тишину, Маруся встала:

— А ведь у меня чайник еще горячий! — Слегка вздрагивавшими руками она налила стакан чая, поставила на стол перед

кучером, рядом с блюдечком положила два больших куска сахара, сказала ласково и как можно спокойнее: — Пей, Асан Гани! Пей, пожалуйста, скорей, пока не остыл!

Потом проворно налила чаю себе и стала усиленно пить ложечкой, поглядывая внимательно и настороженно, с участливым любопытством на Асана Гани.

— Пей же! — мягко укорила она. — А то скажешь еще потом: «Плохая хозяйка чаем поит холодным».

Арабджи притронулся было толстыми пальцами к стакану, но, не взяв стакан, сжал руку. Тяжелый кулак, точно крупный булыжник, лег на краю стола. Асан Гани прегудел с напряженной силой:

— Мэн нэ хочет больше возить Абдулаев.

— Ты не хочешь больше возить Абдулаева? — негромко переспросила Маруся. — Почему?

Асан Гани шумно выпустил воздух из ноздрей. Маруся терпеливо ждала.

— Он ударил минэ, Маруся! — сказал Асан Гани, и кулак его, лежавший на столе, судорожно сжался.

— Абдулаев ударил тебя? — воскликнула Маруся. — Ну что за хамство! Бить подчиненного — этого еще нехватало! Мы, конечно, обсудим это на месткоме. Это ему даром не пройдет, пусть и не надеется! А за что он тебя ударил?

— Мэн зашел харчевню, сказал: «Лошадь не может больше стоять. Кушать кончилось у лошади, голодный лошадь». Он заругался. Потом вышел, скрал под солома завернутый вещи. В араба. Мэн хотел солома поправить, — плохо клала Абдулаев, пьяная была немножко, — ткнул, а вещи упали, шапки. Шапки упали — Абдулаев минэ по шеям ударил.

— Как? За то, что ты уронил шапку? Это уж просто дико!

— Нэ шапку. Шапки. Много.

— Много? Почему много? Не понимаю. Ну, сколько?

— Двадцать, — прохрипел Асан Гани. — Может, тридцать.

— Двадцать? — удивилась Маруся. — Двадцать или тридцать шапок? А, так он, наверно, закупил шапки для наблюдателей. Да, Асан Гани?

Маруся вздохнула: Асан Гани опять молчал. Наконец, он выдавил из себя:

— Нэ знаем.

— Но что же тут не знать? — пожалала плечами Маруся. — Встряхнись же, голуб.

¹ Нэ сэн? — что ты?

чик! Мне ведь надо знать, как было дело. Ты уронил шапки. Это были форменные фуражки для наблюдателей, верно?

— Нет, — тихо сказал Асан Гани. Вдруг он сделал движение встать.

Маруся схватила его за рукав:

— Ты что это? — Она испытующе поглядела на него: большой, неуклюжий арабаджи сидел, уставившись в пол, вдруг плотно замкнувшийся, явно испуганный.

И так сильна была эта его непонятная Марусе встревоженность, что Маруся вздрогнула.

— Странно! — проговорила она медленно, с жалостью и с недоумением глядя на кучера. «Нет, тут не только то, что Абдулаев его ударил, а он оскорбился, — подумала она. — Тут еще что-то». — Если шапки не для наблюдателей, то странно... Видно, Абдулаев сильно рассердился, что ты эти шапки уронил, раз даже ударил тебя. — Она слегка усмехнулась: — Ведь у Абдулаева все-таки одна голова. Зачем ему двадцать шапок? Как ты думаешь, Асан Гани?

Своим натуженным голосом Асан Гани проговорил с тоской:

— Мэн нэ хочет больше возить Абдулаев.

— Не хочешь — не будешь, — успокаивающе сказала Маруся. — И бить тебя он, во всяком случае, больше не посмеет, обещаю тебе! Значит, что это за шапки были, ты не знаешь? Но считаешь, что это не для наблюдателей?

Асан Гани кивнул.

— С шапками мы выясним. И что же, он часто заставляет тебя ждать возле харчевен?

Снова осторожный кивок.

— Красиво, что и говорить! По делу едет, а в харчевнях сидит! И подолгу сидит, ты говоришь? Со знакомыми, что ли?

Асан Гани утвердительно мотнул головой. Потом боязливо покосился на окно и стал подыматься с табурета, но Маруся спясть крепко ухватила его за рукав, даже нажала немного на его локоть, Асан Гани хрипло, с усилием прошептал:

— Нэ спрашивай минэ, Маруся!

— Почему?

— Нэ можем говорить... Нэльзя...

— Но отчего же? — порывисто спросила Маруся и тоже оглянулась невольно на окно округлившимися глазами. — Да не гляди ты на окно, никого там нет! — быстро сказала она с досадой. — Что это,

наконец? Ну, пересядь в угол! Вот так! Теперь тебя и вовсе не видно.

Спиной к окну, она встала перед Асаном Гани, положила обе руки ему на плечи, заглянула в лицо, спросила негромко и отчетливо:

— Ты так сильно боишься Абдулаева? — И ласково, но настойчиво и властно: — Почему ты его боишься? Мне-то ты ведь можешь сказать, правда?

Подчиняясь горячей властности и глубокой внутренней убежденности этой девушки, сильнее чем всегда чувствуя ее живое участие к нему и свое доверие к ней, Асан Гани вышел, наконец, из своей обычной замкнутости. Он несколько раз подряд коротко и шумно вздохнул, приблизил свое лицо к Марусе и, дыша на нее чесноком, в упор глядя ей в глаза, тяжело и торопливо зашептал:

— Мэн не хочет больше возить Абдулаев. Нэ, нэ хочет. Он со мной ехала, я его возила. Всегда говорила минэ Абдулаев: «Скажешь, чего слыхала, чего видала, — пропадать будэт башка, сейчас тюрьма посадят, стрелять будут».

Маруся побледнела, прикусила губу.

— Ты говоришь... он угрожал тебе тюрьмой?

— Так сказала часто: «Нэ имээшь права ничего говорить! Тюрьма посадят — скажешь. Закрой глаза! Закрой уши!» Я закрывала глаза, уши опускала. Ничего нэ видала, не знаю...

Мысли бились, перебивая друг друга: «Видно, есть основание у Абдулаева опасаться огласки. Так запугивать — это что-то похуже той ободранной косули, которую я у него когда-то видела. Гораздо хуже... Что это может быть?»

— Это правда, Асан Гани? — спросила Маруся тоже шопотом. — Что, он тебя страшал тюрьмой?

— Правда, правда! — закивал тот. — Ой, плохой человек — Абдулаев! Ой, страшный!

— Но что же он делает такое, о чем нельзя говорить?

— Нэ знаем. Ничего нэ знаем.

— Я и так знаю, что он тебе не велит говорить, куда вы едете. А куда ты его всё возишь? Вас так подолгу не бывает!

— Алушта, Симферополь, Гурзуф, Ялта.

— И что там?

— Там ждала я, лошадь стояла — он харчевнях сидит товарищам, другам своим.

Много сидит. Вещи ему, мэн думаю, дают. Он вещи выносил, завернутый...

— Опять вещи? Как те шапки? Какие же вещи?

— В арабу прятал низко-низко, под мешок, под солома, линейка наша. Шапки плохо клала — упали. Какие вещи — мэн не знает, какие вещи. Были вещи. Мэн раз видала: чулки, кустумы. Откуда брал, куда девала — не знаем. Раз жэлетку ему вынесли. Заругался, нэ взял.

— Это плохо, Асан Гани! Очень плохо всё, — медленно сказала Маруся и вздохнула удрученно. — Не понимаю я, что это за чертовщина вообще. И давно это так... молчишь ты?

— Давно, — горестно прогудел Асан Гани. — Я возила несколько Симферополь, а он на поезд. Куда едет? Нэ знаем. Может, Севастополь? — Он снизу вверх с некоторой тревогой глянул на Марусю. — Ты нэ скажешь Абдулаев, Маруся, что я тебе сказала? Верна?

— Не бойся, Асан Гани! Мы тебя в обиду не дадим. Вот и скверно это, что ты дал себя так запугать, — сказала Маруся огорченно. — И даже сам не знаешь, для чего. Подумай! Разве ты один тут? Разве Рустэм Ширанов, скажем, не встал бы на твою защиту? И Ахтэм Каранджи? И тот же Ветловский? Я уж не говорю, что ты ко мне мог бы давным-давно обратиться... Умэра Муртазаева найти в Алуште. Это всё здесь, у тебя под боком. Да и не только в заповеднике нашлись бы люди, которые выслушали бы тебя и помогли бы тебе. Нас тысячи, миллионы. Пойми! А ты терпел до последнего, покамест он тебя не стукнул. Хорошо, что ты теперь хоть вышел, наконец, из себя...

Внезапно застенчивая, доверчивая и наивная улыбка засветилась на лице Асана Гани:

— Спасать минэ будэшь от Абдулаева, Маруся?

— Господи, да буду же! — сердито сказала Маруся и почему-то вдруг чуть не заплакала. — Конечно, буду! — Она отвернулась на момент, потом сказала уже спокойно: — Мы вот как сделаем. Ты никому не говори пока, до собрания месткома, о том, что ты мне рассказал. Слышишь, Асан Гани?

— Йок! Йок! — замотал головой Асан Гани. — Мэн не говори! Нэт!

— А я, значит, все что можно сейчас сделаю. Надо будет созвать местком, по-

звонить на казармы нашим месткомом. — Она мягко посмотрела на Асана Гани: — Кажется, тебе тут здорово трудно приходилось, Асан Гани? Должна тебе сказать, что это было крайне глупо с твоей стороны так мучиться в одиночку! Ну, ладно! Теперь эта нелепость должна кончиться. Больше ты мучиться не будешь. Ну, ступай! Смотри, темно уже стало! — Она протянула руку, которую Асан Гани бережно подержал несколько секунд в своей.

Он пошел к двери, свесив руки вдоль тела, настоящий великан, с широченной, немного сутулой спиной и мощными плечами. На пороге он обернулся и произнес громким шопотом, убежденно и с облегчением:

— Мэн не хочет больше возить Абдулаев!

Когда проскрипела наружная дверь, Маруся поспешно надела пальто. И остановилась в смятении и некоторой растерянности посреди комнаты.

Это совершенно верно, что их были миллионы. Но вот сейчас... Нет ведь даже Ветловского, — дернуло же его как раз сегодня уйти! — а члены месткома. Сейдамет с Сухой Альмы и Мустафа Арлан — за десятки километров. К Петрову? Нет, все это долго-долго, все это не то.

Каким тоном Асан Гани сказал это: «Спасать минэ будэшь от Абдулаев, Маруся?» Значит, она не напрасно тут бьется изо всех сил. Вот люди верят в нее! Маруся ощутила теплоту в сердце, радостную бодрость. Потом покраснела: кажется, она думала об отъезде? Какое свинство! Неужели это было всего полчаса назад? Итак, прежде всего необходимо выяснить с этими шапками. Чтобы хоть знать, поднимая вопрос на месткоме, за какие шапки Абдулаев ударил этого беднягу Асана Гани. А там видно будет...

Как и думала Маруся, бухгалтер Сыдоев был в библиотеке. Он выдавал книгу Эминэ.

— Вот вам, татарская богиня, — масляными глазками украдкой обшаривая Эминэ, говорил Сыдоев. — Тут про любовь. Как раз такой Суламифи читать!

Не понимая его замысловатых компли-

ментов, Зэминэ смущенно смеялась и краснела.

— Она не поймет Кервуда, — хмуро сказала Маруся. — Дали бы ей лучше «Казаки» Толстого. Или Чехова что-нибудь. По крайней мере будет над чем подумать.

— А мы и то и другое! — миролюбиво засуетился у полок Сыдоев. — А вы уж сами себе подыщите, Мария Алексеевна!

— Подождать тебя, Маруся? — спросила Зэминэ.

— Не стоит, Зэминэ. Я долго. Да тебя, кажется, Сюдюз кличет.

В самом деле, тоненький голосок кричал во дворе.

— Зэминэ! Кэм-да! Харт-ана чахгырай! Зэминэ убежала.

— Веньямин Петрович, — повернулась Маруся от книжной полки, — покажите мне, пожалуйста, счет на новые фуражки для наблюдателей!

— Счет? Что? Простите, я не дослышал!

— Как члену месткома, мне надо взглянуть на последние счета. В частности, там должен быть счет на фуражки наблюдателям.

— Фуражки? Не знаю, не знаю... — Сыдоев быстро крутил вставочку. — Очень тронут, что вы интересуетесь. Ревизия? — захихикал он любезно и придержал пальцами щеку: она у него запрыгала.

— Нет, это не ревизия. Просто, меня интересует для месткома. Ведь это не секрет, не правда ли?

— Конечно, конечно... Ха-ха! Какой же секрет? Общественная организация всегда имеет право... Но, видите ли, я должен спросить... то есть сказать... да, спросить своего шефа, так сказать, товарища Абдулаева. Завтра, пожалуйста!

— При чем тут Абдулаев? — сухо сказала Маруся. — Отчетностью ведаете вы.

— Да. Но... видите ли... Да у меня и ключа от конторы с собой нет. Он у меня дома.

— Так пойдемте к вам домой!

— Ах, да! — хлопнул себя по лбу Сыдоев. Лицо его заметно посерело, точно вдруг полиняло. Щека так сильно запрыгала, что он уже не придерживал, а нажимал ее пальцами. — Вот память-го! Ха-ха! Ведь ключ от конторы у товарища Абдулаева. Он хотел там вечером заниматься.

Маруся опустила глаза: ей было противно смотреть на эту дергающуюся щеку.

Ни черта тут не добиться! Зря она и сунулась сюда! Сыдоев явно виляет. И пугается — по-другому, чем Асан Гани, но тоже, несомненно, пугается: «Ревизия! Хи-хи!» Ревизия? Да как это ей сразу в голову не пришло? Ну, разумеется, надо требовать настоящей ревизии! И с этой историей с Асаном Гани разве им самим разобраться? О, дура! И зачем она пришла сюда? Только время терять...

— Знаете, действительно, не стоит сейчас, Веньямин Петрович, — нарочно слегка зевнув, сказала Маруся. — Поздно. Это не к спеху. Можно и завтра. Так запишите на меня... вот...

Сыдоев видел, что она взяла книгу «О куроводстве», случайно затесавшуюся в библиотеку и вряд ли ей нужную, и держит ее, даже не видя названия. Он беспокойно затоптался у стола:

— Да, да... пожалуйста... конечно...

Неторопливо Маруся вышла из библиотеки, спустилась с крыльца, оглянулась на освещенные ее окна и во весь дух помчалась к конторе.

Она осторожно вошла в уже темный коридор, но осторожность была излишней: в конторе также было темно. «И никакой Абдулаев тут не занимается. Разумеется, наврал Сыдоев».

Маруся схватила ручку телефона, стала бешено крутить. Вслушивалась. Абсолютная тишина. «Алушта, Алушта, да отвечай же, проклятая! Нет, не работает». Вся вспотев, Маруся отпустила ручку. «А может, и лучше, что не работает телефон? Сидит там кто-нибудь беспонятный, а здесь орать приходится, иначе не слышно. Еще подслушают. Тот же Сыдоев».

Теперь уже она твердо знает, что и ему верить нельзя. Он всегда был ей противен, но все-таки прежде она думала, что он честный...

Напрямик, без всяких тропинок, Маруся влезла по склону на верхнее шоссе, к своему дому.

Дома она бросила куда-то книгу о куроводстве, торопливо переобулась в другие туфли, с целой подошвой, вынула из стола паспорт, комсомольский билет и, не задвинув ящика, забыв закрыть в первой комнате окно, заперла дом и почти бегом пошла по шоссе.

Быстро темнело. Смутные массы деревьев шумели по краям дороги. Мару-

сине желание сбылось: к ночи поднялся ветер. Резко похолодало. Бодрый воздух облегчал ходьбу. Луна выплыла из-за горы, большая, докрасна раскаленная. «Только бы быстро, сразу добиться проку, — думала Маруся. — Какой-нибудь дежурный должен быть. Даже ночью. Не вышло бы только волокиты».

Сбоку дороги показались очертания домов. Ниже шоссе потянулись правильные ряды фруктовых деревьев. От каждого дерева стлалась по матовой земле длинная черная тень. Это был колхоз Узенбаш.

Маруся вспомнила, как осенью, когда снимали фрукты, кипела тут работа, шумная, веселая. Сейчас было тихо, голо, в неверном свете луны колебались тени расквашиваемых ветром черешен, абрикосов, груш. В глубине, за садами, приглушенно играла музыка. Маруся прислушалась: «Духовой оркестр. Это в клубе».

Колхоз был богатый, много было грамотной, уже совсем новой молодежи, была своя комсомольская группа. Маруся знала многих и очень любила здесь бывать, только редко удавалось. На момент ей очень захотелось пойти туда, в клуб, посидеть, посмотреть, посмеяться со всеми вместе. Она ускорила шаг.

Вдруг из-за поворота дороги вывернулся грузовик. Маруся высоко подняла руки. Грузовик остановился.

— Куда едете? — по-татарски спросила Маруся. Вглядываясь в сидящих, она различила среди них одну женщину: «Тем лучше».

— Симферополь!

«А что Симферополь? — мелькнула у Маруси мысль. — Чем больше город, тем больше толковых людей».

— Возьмите меня!

Один из сидевших в грузовике протянул руку. Маруся проворно встала ногой на колесо. И не успела опомниться, как уже ветер засвистел у нее в ушах, закачался верткими толчками грузовик на изгибах шоссе. Маруся подняла воротник пальто, стала присматриваться к попутчикам.

На протянутых в грузовике досках сидели четверо: трое мужчин и одна женщина в накинутом на голову и плечи широко вязаном платке, концы которого трепались по ветру. Двое мужчин, оба пожилые, разговаривали по-татарски, о чем-то миролюбиво спорили сквозь рокот машины. Четвертого спутника Маруся не

видела: он приткнулся сзади, в углу кузова, не на досках, а просто на корточках.

Женщина придвинулась к Марусе и приветливо заглянула ей в лицо, поблескивая темными глазами:

— Куда, на ночь глядя?

— Надо, — уклончиво ответила Маруся и улыбнулась татарке. — Очень надо. Хорошо, что подвезете.

— Заповедническая? — спросил сидевший сзади.

Хрипловатый, резкий голос вдруг показался Марусе знакомым. Она быстрее взглянула через плечо, но человек сидел отвернувшись, смотрел на стремительные убегающую из-под шин дорогу. Маруся совсем не могла сообразить, кто это может быть.

— Да. Из заповедника. Зоолог. А вы зачем едете?

Они ехали за товарами для колхозного кооператива. Завкооперативом, продавщица и председатель колхоза.

— А зачем едешь? — В голосе, который снова показался Марусе знакомым, прозвучала настойчивость.

— Надо — значит, надо, — сказала Маруся.

— А вот не скажешь, — шутливо заметил завмагазином, толстоносый, бровастый и, как видно, веселый человек, — непременно ссажу.

— Ее и надо ссадить! — угрюмо сказал сидевший сзади. — Чего скрытничает?

— Ссадим! Ссадим! — засмеялся и председатель колхоза. — Говори лучше, девушка! Смотри, пойдешь пешком!

Марусе стало обидно.

— Я еду по срочному делу, — сказала она четко. — В прокуратуру!

Все притихли. Потом женщина спросила негромко и сочувственно:

— Что так?

— Значит, надо, — сдержанно сказал председатель колхоза. И добавил с досадой: — И зря ты сказала, девушка! Хоть бы что выдумала! Я второй год председатель, знаю! Разное случается.

— Эй, шофер! — Сидевший сзади человек вскочил на ноги, перешагнул через доску и сильно постучал кулаком в крышу кабины: — Покрышка у тэбэ сгорает!

Шофер враз остановил машину.

Тщательно осмотрев шины, шофер, молодой русский широкогубый парень, возмущенно выругался:

— Да что он врет? Где твои глаза, ду-

рак? В Москву доедем! У тебя самого, видать, покрывалка не в порядке!

— Кому кричите? — сказала Маруся. — Его нет. Того, кто сказал. Он слез.

Все с недоумением переглянулись: в машине, в самом деле, было теперь четыре человека вместо пяти.

— Видно, приехал, — в раздумье заметил недовольно председатель колхоза.

— А кто это такой? — спросила Маруся.

— Не знаем. Когда отправлялись, подошел, попросился в машину. Сказал: из Коуша. Помню, как-то в клубе он у нас был, — пояснил председатель, как бы оправдываясь.

«Из Коуша?» — Маруся подумала и вдруг с гневом, с возмущением вспомнила сумеречную дорогу, голос откуда-то из-за скалы, произносивший отвратительные слова. Ей стало неприятно, противно. Так внезапно покинувший грузовик человек был Муштаба Ислаев.

Машина понеслась ровно. Пологие холмы и гладкая степь заблестели под луной. Маруся задремала, прислонившись к плечу слегка храпевшей во сне продавщицы.

Маруся переночевала в Доме колхозника и рано утром отправилась в прокуратуру.

У витрины магазина она задержалась, рассматривая туфли. Было всего часов семь утра, торопиться не стоило: еще, пожалуй, никого не застанешь. Вот эти коричневые туфли на венском каблуке она бы не прочь иметь. Вдруг она услышала сзади себя громкий возглас, изумленный и восхищенный:

— Батюшки! Клянусь ушами Аллаха, это она!

Маруся обернулась и засмеялась радостно и удивленно, протянула обе руки. Сияя, перед ней стоял Сашка.

— «Я вас люблю, люблю безмерно!» — Сашка проворно нагнулся и звонко поцеловал Марусю в щеку.

— Фу, безобразие! — Маруся старательно обтерла щеку платком.

— Ну, конечно, не брат, я же сразу вижу, — сказал кто-то рядом. — А ты говорила...

Смущенная Маруся устремилась вперед, Сашка за ней.

В сквере на скамейке она все рассказала Сашке. Сашка хватался за голову, хохотал, поражался.

И вот они уже сидели у следователя.

Худощавый, желтоватой бледностью щекам немного напоминавший Петрова, следователь внимательно выслушал Марусю и Сашку и сказал уверенно:

— Поедем через час.

Но потом его вызвали к телефону. Говорил он долго. Положив трубку, извинился и записал, где Маруся остановилась: он заедет, как только освободится.

Выехали только поздно вечером. Весь день Маруся просидела на скамье во дворе Дома колхозника вместе с Сашкой.

У Сашки был выходной день, он приехал в Симферополь покупать — «Брюки!» — громким голосом сообщил он Марусе в самое ухо. Маруся рассмеялась.

Они ели маслины с хлебом, пирожки и конфеты. За всем этим сбегал Сашка в лавчонку на углу. Перед тем как уйт, он глубокомысленно посмотрел на Марусю:

— Тебе-то уж лучше совсем не трогаться с места. Придет следователь, подумает: сбежала. — И покрутил головой: — Потрясающие события, честное слово!

Каждую минуту они смеялись. И Марусе было так весело, что моментами она забывала, для чего приехала в город.

Когда следователь и Маруся уже сели в машину, Сашка замахал обеими руками как крыльями. Лицо у него стало обиженно-огорченное и завистливое. Серьезный, даже унылый следователь вдруг подмигнул Сашке так выразительно, что Маруся воскликнула, расхохотавшись:

— Здорово!

А Пругников с уважением покачал головой: «Ай да ну!»

На другой день они еще останавливались в двух поселках под Симферополем, где у следователя были дела. И потом очень долго просидели в Алуште.

Абдулаев сбежал, захватив с собой всю наличность кассы.

Похудевшая за эти дни от испуга Марфа Абдулаева, которая переходила от наглой заносчивости и презрительного молчания к состоянию крайней подавленности, рассказала, наконец, заливаясь слезами, что ночью ее мужа вызвал на двор, постучав в окно, какой-то человек. Они долго разговаривали, не входя в дом. Сама она пришедшего не видала и, конечно, не

спросила, кто это был: муж приучил ее совершенно не интересоваться его делами.

После разговора с приходившим Абдулаев, неизвестно за что, избил ее и ушел. Вскоре вернулся, но спать не лег и опять несколько раз уходил. Сколько раз и долго ли отсутствовал, она не знает, так как среди ночи, в конце концов заснула. По-видимому, бывший завхоз неоднократно ходил смотреть, не вернулась ли домой Маруся. На рассвете недалеко от марусиногo дома его видела Настя Власова, а немного позже — Петров. И от злости Абдулаев даже повредил, дергая, замок.

Солнце едва заглянуло в котловину, когда Абдулаев, растолкав Марфу, приказал ей собрать еды, — немного, но по-лучше, — и сам отобрал кое-что из одежды.

Сложив дорожный мешок, он несколько минут в упор, молча, смотрел на жену, — она помертвела от испуга под этим злым взглядом. Абдулаев где-то успел напиться, от него пахло водкой, лицо у него было красное, налитое.

— Крикому! Ни слова! — просвистел он отрывистым шопотом. — Жди! Вернусь!

На прощание он стукнул ее кулаком по голове, может быть окончательно обозленный ее уж совсем расслабленной в этот момент боязливостью перед ним. Когда Марфа подняла голову, за которую схватилась двумя руками. Абдулаева уже не было.

Сыдоева нашли в его комнате мертвецки пьяным. Исходя пьяными слезами, он бормотал:

— Гиб-бнем и погибнем как суслики! Нев-важно! Всё фальш, всё прах... С-символика! — Затем воскликнул: — Татарская Цир-рцея! — И полез к милиционеру целоваться.

Его облили водой и на некоторое время оставили в покое. Проспавшись, бухгалтер, ослабевший с перепою, мрачный и совершенно опустошенный, с большим напряжением вспомнил, рассказал, что, после того как Мария Алексеевна просила у него счета, он сообщил об этом Абдулаеву.

— Им, конечно, это было очень неприятно.

— И немудрено, — заметил следователь. — Половина счетов оказалась подложной. У вас шли деньги на загон для диких животных, который не строился. Вы даже выписывали зарплату некоему Прутникову, который давно уехал.

«На горестях», как сказал Сыдоев, они и выпили.

Как раз накануне Абдулаев привез «подарочек» — несколько бутылок водки. Ночью же Абдулаев разбудил его и сказал, что все пропало. Из чего он это заключил, он, Сыдоев, не понял как следует — ему очень хотелось спать, и, чтобы разогнать сон, он опять немножко выпил вместе с Абдулаевым. Если сказать правду, то вскоре для него перестали существовать такие презренные мелочи жизни, как Абдулаев и счета; короче говоря — он запил по-настоящему.

К сообщению о том, что Абдулаев удрал, ограбив кассу, Сыдоев отнесся совершенно равнодушно. Он попросил у следователя хоть немного водки. Следователь отказал. Потом подумал, посмотрел на Сыдоева сидевшего опустив плечи, с синевато-бледным лицом и с закрытыми глазами, поморщился брезгливо и досадливо, выглянул на крыльцо и громко попросил Сидорова, ждавшего в соседстве с милиционером своей очереди, непременно где-нибудь достать стакан водки.

— Сейчас будет вам, — сказал он Сыдоеву.

Сыдоев, и так уже услышавший, о чем говорил на крыльце следователь, открыв глаза и, силясь вложить в голос твердость и достоинство, сказал, что следователь, кажется, человек благородный, поэтому он хочет ему помочь в его работе и сделает некоторые сообщения. Все равно, так или иначе, его засадят и, вероятно, надолго. Так пусть он будет проклять этот Абдулаев с которым он встретился вновь, на свое несчастье, как это теперь очевидно.

Может быть, гражданину следователю будет приятно узнать, — не поторопит ли он каким-нибудь образом того, кого он послал за... напитком? — что он имеет честь беседовать отнюдь не с бухгалтером Сыдоевым, а с известным в свое время помещиком и коннозаводчиком Сысоевым, «человеком самых аристократических кровей»? Маленькую поправку в паспорте, изменив «Сысоев» на «Сыдоев», а «дворянин» — на «мещанин», он сделал себе «в pendant к эпохе» в незапамятные времена, еще в двадцатом году, когда ему не удалось уехать за границу. А Сентаблу Абдулаева он знал еще совсем молодым человеком. в своем роде довольно блестящим «jeune homme», хотя, в сущности, он и тогда был жесток, безобразно груб и некультурен.

Тогда Абдулаев начал довольно успеш-

но помогать в делах отцу, имевшему обширную торговлю тканями в Судак. Возможно, что из жирного Сеитаблы и получился бы сносный купчина, но... «изменения в эпохе!» И вот из него вышел просто мошенник...

Он, Сысоев, приобрел себе специальность бухгалтера и жил вовсе неплохо, он вообще любит тихую жизнь. Против советской власти он ничего не имеет давным-давно, но, к сожалению, алкоголизм — не легкая вещь: ни на одном месте он не мог долго удержаться. Будучи без места, он случайно и к своему величайшему несчастью встретился с Абдулаевым. Марфутку он увидел здесь впервые и, где ее подобрал Абдулаев, не знает, но от Абдулаева он слышал вскользь, что она тоже, кажется, из купчих.

Следствие несколько дней велось на месте: пришлось спросить много людей. Под окнами абдулаевского дома, где в двух комнатах сидели арестованные, а в кухне обретался следователь, то-и-дело кто-нибудь проходил. И милиционер, молодой и безусый, уже никого не отгонял, только посматривал исподлобья, с усмешечкой, потом переводил скучающий взгляд на горы и сосны и целые дни ел от скуки сухой, грязный изюм, который приносила ему Настя Власова.

Когда допрашивали Сидорова, он так трясся, бледнел и заплетался языком, что следователь сказал подозрительно:

— Н-да! Не нравишься ты мне что-то, старик! — И уже всерьез подумывал его арестовать да решил, что все равно куда он не денется, всегда его можно будет в случае надобности найти.

Асану Гани, повторившему немного более обстоятельно, чем Марусе, свой сбивчивый рассказ о поездках с Абдулаевым и о засовывании вещей под солому, в арбе, следователь сказал:

— Это он, дядя, контрабанду у себя прятал и краденое. Мы кое-что уже нашли здесь. Неужто тебе невдомёк было, что дело нечисто, раз человек всякое барахло взад-вперед возит, а сам ничего из этой одёжи не носит? Да и куда носить столько? У него одних пальто штук пять было да чулок еще...

— Нэ было мне вдомёк. — грустно вздохнул на всю комнату кучер. — Я глаза вот так, — прижмурил он веки. — Мало смотрела. Нэ велела смотреть Абдулаев. А чулки, может, купила? Денег была мно-

го, вино дорогой пил, кушала хорошо. Молчала все, нэ говорила, боялась шибко. — Он наклонился вперед, спросил тревожно и просительно: — Ты поймашь Абдулаев, начальник?

— А как же! — сказал следователь и укоризненно покачал головой: — Ай, дядя! Та-акой мужик, да тебя медведь не своротит! И такой трус! Ай-яй-яй! Я тебе говорю: ничего не бойся! Живи спокойно, как на печке!

Отправляли нарочного в Коуш за Муштабой Ислаевым. Маруся рассказала следователю о встрече в грузовике, и явилось естественное предположение, что именно Ислаев предупредил Абдулаева. Но в Коуше Ислаева не оказалось. Дядя и родные сказали, что уже недели две назад Муштаба уехал, подражившись на какую-то работу в Бахчисарайском районе.

Слухи обо всех этих новостях носились в воздухе, достигая самых дальних казарм, переходя за пределы заповедника и вырстая иногда до форменных небылиц.

Так, один глуховатый старичок из лесозовских сторожей, проходя через заповедник, спросил Ветловского, правда ли, что у них завхозом был «какой-то супчик с-под Абиссиния из тамошних ефионских графьев?»

Ветловский хохотал до слез.

На Изабекова смотрели с любопытством и с не очень скрываемым злорадством, оттого что он «на-арвался на своем любимчике», как говорил Рустэм Ширанов.

При всяком удобном случае Изабеков изливал свое глубочайшее возмущение и горькую обиду. Как бессовестно обманул его Абдулаев! А он-то ему доверял! Кто мог думать? Он воздевал руки к небу и вздыхал сокрушенно.

Даже при виде Маруси он выдавливал из себя смиренную улыбку и, не глядя ей в глаза, почти не слушая, кивал, соглашаясь со всем, что бы она ему ни говорила.

А на Марусю все — обе доярки, Бекир, наблюдатели и, конечно, Ветловский — смотрели с восхищением и точно не веря своим глазам, так что Маруся всерьез сердилась и говорила краснея:

— Жаль, что я не умею задаваться! Ох, уж я бы и задалась теперь, только держись! Настя, ну чего ты на меня так смотришь? Не видала?

Раз как-то в зоологическую лабораторию припелся Сидоров. Маруся исследо-

вала олений помет на гнисты и не сразу оторвалась от микроскопа, хотя и видела, что Сидоров подходит к столу. А когда подняла голову, то остолбенела: Сидоров стоял у стола на коленях.

— Батюшки! Это что значит? — Маруся вскочила, потянула Сидорова за рукава. — Вставайте сейчас же! Ужас какой! На коленях! Старый человек!

— Мария Алексеевна, зо...лотце! — забормотал Сидоров заплетающимся языком и как-то монотонно, точно заученно. — Не встану... пока... не простите!

— Ну, подымайтесь живо! Нечего! — Энергичным движением подхватив Сидорова под локоть, Маруся помогла ему подняться и сесть на табурет, на который Сидоров свалился, поникнув всем телом, точно совсем обессиленный. — Может, вам воды дать? За что вас простить? Что случилось?

— Я, — тихим, проникновенным голосом начал Сидоров, — олени. . . Про оленей. . . вот говорил вам, помните, еще по девяносто потому кварталу мы шли, что под Хэраланом? — вдруг заговорил Сидоров скоро-скоро и другим, словно взбодрившимся тоном. — Говорил я, что оленчиков-то стало меньше. Врал я тогда. . . Нарочно. . . Простите меня, старика! Не. . . нечистый попутал! — И начал было снова сползать Марусе под ноги.

Маруся придержала его за плечо:

— Только-то и всего? — Она глянула и расхохоталась: такой у Сидорова был странный, какой-то весь выгнутый вид. И эта торчащая вверх борода! А у Маруси в этот день было отличное настроение.

— Нет, конечно, это нехорошо было с вашей стороны, — покачала она головой, все еще улыбаясь, но уже совладав со смешливостью. — Это ведь вас Абдулаев тогда распропагандировал, я ведь знаю. Нашли кого слушать! Но вы, оказывается, форменный истерик, Сиантий Проккофьич. Успокойтесь, прошу вас! — И шутиво-торжественно: — Так и быть, прощаю!

Сидоров поднялся, закланялся, благодарил униженно, хотел поцеловать марусину руку, которую она живо спрятала за спину:

— Э, нет! Я не барон и не граф, и не Абдулаев. — Потом огорченно, с безразличным сожалением: — Ну, не совестно вам? Ручку лезет целовать!

Но со всем тем в опущенных глазах Сидорова, в его внезапно поникшей бороде были почему-то разочарование и даже не-

которая оскорбленность. Маруся это заметила, подумала: «Обиделся, что смеялась. Ну, и пускай!»

Она не знала тогда, что в этот момент едва не проникла в тайну испорченных кормушек.

Наконец, арестованных увезли. Затем уехал и следователь. Начала водворяться обычная тишина.

Но в это время случилось новое событие, отодвинувшее «абдулаевскую историю» на второй план, — стало известно, что браконьеры убили Осипа Митрофановича Щуренко. И после этого уж совсем как-то незаметно прошел отъезд Изабекова. Не помогли ему сладкие улыбки. Его исключили из партии за отсутствие бдительности и сняли с работы.

12

Теребя от волнения шевелюру, Сёма Круц читал письмо.

Заглянула машинистка:

— Хотите чаю, Семен Борисыч? Есть горячий. Вы бы хоть пальто-то сняли! Успеете наработаться! — сочувственно заметила она и протянула с искренним удивлением: — А гало-ши!

Круц машинально бросил взгляд на свои чудовищно грязные галоши. Еще месяц назад он, со снисходительным апломбом, как бы нехотя, непременно рассказал бы машинистке, что был только что в небольшом, отдаленном колхозе и на обратном пути часть дороги шел пешком, так как у автомобиля лопнула шина, а он не хотел задерживаться. Но теперь у него не было никакой охоты рисоваться.

— Я не из дома, — весьма нелюбезно отмахнулся Круц.

Он вторично прочел письмо, — не пропустил ли чего? — и с чувством разочарования вложил его в конверт. Нет, он ничего не пропустил. Да и трудно было ожидать чего-нибудь особенного. Если бы Якуб Мамбетов знал о чем-нибудь подозрительном, он бы давно об этом сигнализировал.

Вернувшись из заповедника с собрания по чистке партии, Круц немедленно написал своему предшественнику. Он спрашивал Мамбетова, что тот знает об Изабекове, — наблюдательская масса и научные работники относятся к нему резко отрицательно. Мамбетов писал, что он хорошо знал прежнего директора заповедника Ма-

карова, а Изабекова видел всего раза два. Он слышал, что Изабеков прежде рабстал директором одного комбината, причем основательно завалил там работу, но при каких обстоятельствах он оттуда ушел — не знает.

Разумеется, ни малейших указаний на открытие, сделанное им, Круцем, вчера вечером, когда он был в гостях у старика-колхозника. Правда, «открытие» не было вполне достоверным. Но оно было чересчур серьезным. Хорошо, что он собрался, наконец, совершить этот долг чести — «одарить» старичка за его цветистую, узорную палку.

Палку ему все-таки пришлось взять. После собрания старичок-колхозник, оказавшийся дедом одного из наблюдателей, высокого красавца Мустафы Арлана, сам подошел к секретарю райкома вместе с внуком. Старик протянул Круцу свою красивую палку, сказал просто:

— Бери, товарищ! Тебе понравилась. Мы себе сделаем другую.

— Не стесняйся, начальник, возьми! — поддержал и Мустафа Арлан, подобно другим пропагандированным Рустёмом Ширановым относительно высоких душевных качеств Круца. — Старик хочет — надо сделать уважение старику.

Последнее убедило Круца. Очень тронутый, он взял палку, покраснел, горячо поблагодарил. «Я ему тоже подарю что-нибудь», — подумал он.

— Откуда вы сами? — спросил он старика.

Они поговорили о том, о сем. Круц пригласил деда с внуком к себе, обещал непременно навестить старика, сказал, что учится татарскому, и произнес неуверенно несколько слов, вызвав довольный смех окружающих.

— Так почему же вы все-таки спросили Изабекова, где он был в девятнадцатом году? Почему именно в девятнадцатом? Даже, кажется, месяц...

Старик казался недовольным. Он помолчал, пожевал губами. Потом вздохнул и сказал что-то по-татарски.

— Что он говорит? — спросил Круц.

Мустафа Арлан объяснил. Говорит: «Старый стал, могу легко ошибку сделать».

Круц не понял, что имел в виду старик. Расспрашивать дальше было неудобно, их давно обступили со всех сторон. Но на этот раз у него создалось ясное впечатление, что старик почему-то волнуется и не-

много сердится при напомнимании о заданном им вопросе. Круц тогда же дал себе слово выяснить, в чем тут дело.

И вот теперь он знал.

После ужина, закутив трубку, которой «отдарил» его Круц, старик тихим и мерным голосом, медленно, но довольно чисто выговаривая русские слова, стал вспоминать свою долгую жизнь. Он был очень беден, ему много приходилось батрачить у мурзаков. Мурзак имели огромные сады, беднота занималась снимать фрукты. Однажды, лет двадцать с лишним назад, работая у одного мурзака, он попросил у него «тухли».

— Туфли? — тихонько переспросил Сёма.

— Да, тухли. Чувяки, по-нашему. Они висели на гвозде, на стене дома, у двери. Это были старые и рваные чувяки, их, наверно, выбросили на этот гвоздь. Но все-таки это были тухли, обувь. Я крепко сбил одну ногу о камни, на ноге стала чирья. Мурзак стоял на крыльце, и я подошел и попросил у него эти тухли. Он посмотрел, взял тухли в руки, сошел с крыльца... — Старик задумался. — И провёл мне тухлей по лицу. — Сёма чертыхнулся. — Не сильно шибнул, — покачал головой старик. — Нет! Вот так! — Он мазнул себя ладонью по сморщенной щеке.

Затянувшись из трубки, он продолжал:

— Потом я видел этого мурзака однажды. Он шел по базару в Симферополе. Прошло много времени, мурзак стал старше. Но я хорошо его узнал. Какой он чин имел, я не знаю, но какой-то имел. На нем были погоны и мундир. Белые погоны, белый мундир. Это было... в девятнадцатом году.

Сёма затаил дыхание: «В девятнадцатом году? И тогда спрашивал про девятнадцатый. Любопытное совпадение».

Старичок молча посапывал трубкой, покачивал слегка седой, сухонькой головой, весь во власти воспоминаний.

— И больше вы его не видели, того мурзака? — спросил Сёма тихо.

Старик тяжело вздохнул:

— Видел. Думал, видел. Ошибся, видно. Значит, старый стал, глупый. Как это может быть такое? Тот — мурзак, а этот... Спросил все-таки. — Старик заволновался: — Не знаю, что такое? На глаза — он А так выходит — нет...

— Вы про кого говорите? Я не понимаю.

— Про директора. Где звук мой работа. Изабеков.

— Как? Тот мурзак?

— Видно, ошибся, — грустно покачал старик головой. — Глупый стал, слепой, значит. Но похож! Вот посмотришь — он!

— Вы говорили об этом кому-нибудь? — взволнованно спросил Сёма.

— Внуку сказал, Мустафе. Смеется, говорит: «С ума сошел, дедка!» Может и правда, ошибся. А только вижу — он! То же старый стал, не такой. А все-таки — он!

13

Как-то летом Осип Митрофаныч и Маруся попали в лесу под ливень. Ливень был огромен. Вода лилась сплошной массой. Она была всюду: над головами, с боков, под ногами. Осип Митрофаныч и Маруся точно попали в реку.

Щуренко стоял, сгорбившись, опершись в палку. Застигнутые врасплох на спуске с хребта, они остановились под широкой, приземистой сосной, но и эта плотная хвойная крыша не защищала от неудержимых потоков. На лице Осипа Митрофаныча Маруся смутно различала сквозь водяную стену тихую улыбку.

— Эх, у тебя по лицу-то течет, дочка! — сказал Осип Митрофаныч. — Пожалуй, загар смоеет. Не беда, обсохнешь! Ничего не бойся в природе, дочка! И воды не бойся! И будут у тебя дети...

— Мокрые-премокрые! — вздохнула Маруся.

Оба засмеялись.

— Одного только, дочка, бойся, — помолчав, задумчиво сказал Осип Митрофаныч, — худого человека. Вот как ты мне раз рассказывала: на железке где-то вредители орудовали. Я потом думал: «Ой, худо это, вот худо!» А воды-то и зверь не боится. Олениха сидит с маленьким в чаще — пережидает. Солнышко проглянет, а она уж его на опушку вывела — сушить...

Так же внезапно, как начался, дождь прекратился. Брызнуло солнце. Вся природа вокруг заиграла свежими красками, умытая. Все блестело, сияло в сверкающих каплях. От листвы, от стволов и земли пошел пар. Потекли сочные запахи. В небе перекинулась радуга. Вдали гроыхало слегка, но уже тучи расплзались торопливо, как вспугнутые змеи.

— Благодать-то! Эх прояснело — глазам больно! — говорил Осип Митрофаныч.

Они вышли на открытое место и сели на камень, на глазах обсыхавший.

— Вот и мы как оленчуки, — сказал Осип Митрофаныч, выкручивая карту. И рассказал Марусе про козла:

— Занятно я, дочка, на-днях с козлом разговаривал. Белогорлый самец. Молодой. Я иду по осинничку, тропка узенькая. А утро раннее, только туман сошел. Хорошо, приятно! Чистота утра такая радостная — с ног валит. Вдруг он вышел из щели, козел-то! Да и стал поперек дороги. И на меня смотрит. Рожки остренькие, по два отрога на каждом, — такой красавчик. И я встал, смиренно стою. Поглядел он, поглядел, голову наклонил и давай на меня гавкать. Ну, ровно собака. Уж он лаяла-лаял, брехал-брехал. Охрип сердешный. А я все не шелохнусь. Шагов между нами с пяток, не больше. «Ну чего ты, дурачок?» — думаю. А ему подойти охота поближе и смелости нехватает, вот он и сердится. Полаял он этак изрядное время и скок ко мне. А я засмеялся да руку нерочно как протяну: вот, мол, схвачу тебя за рожки! Он и сиганул как заяц. А потом встал, оглянулся да еще погавкал...

— Ну, а дальше что? — спросила Маруся.

— А дальше я заворотил оглобли в другую тропку повернулся. Не хотел же мне пропуск дать, так чего я ему буду перечить? Так мы с ним поговорили славно... А норовистый, видать, козлик! Ругливый!

Об этих «мокрых детях» и о «ругливом козлике» Маруся вспомнила, держа под руку старуху Щуренко. По марусиному лицу потекли крупные слезы. Никто уже не назовет ее «дочкой» так по-особенному, ласково-усмешливо, как умел только Осип Митрофаныч. А как они раз наблюдали близко ревущих оленей! Три оленихи в стороне щипали траву. «Самки-то! Точно их и не касается, — усмехнулся Осип Митрофаныч. — Тоже кокетствуют! Бабы!» И было это как будто совсем недавно. И вот — он погиб, убит.

Старика Щуренко нашел Ахтэм Каранджи. Он наткнулся на Осипа Митрофаныча случайно. Скатываясь на согнутых ногах с обледенелого склона, Ахтэм вдруг заметил под дубом на другой стороне балки торчавший из-под снега сапог.

Тело Осипа Митрофаныча совершенно закоченоло. Несомненно было, что труп лежал уже несколько дней.

Снова приехали милиция и следователь.

уже не Семенов, а алуштинский. На санях они с большим трудом добрались до места, которое им указал Ахтэм, и несколько минут смотрели на торчавшие из сугробов деревья с прогибавшимися от лежавшего на них снега ветвями. Накануне выпал глубокий снег, и обнаружить какие бы то ни было следы убийц было невозможно.

Когда тело Осипа Митрофаныча привезли домой, Щуриха упала как подкошенная. Она не ждала мужа раньше чем через неделю: у Осипа Митрофаныча был отпуск, и он шел в Алушту, чтобы уехать в Симферополь к сыну.

Выстрел был произведен в голову, и, как было установлено доктором, смерть наступила мгновенно.

Маруся и Стёша крепко держали старуху Щуренко под руки. Матрена Ивановна обвисала, еле стояла на ногах. Плакать она уже не могла и только изредка шевелила вялыми губами.

Часть третья

1

Всего месяца три, как с зоологом Акименко и его маленьким сыном Володей приехала тетя Феня в заповедник, а уже все знала. Знала, что до поляны, где пасутся коровы, километра полтора тропинки, крутой-прекрутой. На поляне тетя Феня не была, но не раз наблюдала возвращение доярок и в душе восхищалась их ловкостью: не уронив ни капли молока из полнёхоньких ведер, доярки сбегали по крутизне, мелко перебирая ногами и балансируя на поворотах. «А ведь цижало, ноги! — думала тетя Феня. — Ну, Настька-то — кобыла! А эта-то... Земйна... ровно козочка, красавоцка! И не покраснеет даже».

Знала также тетя Феня, что весь этот громадный лес вокруг, выросший на горах, — что волосья у другого человека на голове: ни продрать, ни прочесать, — называется «девственный массив». И нельзя в нем ни дерев рубать-ломать, ни скотом траву делать. Зато и овца здесь ходит только под самыми небесами, по голому месту, вроде «платок» называется. А овца добрая и много ее — «количество несметное»: когда она ехала на грузовой машине (и тряслась от страха на каждом изгибе шоссе), то видела.

Первую лопату земли, с детским недоумением на лице, бросил сын Осипа Митрофаныча, Павел, высокий, похожий на мать. Из его рук принял лопату Рустэм Ширанов.

Пошел крупный снег. Края ямы забелели. Петров, со снежинками на лице, почему-то не таявшими, тихим голосом произнес короткую речь. Потом Рустэм сказал громко:

— Лу-учше его не-е бывало на-аблюдателей и-и стариков! — И то же самое повторил по-татарски.

Больше говорить никто не стал. Почти все плакали.

Похоронили Осипа Митрофаныча на лужайке, недалеко от дома директора.

Матрена Ивановна и Стёша ночевали у Маруси. Всю ночь Маруся просидела у постели, где металась и стонала в тоске Щуриха.

Но что проку с того, что все это тетя Феня знала не хуже старожила какому-нибудь? Привыкнуть она не могла. Растерянно озидала безмятежные горы, причудливые скалы, стройные, огромные деревья, невиданные цветы. Дикое великолепие природы поражало ее, но не трогало, а скорее пугало и было бесконечно чуждо.

Дыша благодатным воздухом, тетя Феня с удивлением поглядывала на золотые от низкого солнца горы. В фруктовом саду пел дрозд чистым, сильным голоском.

Вихляя спиной, показался на дороге Сидоров. Он увидел тетю Феню, поглядел, подумал и подсел на скамейку:

— Почтение вам!

— И вам также, — подбирая губы, ответила тетя Феня. — Здравствуйте!

Сидоров ее раздражал своей суетливостью: «Старик, а как плотва на сковороде — знай, крутится».

— Ну-с, привыкли, Федосья... простите, не знаю, как по батюшке кликать? Ндривитесь у нас?

— Трифонова. — Тетя Феня вздохнула и сказала с мрачной откровенностью: — Не могу я терпеть этой жизни. Не с руки она мне!

— О? — удивился Сидоров. — А и чем

же вам не понравилась? Люди худые? Или либо местность прилежащая?

— И прилежащая, и расприлежащая! — с досадой сказала тетя Феня. — Да что? Попада я на старости лет в какую-то... усцелью подтропическую. Ни тебе пройтись, ницего! Полшага ступишь — не горща, так горка, лезть надо. А мои лета лазить не допускают. — И вдруг взмолилась: — Как ты есть охрана природы, сделай так за Христа ради, чтоб сова проклятая не кричала! Страсти-то! Как крикнет — уши рвутся. Лучше бы на кошку наступили.

Сидоров ехидно усмехнулся:

— Неясыть это. Потерпишь, не барыня! — Потом добавил насмешливо, но не без тайной горечи: — Начальника охраны проси! Я не начальник.

После «ликвидации» Изабекова, директором временно был назначен Петров. Он долго отказывался, — его очень пугали тяготы административной деятельности, — но, согласившись, в конце концов, стал работать с неукоснительной добросовестностью. Несмотря на дурную погоду и бездорожье, он за короткий срок, — частью на линейке и на санях, а больше пешком, — посетил все казармы наблюдателей и вообще проявил энергию, активность и даже твердость, которых от него никто не ожидал. Ветловский только головой качал: «Вот так малярник! Скажите, пожалуйста!» Первое, что сделал Петров, став директором, — это назначил начальником охраны Ахтэма Каранджи. Сидорова он отставил.

Всего этого тетя Феня не знала, и горечь слов Сидорова была непонятна ей. Внезапно тетя Феня подняла голову.

Длинный, тонкий, залиvistый плач доносился откуда-то с нижней дороги.

Сидоров, поглядывавший на тетю Феню проницательно, задрал бороду и выставив острый кадык, тоже прислушался, поправив фуражку, сделал задумчиво-сочувственное, печальное лицо и провозгласил торжественно:

— Щуриха идет!

Плач стал слышен явственнее. Он приближался, прерываемый долгими вздохами, kloкочущими всхлипываниями. Теперь можно было различить, что идущая все время произносит с тоской какие-то горестные слова, растянуто и неразборчиво.

Прибежала запыхавшаяся Зэминэ, протянула с жалостью:

— Иде-ет! За два километра выть начинает. А и кто ж ее без Маруси утешать будет?

2

Ветловский на полу в лаборатории раскладывал картошку рядами: первый ряд — крупные картофелины, второй — средние, третий — мелкие. Разожив, он сбил каждый ряд в кучку. Кучки получились довольно большие, картошки осталось с полмешка. Картошка была, между прочим, замечательно хорошая: они сажали ее вместе с Марусей и вместе выкапывали. Кроме того, она пролежала всю зиму в лаборатории, в сухом месте и хорошо сохранилась. Но не посылать же картошку в Москву?

Он побросал эти в высшей степени доброкачественные и потерявшие всю свою ценность корнеплоды назад в мешок, отложив штук десять в грязноватую тряпицу. Потом запер лабораторию и пошел к Марусе.

Дом марусин был еще не занят, и Петров охотно разрешил Ветловскому держать ключ у себя, под тем предлогом, что Ветловский будет там варить себе пищу на удобной плите. И ключ всегда лежал у Ветловского в кармане; Ветловский бродил с ним по горам и долинам, и вечером, перед сном, несколько раз ощущивал ключ: не потерялся ли.

Но ни ключом, ни плитой он не пользовался. С первыми теплыми днями он выселился на участок, вниз, в долину. В этом году ему предстояло основательно исследовать насекомых нижнего букового леса. И это было очень кстати, что не приходилось все время толочиться в управлении, где каждая тропинка и каждый камень о чем-нибудь говорили. Он приходил в управление только за пайком, что-нибудь взять из лаборатории и по каким-нибудь особым случаям.

Замочек на марусиной двери немного заржавел, и ключ повернулся не сразу.

Ветловский вошел и, не оглядываясь по сторонам, принялся растапливать плиту. В плите были сложены, — им же самим когда-то, — сухие поленья и растопка. Оставалось только подsunуть зажженную спичку. Ветловский зажег спичку. Лучинка вспыхнула сразу в нескольких местах, по-

бежали красные язычки. Потом язычки померкли, повалил густой дым. Это было поразительно. Никогда не дымившая, отличная печь дымила как костер.

Ветловский схватил ведро, сбегал к фонтану и вылил в одичавшую печь целое ведро воды, чтобы не наделать пожара. И тогда заметил, что забыла открыть трубу.

Комната уже наполнилась сизым дымом, оседавшим волнами. Ветловский открыл печные заслонки и распахнул окно. Воздух в комнате стал полосатым: серые, расплывчатые ленты дыма медленно, словно нехотя, тянулись в окно, а навстречу им плыли, их разбивая, такие же расплывчатые, светлые и легкие — свежего воздуха.

С неподвижным лицом и испуганными глазами, Ветловский прошелся по двум пустынным комнаткам. Они казались меньше чем прежде, хотя без вещей должны были бы казаться больше, и были некрасивы: пыльные окна, с потолка спускался на хрупкой своей ниточке паук, уже успевший заткать паутиной целый угол. Голые перекладины на железной кровати метнулись в глаза Ветловскому, точно вдруг взглянули на него с укором. Ветловский отвернулся, торопливо закрыл окно, вьюшку печную оставил открытой, на всякий случай еще раз плеснул в плитку воды и запер дом.

В своей комнате он бросил в угол рюкзак и тряпицу с картошкой и сел за стол. У него в квартире тоже была пыль на письменном столе и на подоконнике, паук также заткал угол паутиной, и это ему почему-то понравилось.

Напротив стола, поближе к открытому окну, стояло пустое кресло. Кресло стояло на своем всегдашнем месте, издавна ему привычном.

Склонив голову набок, Ветловский пристально и долго смотрел на кресло. Складки на лице его разгладились, взгляд стал теплым и мягким. Он отчетливо представил себе: вот сейчас войдет Маруся, не глядя сядет как всегда в кресло и начнет говорить. Что она скажет прежде всего?

В дверь постучали. Ветловский привстал и молча устоялся на двери, весь дрожа, поверив невозможному.

— Есть кто? — Настя Власова просунула голову в комнату.

— Чего тебе? — хрипло спросил Ветловский, опускаясь на стул.

Настя похлопала на него глазами:

— Иоду у вас нету? Я видала, вы к себе пошли. Руку крепко порезала.

Ветловский торопливо нашел на полке и подал ей запыленный пузырек.

— Собрание скоро начнется, — сказала Настя. — Перевыборы. Знаете?

— Знаю.

Окинув Ветловского взглядом с головы до ног, Настя вздохнула и ушла.

Оставшись один, Ветловский встал рассеянно у окна. В окно заглядывала яблоня, протягивая заснеженные цветами ветки в комнату. Цветы уже начали осыпаться. Земля под яблоней была усеяна нежными бело-розовыми лепестками. Ветловский заметил крошечную завязь яблочка. Он сбил щелчком этот серо-зеленый твердый комочек: пусть пропадает, пусть не будет яблока!

Осенью на ветвях висели, пригибая их, тяжеленькие краснобокие яблочки. Он нарочно не трогал те, которые были ближе к окну, думал: «Вот зайдет Маруся, протянет руку, сорвет». И она срызала. И с легким, сочным треском прокусывала плотную кожицу.

Стоя в неподвижной, задумчивой позе у окна, он видел ее с яблоком в руке, идущей, смеющейся.

Вот она сбегает с горы с развевающимися волосами.

Вот сидит на корточках, разглядывает норы лесной мыши или следы оленя и высказывает вслух свои соображения (а он говорит, полуотвернувшись: «Животное крупнее бабочки или стрекозы меня не интересуется»).

Вот она стоит на коленях у Саглык-су, источника Здоровая Вода, с детским любопытством, себе только веря, измеряет градусником температуру воды и восклицает радостно: «А ведь и правда, 4° по Реомюру, и летом и зимой одинаково».

Вот она возится с Галькой. Ругается с Абдулаевым. Сердится на него, Ветловского, за что-нибудь. Сидит за столом над книгами, над описанием оленьих станций, составленным ею, поднимает голову: «А ну, послушайте, правильно я указала древостой и кустарниковый покров? Ничего не забыла?»

Вместе они фотографируют оленьи поеди следы лежек. Он держит Тобика, — козлю, живущую в вольере, — а она под-

режет Тобику копыта, непомерно разросшиеся в неволе, и ласково успокаивает его. Лежа на боку, Тобик пугливо косит черным глазком и дрожит всем телом.

Вот она говорит задумчиво, с тоской: «Тишина-тишина... И вода журчит... Обалдеть можно!»

Каждый момент марусиной жизни и работы здесь казался теперь Ветловскому значительным, необыкновенным...

И вот она уехала! После похорон Щуренко она вдруг сразу заторопилась, развила кипучую деятельность, сама послала и Петрова заставила послать несколько писем и телеграмм. И заместитель приехал скоро. Она быстро сдала ему дела. И успела выдержать аспирантский экзамен в какой-то дополнительный зимний прием.

3

Трудные минуты переживал Асан Балджи: председатель месткома, он отчитывался в месткомовской работе. Его спрашивали: были ли читки, беседы, ликвидировалась ли неграмотность? Никого не удовлетворил отчетный доклад, длившийся минуты три, который глухо пробормотал Балджи, и вопросов было много.

На все вопросы Балджи отвечал отрывисто, еле шевеля губами. Он произносил два, — каждый раз те же самые, — слова: — Нэ буа!

Раздавался смех.

— Тохта! Подождите!

Все посмотрели в сторону поднятой руки. Сидоров искривил губы в ожидающе-презрительной улыбочке. Встал начальник охраны Ахтэм Каранджи. Его спокойное лицо было печально. Некоторое время он молча смотрел на Балджи, потом покачал головой:

— Где твой веселый вида, Асан Балджи? — сказал он негромко. — Ты ведь всегда был такой... как это? А, да... в себе уверенный! Что ты часто ходил в Алушту за пустяк, — это плохо. Хороший твой участок, не так большой, легкий. А будь то Коссе, где Щуренко был? Ты — Алушта, туда браконьер мог лезть. Никто не смотрит? Пожалуйста: айда-шайда! За это мы с тобой уже раз говорили и еще будем говорить. — Он обвел всех глазами и сказал полным голосом, с чувством: — Но, товарищи, что смеяться? Что зубы скалить? Не видали, — указал он вытянутым пальцем на Балджи, — неграмотная цело-

век? А вы знаете образование. Почему не помогали?

Первый захлопал крепкими ладонями председатель. За ним зааплодировали все. Наблюдатели-татары наклонялись друг к другу и шептались, поглядывая на Ахтэма и одобрительно пощелкивая языком. Новый начальник охраны на большом собрании выступал впервые. Он показался людям, знавшим его давно, вдруг каким-то другим, и речь его, — главное, уверенный, спокойно-разумный и глубокий тон, — всем очень понравилась.

Ветловский привскочил с места и крикнул:

— Правильно! Я то же самое хотел сказать, между прочим. Да! Не столько Балджи виноват, сколько другие члены месткома. — Он устремил яростный взгляд на секретаря месткома, зоолога, сидевшего за столом, сбоку от председательствовавшего лесотехника, и смеявшегося вместе со всеми.

Зоолог, — не Акименко, племянник тети Фени, веселый, шумный бородач с толстой трубкой в зубах, а другой, тихий парень в очках, — ответил ему смущенной улыбкой. Он прекрасно понимал, что энтомолог Ветловский очень его не любит, но за что не любит — не понимал. И немножко удивлялся, вспоминая, как Маруся Мишина, славная и умная девушка, — она училась в университете курсом младше его, и он знал ее немного и прежде, а в заповеднике она ему особенно понравилась, — хвалила этого энтомолога и советовала ему непременно с ним подружиться.

Ветловский никогда особенно не сочувствовал Балджи, недалекости которого одна жена Тася не замечала, но он был искренне возмущен тем, что над Балджи потешаются. «Разве Маруся допустила бы когда-нибудь такое безобразие? — думал он. — При ней тоже был малограмотный предметком из наблюдателей, а она секретарем. Но она учила своего председателя чорт возьми!»

— И если уж на то пошло, — говорил Ветловский, — то дело всегда в секретарях.

Балджи поднял голову и посмотрел на Ветловского благодарным взглядом. Смелея с каждой минутой, он даже слегка подмигнул Ветловскому: «Мол, ничего, обойдется! Как, друг, считаешь?»

Мрачно поглядев на Балджи, Ветловский большими шагами пошел к двери.

На крыльце стоял Петров и курил, глядя в открытую дверь на собрание.

— Администрация, между прочим, присутствовать на перевыборах обязана, — сердито пробурчал Ветловский.

— Мне отсюда все слышно, — спокойно ответил Петров. — Что вы волнуетесь, Станислав Михайлович? Такой коренной житель, а еще не привыкли к здешним нравам!

Ветловский сбоку раздраженно смерил Петрова взглядом. Он знал, что не так давно Петров получил, наконец, письмо от жены. И будто бы очень хорошее: говорили, что жена Петрова скоро придет. Ветловский слуху не верил. Но, очевидно, получение этого письма сильно подействовало на ботаника — он стал заметно мягче, всегдашнее спокойствие его приобрело оттенок довольства, и хотя он работал как вол, но даже пополнил.

Помогла тут, впрочем, и тетя Феня. Хозяйственное сердце старухи не выдержало зрелища одинокой стряпни Петрова. Она настояла, чтобы он у них столовался, а затем простерла руку и на его бесприютное жилище — убирала у него, топила и подбрасывала на письменный стол спички.

— Я с вами прошлый раз хотел мяться, — строптиво и наивно сказал Ветловский. — Теперь опять не хочу.

Петров слегка улыбнулся.

— Разве мы с вами ссорились, Станислав Михайлович?

— Не в этом, между прочим, дело. А в том, что мы друг друга изрядно не переевариваем.

— Вы мне напоминаете тетю Феню, Станислав Михайлович, — ровным голосом сказал Петров. — Она тоже всегда старается проникнуть в корень вещей.

4

Безмятежно-тихий, чудесный вечер заглядывал в окна, принося с собой запах цветущих яблонь. Белорозовая пена яблонь маячила под самым окном.

Лемме сидел у открытого окна, в полоборота к комнате, и, лениво поглядывая в книгу, видел из-за строк и яблони, и голубые горы на горизонте, и все, что делалось в комнате.

Жена перетираала чистым полотенцем поблескивавшие округлостями чашки и, каждую оглядев со всех сторон, ставила на

стол. Девочки, в возрасте от пяти до одиннадцати лет, все вместе играли в куклы. Все четверо, они были очень похожи друг на друга: с русыми волосами, заплетенными в две тонкие, мышинные косички, и худенькими, остроносими лицами. И, как у матери, у всех у них немного выступали над губой верхние зубы. От этого казалось иногда, что это одна и та же девочка в разных возрастах. Усугубляло сходство еще и то, что младшие во всем подражали старшим. Маленькая Женя, приводя свою куклу в гости, говорила так же серьезно, как старшая Катя: «Ах, вы дома? Мы вас застали? Вот приятность!», с той только разницей, что Катя не говорила «приятность», а просто «приятно».

Ласково улыбаясь в усы, Лемме рассеянно, в благодушной истоме, прислушиваясь к кукольным разговорам девочек, к пчелиному гуду за окном, к позвякиванию посуды в руках жены. Изредка взгляд его натывался на широкий квадрат на полу, более темный, чем остальной пол. Лемме легонько вздыхал и отводил глаза.

Несколько лет на этом месте стоял комод. Не бог весть какой, но все-таки комод, удобный, прочный и даже довольно красивый. Жена часто его протираала сухой тряпочкой, и комод все еще тускло блестел полированными боками. И вот комод постигла «превратность»: жена Лемме продала его, в то время как сам Лемме бродяжил за справками для Абдулаева.

До сих пор Федор Платоныч не мог удивиться, как жене его удалось здесь, в лесу, продать комод. Тем не менее, это случилось. Мимо дома по бешуйской дороге проезжал из Симферополя с базара колхозник-татарин. Он зашел напиться. Жена с ним разговорилась. Денег в доме не было, муж отсутствовал вторую неделю, и жене уже мерещились всякие ужасы: как пропал Федор Платоныч где-нибудь, может быть арестован по наговорам Абдулаева, может быть заболел в дороге от худой, случайной еды и огорчений... И, в полной растерянности, в тревоге за мужа и за завтрашний день, она переложила белье из комода в старую корзинку и продала комод за семьдесят рублей. «Колхозники теперь богатые стали, — говорила она виновато мужу. — Я сама не подорожилась. Он дал бы больше».

Комода было жаль. Но что такое комод? Это была «превратность» такая незначи-

тельная, что не стоило о ней и думать. Зато вся жизнь встала на место!

Федор Платоныч Лемме имел вид человека, воспрявшего телом и духом. Даже «превратность» он стал говорить реже и произносил это слово совсем иначе — не с горечью, а с удовлетворением и тайным удивлением: вот, дескать, уж поевратность — так превратность!

После исчезновения Абдулаева Изабеков предложил Лемме снова стать делопроизводителем, но Лемме гордо отказался. Однако, как только директором сделался Петров, Федор Платоныч немедленно занял свой делопроизводительский пост. Сидя за конторским столом, он испытывал наслаждение, какое должен испытывать человек в родном доме, отвоеванном у врагов.

Легкая тень набегала на сияющий от хорошей жизни и от лысины лоб Лемме лишь при мысли о том, что Абдулаев все еще не пойман, и хотя «эта мерзкая бочка» никому не страшна теперь, а все-таки где-то он бродит. И вдруг задумает завернуть в их сторону, бандит недорезанный!

— Позови Станислава Михайловича ужинать! — сказала жена Лемме, внося в комнату кипящий самовар.

Лемме прошел через тесные сенцы и поступался к Ветловскому.

— Да, — глухо отозвался голос Ветловского.

Лемме просунул голову в дверь:

— Станислав Михайлович, ужин на столе!

Окинув взглядом комнату, Федор Платоныч неодобрительно покачал головой.

Ветловский жил в комнате, как на улице. В двух окнах не было ни одного стекла. Однажды Ветловский ушел на несколько дней, не закрыв окна. Пролетел весенний ураган с грозой и высадил все стекла. Жена Лемме слышала сильный и ломкий звон, но поделаться ничего не могла: Ветловский запер комнату, боясь, что девочки послают микроскоп. Это был совершенный вздор: девочки, такие спокойные и разумные, не сдвинули бы с места ни одной букашки, разве посмотрели бы немножко коллекцию в стеклянных ящиках.

Лемме уже заявил в управлении, что Ветловскому необходимо вставить стекла. Но когда-то еще доберется стекольщик до Холодной Воды? Сам же Ветловский относился к отсутствию стекол совершенно равнодушно и даже положительно: «Между прочим, это очень удобно, — говорил он. —

Можно теперь совсем не возиться с открытием окон. Закрытые рамы не хлопают и не скрипят, а воздух все время чист».

Ветловский сидел, склонившись над микроскопом, припав глазом к окуляру. Он не сразу понял, чего хочет от него Лемме, и смотрел на него диковатыми, рассеянными глазами. У ног Ветловского валялся на полу измятый рюкзак, на кровати лежали сачки, на подоконнике были расставлены морилки и тут же запыленный стакан с недопитым чаем, подернутым мутой. («Вот он где, стакан-то, — подумал Лемме. — Жена не доискивалась одного стакана, думала, кошка столкнула в кусты, а он вон где! Эх, Станислав Михайлович! Предложили чайку горло прополоскать, а он и чай не выпил и стакан не отдал.») Повсюду — на полу, под кроватью, на табурете — лежали спиленные куски дерева с корой, пестрой от множества извилистых дорожек, проложенных каким-то жуком.

Заботливый и радивый хозяин, Лемме с огорчением взирал на этот беспорядок.

— Позволили бы жене убрать малость, Станислав Михайлович! — сказал он нерешительно.

— Ваша жена, вероятно, чудная хозяйка, — сказал Ветловский, накрывая микроскоп листами бумаги. — Но она не специалист и может, между прочим, что-нибудь здесь перепутать.

— И вот всегда вы так! — с мягкой досадой сказал Лемме. — Точно одни специалисты пол могут мести! Я вот тоже специалист невеликий, а сколько месяцев двор в управлении мёл!

Ветловский улыбнулся:

— Вы были прекрасным метельщиком, Федор Платоныч. Теперь там много больше мусора.

— Ну, уж и прекрасным! — Лемме был очень польщен.

Так противоречива человеческая природа: немного стеснясь этого чувства, Лемме очень гордился своей работой метельщика, хотя должен был бы ее ненавидеть.

Когда сели ужинать, пришел Сидоров.

— Честной компании! — продребезжал он, появляясь.

— Как раз к чаю! — приветствовал его Федор Платоныч. — Садись, Силантий Прокофьевич! Откуда бог несет?

— Из Симферополя, — садясь и жадно поглядывая на стол, сказал Сидоров. — Капитона Васильевна за мануфактуркой посылала. Да-с! Достал мануфактурки не-

множко. До Бешуя с оказией доехал, а после уж на своих двоих. Имею вам сообщить велику новость! — выпалил он, от торопливости давясь словами.

— А что такое? — встревоженно спросили в голос супруги Лемме.

— Кажется, период «новостей» и необыкновенных событий давно кончился, — насмешливо заметил Ветловский. — Что может еще у нас случиться?

Девочки, застыв, пристально смотрели на Сидорова в восемь глаз.

Несколько минут Сидоров торжественно молчал, задрав бороденку, выпучив блёклые глаза и наслаждаясь нетерпением слушателей.

— Да не томи ты, Силантий Прокофьич! — простонал Лемме.

Сидоров откашлялся важно, погладил бороденку и тогда начал проникновенно:

— Поймали Абдулаева! Это самое, значит...

— Слава господу богу! — воскликнул Лемме, широко перекрестился и, покосившись на Ветловского, заторопился смущенно: — Я, само собой разумеется, неверующий. Просто к слову пришлось. Уж больно приятно услышать!

— Н-да-а! — очень недовольный тем, что его перебили, протянул Сидоров. Потом снова воспрял: — И вот, значит, поймали этого борова поганого в одесском порту. Хотел совместно с другим бандитьём податься, значит, на фелюге в Турцию...

— Ну, уж это вы врете, Сидоров, между прочим, — сказал Ветловский. — Что Абдулаеву в Турции делать? Нехватает там без него жулья всякого? Хотя... кто его знает...

— Вот именно «хотя!» — заспешил Сидоров, разбрызгивая слюну и опустив глаза: — про фелюгу и про Турцию он только что выдумал для эффекта. — Справедливо поймали заметить, Станислав Михайлович: кто его знает, этого надувальщика?

— А откуда вообще вы это знаете? — недоверчиво спросил Ветловский. — Может, и все враки?

Лемме увял и устремил на Сидорова тощующий взор.

— Нет, как же, как же! — засуетился Сидоров, тем более обиженный, что у него нет-нет да и ёкало сердце, как подумает: «А ведь Абдулаева-то таки поймали!» — Что ж это вы, Станислав Михайлович, все уж из веры выпускаете? Истинный бог! А говорил мне, конечно дело, Муртазаев. Я

его в Симферополе видал, где находился он по делам алуштинской милиции и угрозыска при исполнении служебных обязанностей. И так он и сказал: в одесском порту задержали, уж с месяц как... А мы-то сидим, не знаем! И, конечно дело, будет теперь над им суд.

— Ну, слава богу, слава богу! — сказал Федор Платоныч и, покраснев от досады, вытер лоб платком. — Что это ко мне нынче бог привязался? Как привяжется что, так это не дай бог! Тьфу! Дай-ка мне, Серафимочка, кваску!

Вторая по счету девочка встала и пошла в сени за квасом.

— Кушайте, пожалуйста, Силантий Прокофьич! — говорила жена Лемме. — Кушайте, прошу вас! Уж какую вы нам радость доставили! Подумайте, как он Феденьку тогда припекал!

— Припекать-то припекал, да не допек! — отрываясь от кружки с квасом, самодовольно сказал Лемме.

— Ну, еще чего знаете, Силантий Прокофьич? — спросил Ветловский. — Выкладывайте зараз!

— А еще... — прожевывая крутое яйцо, проговорил с трудом Сидоров. — Еще... н-да... — Он громко хлебнул чаю из чашки и судорожно скривился, обжегшись.

— Как лошадка попил, — звонко сказала младшая девочка и от удовольствия хлопнула в ладошки.

Ветловский захохотал. Засмеялись остальные три девочки. Федор Платоныч улыбнулся с отеческой снисходительностью. Сидоров покраснел так, что жилы на лбу вздулись, пробормотал обиженно:

— Н-да! Детство!

Мать наклонилась к девочке и зашептала ей укоряюще в покрасневшее ушко. Девочка раза два сильно мигнула и заплакала.

Сидоров смягчился, сладко улыбнулся, порылся в кармане:

— Эх, конфетки не захватил! Не плачь, цыпушка!

Девочка посмотрела на него исподлобья и отвернулась.

— Так вот, значит, — сказал Сидоров, — Рустэмка уж чего-нибудь да натворит! И все ему чего-нибудь отвозить попадается. То он при Марии Алексеевне, дай ей бог всякого здоровья, эти... гм... кормушки вез. А на-днях пришлось ему везти в Алушту научного ботаника одного, к Сергей Николаевичу приезжал.

— Какого еще научного ботаника? — спросил Ветловский. — Фамилии не знаете?

— Фамилии я его не знаю. Говорят, с Ленинграду приехал, в Алуште живет. Фамилия ему какая-то простая: чи Иванов, чи как. Но только человек попался не простой, а вроде мудрёный. Везет его Рустэм на линейке, а он слазит да слазит.

— Как это слазит? — спросил Лемме.

— Ну, «хочу, — говорит, — пройтись пешочком». И сам то отстанет, то вперед пойдет. Оглянулся раз Рустэмка: не видать научного ботаника!

— Причина этого «слазания» была, вероятно, очень проста, — неодобрительно посмотрев на Сидорова, заметил Ветловский.

Федор Платоныч покосился на жену и на внимательно прислушивавшихся девочек и сказал мягко:

— Желудочное заболевание легко происходит на юге с непривычки.

Сидоров захихикал:

— Этой причины не знаю-с. Да нет, он в кусты не заходил, просто плетется шагком, воздухом дышит. Вот и решил Рустэмка, что ботаник отстал. Ну, и едет тишком, еле-то-еле, а то и вовсе лошадь попридержит, постоит. Только доехал он до одного поворота — глядь, а там ботаник на камешке сидит, узоры в пыли палочкой рисует. «Думал я, — говорит, — что вы уж, знаете, никогда не приедете». А другой раз наоборот: думал Рустэмка, что ботаник вперед ушел, и ну лошадь гнать! Гонит-гонит, а того все нет. Ну, что делать? Потерял научного, да и только! Повернул он лошадь да назад поехал. И точно — встретил ботаника.

— Да Ширанов все это, между прочим, нарочно делал, — сказал Ветловский. — Ничего он не думал. Просто нашелся ему дурачок подшутить.

— Оно, может, и так, — подрыгал бородой Сидоров. — Рустэмка такой! А рассказывал, так перехохотался весь. «До Алушты, — говорит, — цельный день ехали». Может, и нарочно. — Он проглотил зевок.

— Постилать буду, спать пора! — сказала жена Лемме, вставая. — Говорят, в управлении теперь старушка живет хорошая? У Акименко.

— И ничего не хорошая, — пренебрежительно махнул рукой Сидоров. — Обывается всяко. И цокает. Ровно белка. Пустая бабка!

Давно упали плотные, влажноватые сумерки. У девочек слипались глаза. Маленькая, Женя, спала, положив щеку на стол и свесив ручонки. Старшая сестра подняла ее на руки и понесла, откинувшись все худеньким телом назад, в заднюю комнату. Проходя мимо окна, она вскрикнула, кое-как посадила мотнувшую во сне головой девочку на пол, привалив к стенке, замахала в окно руками, закричала:

— Киш! Киш! — И побежала к двери.

И две другие девочки тоже замахали руками, закричали:

— Киш! Киш! — И побежали из комнаты.

За окном послышались хруст, топот и шелест.

Федор Платоныч подошел к окну:

— Олень! Да как хорош! Матёрый! Посмотрите, Станислав Михайлович!

Сидоров вытянул шею не вставая и, разумеется, ничего не видя, но все-таки сказал:

— Великолепие! Экземпляр!

Не поворачивая головы, Ветловский проговорил уныло:

— Животное крупнее стрекозы для меня не существует. — Вид у него был отсутствующий.

— Скучает без Марии Алексеевны, — конфиденциально шепнул Лемме жене.

Жена понимающе кивнула.

— Ох, уж чего я не делаю! — обратилась она к Сидорову. — Целый флакон одеколона на огородное чучело вылила. Говорят, олени духов боятся. И ничего они не боятся! Всю капусту попортили.

— Одеколон ни к чему, — сказал Сидоров. — Слышал я, что надо цилиндру настоящую, старорежимную чучеле на голову надеть, тогда олени точно пуга. . . На полвине слова он вдруг клюнул носом и легонько всхрапнул. Потом выпрямился, встряхнул бородой, обвел всех подозрительным взглядом и сказал отчетливо:

— Олень — оно, словом, животное!

5

Частота поселения короедов интересовала Ветловского превыше всего. Кроме того, он писал письма:

«Остатки картошки, которая росла при вашем содействии, я частично съел самостоятельно, а большую часть отдал Лемме: я у него стал столоваться. Только очень часто пропускаю обед, а потом мне неудобно бывает спросить, и жена Лемме

очень обижаются, если вечером вдруг сообщат, что я еще не обедал. Но, действительно, не могу же я, придя из лесу, сразу требовать обед, точно в ресторане? И так даже удобнее: зараз и обедаешь, и ужинаешь. И посуды меньше грязнись.

Наше бревно на шоссе раскололи на дрова. Но не в этом дело. Мы найдем новое. Я согласен, между прочим, срубить самый толстый бук. Хоть руками. Лишь бы вы на нем сидели.

«Ключи от моего «потерянного рая» (я имею в виду ключ от дома, где вы жили) я уже сдал. В вашем доме поселился новый завхоз. Он тоже татарин, как и Абдулаев, но, конечно, нисколько на Сеитабду не похож. Прежде всего он худ. Фамилия его Сахалатдинов, а зовут Абибула. У него огромная семья — штук пять детей, так что теперь в управлении ходить небезопасно: легко наступить на полуголого ребенка.

И у Акименко ведь сын лет восьми. Как видите, целое нашествие детей! Если бы вы тут были, вы бы непременно организовали детский сад или что-нибудь в этом роде. Ну, а без вас дети по вечерам бегают по дорожкам возле директорского дома, который сейчас пустует, и визжат; днем бегать слишком жарко. Но, тем не менее, этот Сахалатдинов, кажется, приличный человек. И он даже член партии».

«Все больше у нас становится народу. Развелось «несметное количество», как говорит тетя Феня (я о ней вам уже писал, занятая старуха и вам бы понравилась). Если так пойдет дальше, то скоро, пожалуй, кончится наше изобилие помещений. Не так уж много было у нас домов, а все-таки сколько оставалось свободного места, помните? А сейчас и красный уголок заняли. Шашки и прочую дребедень, которой такую первостепенную важность придавал Баджи в свою бытность предместкома, перенесли в «церкву», как говорит та же тетя Феня. Конечно, на лето; зимой там все равно из-за холода ни одной партии не сыграешь.

Так вот об увеличении населения. Ведь еще и гидролог, говорят, придет. И зоолога у нас теперь два. Но что касается зоологов, то, хотя Акименко мне нравится, пусть бы их совсем не было. Разве не лучше было, когда зоолог был один?..»

«Подумайте, мы так «обросли», что называется, что у нас появилась легковая машина. Да, настоящая машина, черная и блестящая! Так что теперь, не только в Москве, вы могли бы при желании проехаться на «М-1».

«Загон окончательно закончили. Простирается он на полтора километра. Ваш очкастый заместитель с помощью Рустэма Ширанова и ряда других наблюдателей загнал туда штук 15 косуль и пять муфлонов. Но муфлоны, говорят, уже частично выпрыгнули. Акименко уехал в Аскания-Нова за зубрами. Неужели сердце ваше не бьется сильнее от желания увидеть зубров, когда их привезут? Наконец, у нас и зубры будут! Четвероногие! Двуногих у нас было достаточно».

«Стали съезжаться практиканты. Ко мне, к счастью, пока приехала только одна девушка. Я к ней еще не пригляделся.

С тех пор как поймали Абдулаева, Лемме совсем сняет и папки свои держит в руках, как какой-нибудь жезл (правда, папки на жезл непохожи, но и Лемме на египетского фараона — также). А Сидорова увезли для следствия, и он не вернулся больше...

Я вами недоволен, Маруся. Вы редко пишете и очень коротко. Я уж не говорю о том, что вы пишете реже, чем я хотел бы, но и объективно — редко. В две недели раз письмо — и на том спасибо! Вы просите фотографии, значит, скучаете без здешних мест, и это уже хорошо. К сожалению, не могу удовлетворить вашу просьбу. Фотографией я совсем не занимаюсь — не тянет».

«Был на-днях в управлении и, между прочим, оформил газету. По-моему, она плохая: мало заметок о конкретных носителях зла. Уж неужели у нас все стало так прекрасно? Вон в школе, — прошлый раз говорили на собрании, — дети дней пять сидели полуголодные: кухарка продукты детские съела. То ли дело была у нас газета, когда вы остро и крепко подергивали Абдулаева или Изабекова. Так что и фото и местная наша пресса совсем зачалаи.

Не напрашивается ли отсюда вывод, что вам надо бы вернуться? Кстати, каникулы совсем скоро. Поздравляю вас с круглыми

нятерками по всем предметам. Простите, что не сделал этого сразу. Но ведь я от вас другого и не ждал».

«Сегодня мне «повезло»: был в управлении, так как приехали два новых практиканта-энтомолога, и, между прочим, пришлось водить экскурсию. В дороге сильно пропылился, а умыться не успел, — экскурсанты ждали, — и я вспомнил, как вы один раз водили экскурсию, насквозь продыленная. У вас что-то случилось с плитой. И как одна какая-то дама-экскурсантка спросила: «А почему это так пахнет дымом? Здесь всегда так?» А вы ответили сердито, что это сосновой хвоей пахнет, а совсем не дымом, хотя от вас так сильно пахло дымом, что тошно делалось».

А дама, приехавшая откуда-то изда-лека и, как видно, не шибко мозговитая, удовлетворилась вполне и сказала, очень довольная: «Какие дивные сосны! Как хорошо пахнет... дымом!» И вы потом смеялись: «Будет теперь, умница, всюду рассказывать, что крымские сосны пахнут дымом!»

Экскурсия мне попаласть какая-то разношерстная — «с бору по сосенке» — из ОПТЭ. Когда я подходил, кто-то сказал весьма горласто: «Говорите, пожалуйста, пониженным тоном!» Водитель идет». Голос показался мне знакомым. Я взгляделся и увидел... Прутникова. Мне так странно почему-то было видеть его среди экскурсантов. И почему-то грустно. Когда я кончил им показывать музей, он подошел ко мне и спросил, пишете ли вы? Я сказал: «Да, хотя не часто». Он сказал: «А мне-то она, скверная девчонка, за все полгода только два письма написала». И когда я с ним разговаривал, я подумал, что, ведь и правда, уже много времени прошло (а часто мне кажется, что вы уехали вчера). Но это хорошо, что полгода, и даже немного больше, уже позади. Скорее придет конец вашей аспирантуре...

Что за странная идея приезжать сюда на экскурсию! Я сказал об этом Прутникову. Он удивленно пожал плечами — видимо, не понял, что я хотел сказать. А вот я никак бы не мог притти сюда с экскурсией. Разве приходят с экскурсией в родной дом?

Теперь я часто представляю себе свой отъезд отсюда... Боюсь, что мне было бы крайне трудно отсюда уехать. Так подумать, что тут особенного? Ну, горы, лес... торчат деревья — и все. Но не в

этом дело. Что за никчемную фигуру я представлял бы собой без короедов и *Orchestes fagi*? Ведь работы здесь еще непочатый край — целый океан.

Но, кроме короедов, дело еще в том, что живу я здесь двенадцать лет и из них почти два года именно здесь я был очень счастлив. Много это или мало? Да, много. Но если знать, что предстоит еще вся жизнь, так сказать, пустая, то, пожалуй, мало. Но, милая Маруся, если бы вам это, действительно, понадобилось, я бы переселился хоть на Северный полюс или в Серпухов, который, наверно, теперь называется как-нибудь иначе (я бы и там нашел «букашек», выражаясь языком тети Фени).

У меня такое чувство, что счастье было у меня в руках и я его выпустил. Теперь я думаю, что я совершил большую ошибку, не просив вас много раз открыто и отчетливо, пусть даже навязчиво, стать моей женой. Я не делал этого, потому что мне казалось, что и так совершенно ясно, что я хочу этого всей душой и всем сердцем, больше всего в жизни. Так к чему же слова? Что ясно это не только мне, но и вам. И правда, разве вы не знали, что я люблю вас и иметь вас своей женой было бы для меня тем самым хорошим, о чем только может мечтать человек? Да, вы, конечно, знали, не могли не знать, что я люблю вас, но знали вы, конечно, по-своему как-то, не так, как я.

Теперь я это понимаю. И в этом моя ошибка, что я не просил вас все время. Мысленно я столько раз просил вас стать моей женой, что у меня было отчасти такое чувство, что я уже сказал это неоднократно, а вы просто не ответили еще ни да, ни нет. И потом мне казалось: вот это еще не самый лучший момент сказать, и этот вот еще не самый лучший...

И еще одно: мне ведь так бесконечно хорошо было с вами; хоть вы и часто на меня сердились и были со мной строги, я знаю, что вы хорошо ко мне относились, по-настоящему хорошо. И я невольно боялся что-то нарушить, понимаете? Я невольно держался за то, что есть, страшась перейти на что-то новое.

Будем говорить прямо: я боялся, что вы мне категорически откажете, не так ли? Но нет, не совсем так: сказать так — это будет слишком грубо, на самом деле это много сложнее и тоньше... Но что же вы скажете мне теперь?»

Трясогузка суежилась на камнях возле самой воды. Она прыгала мелкими-мелкими шажками, непрерывно тряся длинным тоненьким хвостиком, раздвоенным на конце.

Сидя на камне, Мустафа Каранджи пристально следил за трясогузкой: «К чему это она так скачет? Видно, играет. Да ведь одной играть плохо! Вот если бы их было несколько, они могли бы хоть догонять друг друга». Если бы трясогузка сидела неподвижно, то ее было бы трудно заметить: спинка у нее серебристая, брюшко желтое, а на горле черное пятно, и речные камни такие же — серые с желтоватинной, а что в воде, то темное. Но трясогузка никогда не остается неподвижной, она всегда трясет хвостиком: покачает, покачает, да трясь-трясь-трясь! В этом на нее немножко похож старый наблюдатель Сидоров: этот тоже нет-нет да и потрясет бородой, что козел, как хочет бодаться.

Может быть трясогузка и когда спит — тоже трясет хвостиком? Он бы спросил об этом Марусю, которая была «золот» и которая очень жаль, что уехала. И отец всегда говорит: «Очень жаль, что Маруся уехала, это плохо, — она была сильно хорошая, понимала в лесу и уважала наблюдателей». Он, Мустафа, непременно спросил бы ее, трясет ли трясогузка хвостом во сне?

Скоро уже пора будет жить в школе. И можно бы спросить учителя. Но знает ли учитель про трясогузку? Может быть, нет. Теперь школа ему будет ближе от дома. С тех пор, как отец стал начальником охраны, они переселились и стали жить там, где жил прежде Умэр Муртазаев, который тоже был начальником. И можно будет прибежать домой на неделе, среди ученья, а не только в выходной, как прежде. Скучно бывало столько времени без дома, без матери! Он-то еще ничего, а Хатэджэ много плакала. Но из прежнего дома было ближе до Яйлы, где можно бежать, не останавливаясь, во весь дух, вместе с ветром, свистящим в ушах. А скорей бы в школу! Мустафа запел школьную песню:

Тур, аркадаш!
Тан агырды
Китмэк кэрэк талемгә! 1

1 Вставай, товарищ! Как рассвело, итти надо учиться!

С непрерывным журчанием струилась речка. Голос воды заглушал песню, мешался с ней, и Мустафе казалось, что он поет вместе с речкой. Противоположный берег реки перед глазами Мустафы был высок и подымался отвесной стеной — свисали обнаженные корни деревьев, как длинные, спутанные бороды, торчали красноватые скалы. От воды тянуло прохладой и особым, сильным запахом воды, мокрого мха, облепившего камни, речных водорослей на дне.

От песни и оттого, что ноги он держал в холодной воде, Мустафа совсем отдохнул. Он вскочил, перешел вброд речку и быстро стал карабкаться на гору, черный, тоненький и гибкий, цепляясь за кусты и корни, не чувствуя твердой кожей босых ног, как пятки его колют сучки. На спине его болталась небольшая деревянная шайка; он привязал к ней веревку и надел на шею, чтобы не связывала рук. Выйдя на полянку, Мустафа пустился бежать.

Сегодня он точно бродячий цыган. Мать послала его за шайкой в прежний их дом, — там теперь жил совсем новый наблюдатель, — мать забыла там шайку. Шайку ему сразу отдали, но идет он сейчас вовсе не домой. Нет, он пойдет в управление, будто бы он ищет отца. В управлении должно быть собрание наблюдателей.

Но что ему отец? Он любит отца, но он его и так видит. А ведь там приехал мальчик, Володя — мальчик, сын нового «золота». Один раз Мустафа его уже видел. Мальчик был светлый-светлый, весь белый: кожа, и волосы, и рубашка, и босые ноги. Он подошел к Мустафе, и они смотрели-смотрели друг на друга. Потом Мустафа отвернулся и стал насвистывать сквозь зубы. А мальчик дернул его за рукав и спросил, в каком он классе и хорошо ли жить в школе, потому что с осени он тоже будет у них учиться, только у русского учителя, а не у татарского. И потом они долго разговаривали. Мальчик Володя оказался младше и он все спрашивал, читал ли Мустафа такую книгу и еще такую книгу.

Мустафа ничего этого не читал. Он был в третьем классе и ему было одиннадцать лет, но он не очень хорошо читал по-русски. Но книги он любил, и ему стало очень обидно, что он никогда не видел всех этих книг, о которых говорил Володя. И он спросил надувшись, да знает ли еще Володя, что машины на Яйлу взбираются за

снегом в самую жару, огромные грузовики из Гурзуфа и Ялты, и колеса их так и заносит на поворотах? А зимой олени и косули и муфлоны лежат на солнцепеках, и под ними подтаивает снег... Да ведь еще совсем недавно — в прошлом году осенью у них был завхозом такой толстяк, который оказался бандит, и он позволял браконьерам стрелять в наблюдателей, не только что в косуль, и одного наблюдателя-старика убили. И мальчик Володя так слушал, что глаза у него стали очень большие, и он перестал спрашивать про книги.

Еще Мустафа рассказал, что однажды весной, когда он был еще маленький, он нашел крошечную косулю-хараджу. Наверно, мать ее где-нибудь пропала. Она пицала и была мала, как заяц. Он ее выпоил коровьим молоком и, когда она выросла, он отдал ее в «зосад» — вот он какой, Мустафа! И мальчик Володя смеялся от восхищения и подкакивал на месте.

А Мустафа был сильно смущен этим шумным восторгом, потому что на самом деле все обстояло далеко не так приятно.

В тот год летом к ним на казарму пришел незнакомый человек, смешной, толстый, в очках, похожий на зажмурившегося кота. Вечером они сидели с отцом и разговаривали и всё смотрели на лежавшую у печки хараджу. Мустафа по-русски нехорошо понимал, но что-то стало ему беспокоино, и, когда отец зачем-то вышел за дверь, он пошел за ним и спросил: кто этот человек и чего он хочет? И отец объяснил ему, что этот человек из Москвы, приехал он сюда случайно, а теперь увезет с собой хараджу. Он там, в Москве. — «старший наблюдатель» и «заведующий», а дичь вся живет у него в каменных вольерах. И Мустафа сразу понял, что отца обманули, потому что каменных вольер не бывает, каменные бывают дома, а если животные живут в домах — то зачем тогда наблюдатели? Не может быть, чтобы были такие смелые браконьеры, чтобы лезли в дома.

И он ни за что не хотел отдавать хараджу и очень просил отца не отдавать толстому. Но отец, всегда добрый, рассердился и не смотрел на Мустафу и сказал, что нельзя — надо отдать. Ему было самому очень жаль хараджу, и он от этого так сердился. И Мустафа резал в огороде вместе с Хатаджэ и Гюлимдан, которая смеялась; она была тогда совсем мала и ничего не понимала.

И хараджу, действительно, увезли на грузовике на другой день. И Мустафа даже не пошел посмотреть на грузовик, он стоял возле дома и смотрел в другую сторону все время, разве только один раз посмотрел на машину, и то ее не видел, потому что в глазах его от злости стояли слезы.

Но это ничего, что он не так рассказал мальчику Володе, потому что теперь он бы действительно сам отдал косулю — пусть смотрят все, там не видали! А тогда он даже не знал такого слова «зосада», ему всего года два назад рассказала с «зосаде» Маруся и даже подарила книжечку, тоненькую, с крашеными картинками. Книжечка долго лежала у матери в сундуке, но потом Нури ее вытащил и намотил на нее, и она испортилась.

Теперь-то Мустафа многое знает. Он — пионер с прошлой зимы, и был всю зиму Чапаев «Васильваныч» и одно время был Шмидт.

И Володя говорил, что он был — был Чапаевым, ему даже надоело, а Шмидтом он тоже уже побыл и теперь он — Стэнли. Вот «Стэн-ли» — такого Мустафа не знает.

Раздумывая, Мустафа шел, надев на голову шайку, чтобы ловчее было итти, и рассеянно глядел перед собой.

Внезапно внимание его привлекло что-то яркое, прицепившееся на самых нижних сучьях куста, росшего на краю балки. Мустафа поставил шайку на землю. Несколько прыжков — и он уже отцеплял тонкие веточки, с любопытством разглядывая то, что висело на кусте. Это был татарский кожаный кисет, обычный, мешочком, однако очень красивый: замысловатым узором были нашиты на нем кусочки цветной кожи.

Мустафа подумал, что ему повезло. Толстая сосна, поваленная норд-остом, совсем загоразивала куст, даже придавила его наполовину к земле, так что он посох кое-где и свежие ветки выбивались с усилием из-под ствола на солнечный свет. Если бы Мустафа шел не напрямик через лес, а по тропке, или зашел бы с другой стороны куста, он бы ни за что не увидел эту хорошенькую вещицу. Мустафа привязал кисет к шайке, чтобы не потерялся, и полез через бурелом.

7

Одно письмо Ветловский писал очень долго. В лампе выгорел весь керосин. У Лемме давно все спали. Ветловский нащипал много тонких и длинных лучинок и

вставил их пучками в четыре бутылки. Чтобы лучины не тухли, он немного наклонил их и у каждой конец загнул книзу. Четыре ярких светильника теперь горели перед ним, слабо потрескивая. Тонкие струйки копоти подымались к потолку. Они были так неподвижны, что казались твердыми столбиками, выточенными из какого-то черного, легкого металла.

На стене выросли четыре огромные тени Ветловского. Рядом, в глубочайшей тишине, дышал ночной лес.

«Милая Маруся, — писал Ветловский, — могу вам сообщить много интересного. Даже не знаю, с чего начать. Во-первых, наконец-то нашли убийц О. М. Щуренко. Убил его Муштаба Ислаев вместе с Абдулаевым. Выяснилось это так:

Муштафа Каранджи, старший сын Ахтэма, нашел в лесу кисет недалеко от того места, где был найден труп Щуренко. Ведь это место весной было кругом обхожено Щурихой и Павлом, да и другими, а вот, представьте, только теперь наткнулся Муштафа на кисет. Рассказывают, что там со сна упала через куст, заметить кисет можно было чисто случайно.

Думали сперва, что кисет принадлежит Щуренко, но Щуриха это немедленно опровергла. Тогда стали доискиваться, чей кисет, и доискались: кисет оказался Муштабы Ислаева. Этот Муштаба ведь был задержан где-то в Карасубазаре вскоре после вашего отъезда, но вскоре же выпущен за неимением улик. Теперь он снова взят. Абдулаев, который, как вы знаете, сидит уже давно, сознался во всем. Они убили оленя, очевидно Абдулаеву «на дорожку», и встретили Щуренко. И убил его Муштаба, чтобы О. М. не рассказал, что он видел его вместе с Абдулаевым. Ведь Щуренко был даже без ружья, так как шел в город к сыну, но все-таки пытался их задержать. Вообще, как видно, это было ужасно. . .

Во-вторых, Изабков пошел по стопам своего излюбленного помощника и тоже сидит в тюрьме. Оказывается, Изабков был членом какой-то националистической группки, связанной с троцкистами. Сам он из мурзаков и был не в Красной армии в начале гражданской войны, а в белой.

С ним вместе сел некий Кишметов. Он был крупным районным работником, а у нас он был членом комиссии по чистке партии. Помните, такой толстый?

Вскрыть их сильно помог секретарь Алуштинского райкома, не помню его фамилии: не то Пруц, не то Друц. Говорят, очень дельный парнишка, хотя и молодой работник. Он еще, когда к нам на чистку приезжал, познакомился здесь со стариком-колхозником, который все спрашивал Изабекова, где тот был в июле девятнадцатого года. Я этого старичка, признаться, совсем не помню. Помните ли вы?

Старичок работал когда-то поденно в саду у Изабекова, когда тот был мурзаком и имел обширные сады в Гурзуфском районе, и Изабков его как-то сильно обидел тогда. С этого старичка все и пошло. Этот Пруц (или Друц) заявил куда надо — стали выяснять прошлое Изабекова. Ну, и выяснили.

Вообще, оказывается, к деятельности Изабекова стали присматриваться еще год назад, после чистки партии у нас, то есть как раз в то время, когда он вас особенно изводил.

Если бы вы это знали тогда, Маруся, вы не чувствовали бы себя такой одинокой. Я ведь знаю, что временами вы себя чувствовали очень одинокой, хоть и не говорили об этом. Вот, оказывается, как все это обернулось серьезно! А мы-то видели разные недостатки у нас, но не знали главного. Теперь я думаю, что вы были правы, когда говорили: «И вольерная сетка становится иногда орудием борьбы».

А Джефир, сын Изабекова, отказался от отца публично и в газете. Сам я, правда, не читал, и даже не знаю, в какой газете. Вот так астроном! Его исключили было из комсомола, но потом опять, говорят, восстановили, так как было доказано, что он, действительно, не знал, кем был когда-то его отец. Когда Изабков «перекрасился», Джефир был совсем крошка, и Изабков так и не открыл ему своего прошлого.

Но самое поразительное и, пожалуй, самое какое-то неприятное — это с женой Изабекова. Она вовсе не немая и очень даже прилично говорит по-русски. А молчала она, потому что ей Изабков запрещал разговаривать, боясь, что она что-нибудь лишнее сболтнет. И потом она и сама не хотела из-за ненависти ко всем нам вообще.

Ну, уж и наговорила она, когда заговорила! Что плюет на всех и ненавидит за то, что у нее отняли сады и дом, за то, что старшего сына (он был в белой армии

кем-то) убили красные, за то, что лишили ее слуг и роскошной, спокойной жизни, а главное за то что младший ее сын был пионером и стал комсомольцем и что муж ее обманывал все годы, говорил: «Потерпи еще немножко, скоро все переменится», а с сыном, как и со всеми, запретил говорить о прежней жизни и ругать теперешнюю.

Развал работы у нас и дружба с Абдулаевым — это, очевидно, еще очень малая доля вины Изабекова. Кто знает, какие зловредные штучки он обдумывал, стоя на своем огороде и так вас этим раздражая? Так, например, большой пожар в колхозе «Ленин-Юлы», — помните, предпоследней зимой? — обошелся не без Изабекова. И в какой мере он «напоролся» на Абдулаева и что о нем знал, точно еще не известно.

Только теперь я вполне понимаю, какой вы ужасной опасности тут подвергались. И теперь мне, задним числом, становится очень жутко. Теперь я думаю, что и Прутникова уволили не случайно. Хоть и пустой он был парень, — вы-то к нему проявляли излишнюю снисходительность, — но такого горластого да и глазастого Изабекову неудобно было иметь под боком. И, вероятно, не раздави косуля термометр, нашли бы другой предлог от него избавиться, — ведь он не отличался вашей стойкостью. Когда он вопил Абдулаеву, что по нем «тюрьма плачет», то сделал упущение, ибо «тюрьма плакала» и об Изабекове. Но, конечно, он это не от прозорливости, а просто так, от любви к оранью, — так что о Прутникове я остаюсь прежнего, невысокого мнения.

Между прочим, все эти подробности об Изабекове и т. д. мне сообщил наш новый директор. А он-то уж знает, раз говорит! Вы удивлены, неправда ли? Я так туго схожусь с людьми и вдруг новый директор мне рассказывает такие вещи!

Открою секрет. Не в том дело, что директор новый, а в том, что он — Макаров. Да, представьте себе! Он вернулся с Дальнего Востока, и его опять послали сюда налаживать работу. Ну, и радости же было! Наблюдатели приходили к нему один за другим, целое паломничество. К Шурихе он сам съезжал на другой же день после приезда. Он ведь очень дружил с Осипом Митрофановичем. И научные работники к нему ходили. Только вы не пришли. И не стыдно вам, Маруся?

Теперь о вашем последнем письме. Как здоровье вашей матери? Надеюсь, она не больна сильно? Вы пишете, что в этом году никак не можете сюда приехать, но, может быть, сможете будущим летом?

И, наконец, о вашем «ответе» мне. Вы пишете: «Не хочу, чтобы вы надеялись напрасно. А вдруг я никогда не смогу стать вашей женой, если и вернусь в заповедник». И затем вы пишете — спасибо вам за это — что очень хорошо ко мне относитесь, даже любите меня, но сами не знаете, «достаточно ли сильно и очень может быть, что недостаточно». И опять повторяете, чтобы я не надеялся ни на что, так как «надежды могут и не осуществиться никогда», и что вы ничего-ничего не обещаете, потому что вы ведь не знаете, «что будет потом».

Когда я читал эти строки, то так и узнавал в них вас: вашу честность и вашу строптивость. Я так отчетливо представлял себе ваше лицо, с каким вы это писали, — такое особое, ваше, строгое и независимое выражение.

Но, дорогая, я все-таки надеюсь. После аспирантуры вы ведь непременно придете работать в эти края. Вы сами писали, что вам очень хочется продолжать работу здесь, и в этом есть прямой смысл: вы слишком многое уже сделали по южной фауне, чтобы это не продолжать.

Вы придете (из трех лет аспирантуры прошло уже семь месяцев и 10 дней и срок вовсе не бесконечен), и тогда мы увидим... Само собой разумеется, что я не требую сейчас твердого и окончательного обещания. Все мы не знаем точно, «что будет потом», может быть я завтра оступлюсь и сорвусь в какую-нибудь пропасть.

Во всяком случае знайте, Маруся: что бы ни было с вами «потом», — здесь вы всегда будете у себя. Всегда, при любых обстоятельствах, если захотите, вы можете сюда притти... Я ведь не умею писать. пишу я чуть-чуть лучше, чем говорю. Но вы меня поймете».

Написав письмо, Ветловский вложил в конверт эдельвейсы. Он делал это почти всякий раз. Крымские эдельвейсы — растение редкое, — росли только на скалистых обрывах, в местах трудно доступных.

Маруся знала, куда надо забраться, чтобы их сорвать, и уже не раз брала в письмах Ветловского за эти засохшие в дороге, светлые лепестки.

Виктор Головин

МАМОНТОВЫЙ ЗУБ

Ты мне прислала мамонтовый зуб,
Завернутый в лоскут оленьей кожи.
Он тверд и темен, как намокший дуб,
На горный пик его края похожи.

Тысячелетья пролежав в песке,
Он превращений испытал не мало...
Я взял его... он был в твоей руке
И рыба чешуя к нему пристала.

Был запах рыбы, дыма и воды,
Гудел комар. В костре трава шипела.
Колючая щетина бороды
Мне с непривычки раздражала тело.

И ты, смеясь, рукой зажала рот.
К щекам пристали жесткие песчинки.
...когда мы расставались, через год,
На месте их, я видел две слезинки.

Я долго думал: взять тебя с собой?
Или с тобой остаться в дальнем крае?
И вот уехал с собственной судьбой,
И был ли прав, и к лучшему ль? Не знаю.

Зато со мной остались на года:
Багровые, колымские закаты,
Вот этот зуб и та, какой была ты,
Какую я любил тебя тогда.

1940 г. Апрель.

Свердловск.

Г. Блок

ОДИН ДЕНЬ

Ломоносов, вытирая полотенцем румяное лицо, щурясь от солнца, высунулся в окошко.

Было раннее утро. Нева — как зеркало. Небо чистое, но бледное. За мачтами барок, на Петровском острове лес кутался во мглу.

«Быть ныне великому зною», — подумал Ломоносов.

Он снял с деревянного болвана белый парик, натянул его на бритую голову, нахлобучил потрепанную шляпу и вышел на крыльцо.

Перед крыльцом мостки. Они идут вдоль всей Первой линии Васильевского острова, от Малой до Большой Невы. За мостками канава, подернутая ряской. За канавой поросшие брусничкой болотные кочки.

Михайло Васильевич внимательно оглядел грозди еще зеленых ягодок, потом выбившуюся из-под мостков крапиву, потом капусту на академическом огороде. Час ранний, а роса уже съедена солнцем.

«Зной будет палучий, — повторил он про себя. — Авось и гроза соберется!»

И, хитро улыбаясь своим мыслям, проглядывая на ходу записку с перечнем дневных дел, зашагал в соседний дом.

Это была лаборатория. Он окинул хозяйским взглядом прочный дубовый сруб, туго проконопаченный паклей, и, вступив в сени, потянул ноздрями знакомый, едкий дух. Пуще своего жилья любил Ломоносов эти пахучие палаты.

Сколько крови из-за них перепорчено! Сколько было всякого шумства и прекословий! Как воротился одиннадцать лет

назад из чужих краев, сразу принялся просить начальство об открытии лаборатории для приращения натуральной науки. Пять лет ушло на челобитья, два года — на канцелярскую волокиту, год — на стройку. Уменье — уменьем, а терпенье — терпеньем. Дотерпел. Хоть поздно, а своего добился.

Девять печей дохнули на него почти непереносным жаром.

Ломоносов подошел к той, где ровным голубым пламенем горела сера. Он набрал пригоршню желтых комочков, подкинул их в огонь, помешал в таганке, принюхался к удушливой серной вони и заглянул в глаза стоявшему у печи распаренному студенту:

— Чего скучаешь?

— Как не скучать, Михайло Васильич! Вчера сера, нынче сера и завтра опять она же. А какой от нее прибыток? Только и проку, что духовита, проклятая.

— Дурак! — отрезал Ломоносов. — Первое дело — мы здесь не для прибытка трудимся, а для науки. Второе дело...

Он возвысил голос, чтобы слышали и другие:

— Второе дело — понеже сей минерал водится у нас в изобилии, то и дешев он безмерно. Добавь его умеючи к иной руде — и руда оттого прибудет в крепости и в цене вдвое, а то и втрое. Вот те и прибыток! Не ленись пытать серу на огне! Она такие феномены нам с тобой покажет, каких ни один физикус еще не видывал. А серным духом не брезгуй: примечены мною случаи, когда он и у золота является

Во второй печи шло определение градусов тепла и стужи. Юркий студент калил на огне то медную чушку, то железный брус, то слиток серебра. Накалив добела, кидал щипцами в воду, закрываясь от пара, совал туда же термометр и, утирая рукавом потный лоб, записывал градусы.

Ломоносов проглядел его табличку, помычал одобрительно и пошел дальше. Полюбовался мимоходом, как железные стружки мечут в кислом пару огненные звезды, просмотрел пробы уральских руд на золото и на серебро, потолковал по-немецки с горбатым стариком, который второй уже год корпел над приведением берлинской лазури в лучшее состояние, и надолго остановился у печи особого устройства, где трое студентов упражнялись в творении цветных стекол.

Ломоносов сдернул с головы парик, скинул кафтан, камзол, засучил рукава сорочки и, отстранив студентов, сам принялся возиться с чаном, где плавился драгоценный состав. Он передвигал его огромным хватом так и этак, то прибавлял, то убавлял огня и, наладив варение по своему вкусу, весь красный, перепачканный в саже, распрямил, наконец, широкую спину.

— Блюдите, чтоб не закипело! — строго наказал он студентам. — И поспешайте! За мешкотность шкуру сдеру. Стекланный завод моими стараниями разрешен. В будущем году пускать будем. Ежели к тому сроку не приведем сих экспериментов к концу, — и вам и мне срам.

Он прошел за переборку к последней, девятой печи. Там обжигалась финифть. Ломоносов нахмурился. В печи огонь горел праздно. Толстый студент в очках, положив на колени тетрадь и низко нагнувшись, что-то писал в ней. Он не заметил, как подступил к нему профессор.

— На что время трагичь?

Толстый вздрогнул и, обронив тетрадь, вытянулся перед Ломоносовым.

— Что писал? Покажи!

— Слово о заложении финифти, — пролепетал студент.

— Слово! — передразнил Ломоносов, бегло проглядывая тетрадь. — Оно и видно, что слово! Словес много, а толку ни-ни! Ты мнишь, будто финифть ложится изрядно токмо на золото? Ни медь, ни серебро для того, дескать, не пригодны? А дозволю спросить, друг любезный, на чем утверждаешься? Случалось ли тебе хоть единый раз финифть на золото класть?

— Не случалось.

— То-то и есть! Так, стало быть, все сие писание не что иное есть, как вздорный вымысел, в твоей пустой голове родившийся?

Ломоносов опять взвысил голос:

— Заруби себе на носу: на подобные речи, из одной головы исшедшие, никакой испытатель натуральных вещей взирать не станет, зане утверждается он единственно на достоверном искусстве. Главнейшая часть натуральной науки — опыты. А ты что? Где твое искусство? Где опыты?

Ломоносов гневно указал на пустую печь:

— Пока дневного урока не кончишь, из лаборатории не уйдешь. Разувайся! Башмаки твои у меня под ключом целы будут. А как кончишь, явишься в канцелярию, к экзекутору да скажешь, что профессор, мол, Ломоносов велел мне, нижайшему, за трату времени да за перевод казенного добра ночевать в холодной, дабы голову мою, пустыми вымыслами распаленную, на досуге остудить.

И, не оборачиваясь на виновного, Ломоносов, с парой студенческих башмаков в руке, прошел в свою собственную химическую камеру.

Здесь его ждала новая досада. Приставленный к его приборам студент, положив руки на стол, склонив на них голову, спал мирным сном и даже прихрапывал. Михайло Васильевич сердито дернул плечом, протянул было руку, чтобы тряхануть ленивца за шиворот, — и вдруг замер. Взгляд его остановился на щеке студента, впалой и землистой. Он вспомнил его бедность, его большую, голодную семью: отец — Минихов, безногий ветеран, мать — в параличе, три сестры, постаревшие в девицах...

— Умаялся, сердешный! — пробормотал Ломоносов и, опустив руку на костлявое плечо спящего, разбудил его с осторожностью:

— Пора ртути варить, Вася! Проверял ли его вес? Накрепко ли сосуд заплавлен?

Через полчаса ртуть в заплавленном стеклянном сосуде была сварена и остужена.

Вася осторожно отбил горлышко сосуда и перелил остывшую ртуть в чашечку деревянных весов. Ломоносов внимательно следил за его движениями и сам сверил полу-

ченный вес с весом ртути, записанным до варки. Цифра оказывалась одна и та же.

Лицо Ломоносова просияло:

— Так и есть! Вот они, весы-то! Без весов нет физики и химии.

И, помахивая перед студентом бумажкой с цифирью, прибавил с торжествующей улыбкой:

— Сим опытом лишний раз нашлось, что славного Роберта Бойля мнение ложно: без пропуска внешнего воздуха вес сваренного металла остается в одной мере.

Потом взгляделся в васины усталые глаза и сказал еще:

— А унывать не надобно. Голоден, да жив! Без денег, да не без работы! Когда учился я в Москве, в Спасских школах, жалованья платили мне алтын в день. Подлинно с хлеба на квас перебивался. Других харчей не нюхал. И было так не день, не месяц, не год, а пять лет. А чему учили? Сколько верст от земли до неба да каково число небес, да отчего у женска пола борода не растет. И сие пустословие принуждали долбить по-латыни! Все вытерпел. Все перевозмог. И вот гляди-ка: из мужицких сынов вышел в профессоры; был неграмотным рыболовом, а сделался Академии Наук первенствующим членом. А все оттого, что до уныния себя не допускал.

Три часа спустя Ломоносов ехал левым берегом Невы с постройки стеклянного завода. Академическая двучка трясла немилосердно. Дорога была разбита ломовыми подводами, и первенствующего члена Академии Наук так вскидывало на ухабах, что он лягал зубами. Спеша назад в Академию, глотая пыль, отмахиваясь от слепней и мух, он то прикидывал в уме, сколько кирпича уйдет еще на главный фабричный корпус, то вспоминал про варку ртути, то подбирал мысленно перекрестные рифмы для заказанной ему придворной трагедии, то мечтал о вождеденном часе, когда уединится в мозаической мастерской, то принимался сочинять надпись для иллюминации по случаю предстоявших именин царицы. . . А в промежутках нет-нет да и окинет глазом линючий столичный небосвод: не набегают ли тучи? Но небо, как и утром, было безоблачно. Стоячий зной давил виски.

Ровно в полдень вошел Ломоносов в конференц-зал Академии. Его ждали. Началось заседание. Оно затянулось часа на три. Читали пространные письма корреспондентов, чужеземных и своих, толковали

о северном ходе в Ост-Индию Сибирским океаном, спорили, кому ехать летом в калмыцкую степь, и под конец надолго завязли в пререканиях, обсуждая порядок публичного акта. На Ломоносова возлагали обязанность читать на этом акте ученую речь, но о предмете речи не могли сговориться. Ему не терпелось огласить свои электрические воздушные наблюдения, однако это новое, неизведенное дело ни в ком не встречало сочувствия.

Ломоносова злило до крайности, что его приятель по сердцу и единомышленник профессор Рихман, который, состязаясь с ним, вел такие же наблюдения, почему-то его не поддерживает и, предавшись обычной рассеянности, молча уставился в окно. А главный его противник, ехидный историограф Миллер, сыпал тем временем преобидными колкостями. Он намекал и так и сяк, что ничего-де нового в ломоносовских наблюдениях нет и что франклиновы славные открытия по отводу грома Ломоносов выдает, мол, за свои.

Как ни удерживал себя Михайло Васильевич, но душа кипела. Он знал, что шума не миновать. Мириться с наглой клеветой было невтерпез.

Вдруг Рихман вскочил с кресла, подбежал к окну и, буркнув что-то невнятное, поспешно вышел из зала.

За спорами и перекорами никто не придал значения этому уходу. Никто, кроме Ломоносова. Когда слово взял другой его враг, писклявый академик Винцгейм, Ломоносов встал, потянулся и, как бы разминая ноги, подошел к окну.

От норда шла огромная туча, похожая на кривую наковальню.

«Побежал шельмец электрическое напряжение измерять, — подумал Ломоносов про Рихмана. — Хочет во время грозы свой указатель испытать. А я чего зеваю?»

Через несколько минут он уже стучал каблуками по дощатым мосткам Первой линии.

— А я тебя с обедом жду, — обрадовалась ему жена.

— Не до обеда ныне! — ответил Ломоносов, указывая глазами на небо.

И, выйдя на двор, осмотрел свою громовую машину.

Это был укрепленный на крыше деревянный шест, увенчанный железной раздвоенной стрелой. Проволока тянулась от стрелы к воротам, а оттуда в кабинет к

Ломоносову. Там к концу ее были подвешены железная линейка и шелковая нить.

Туча, поднимаясь из-за Петровского острова, затянула уже полнеба. На грозной ее синеве лес казался неестественно зелен. Над ним, рассекая эту синеву, то-и-дело полыхала молния. Подул холодный ветер, и Нева почернела. Гром, перекатываясь из края в край, разражался по временам такими трескучими ударами, что в академическом доме дребезжали все стекла и злое еще гудел высокий шатер железной кровли. Но дождя не было. Жена переводчика Голубцова второпях снимала с веревки детское белье.

Ломоносов, вернувшись в кабинет, не спускал глаз с машины. Притыкался к проволоке пальцем. Хватался за линейку. Никакого признака электрической силы! Только шелковая нить как-то чудно гонялась за рукой.

— Ши на столе! — крикнула из другой горницы жена.

В это самое время с конца проволоки посыпались с сухим треском голубые искры. Ломоносов отдернул руку.

— Беги смотреть! — отозвался он жене.

Она подскочила к машине. Опасливо подошла жена Голубцова с узлом белья подмышкой.

— Свидетелями будете! — сказал Ломоносов. — Сейчас явятся разных цветов огни. А Рихман спорит...

Он не успел договорить. Новый раскат грома небывалой силы заглушил его слова. У самой его руки, которую он все держал у железа, что-то затрещало, и вывалился целый сноп радужных искр.

Ломоносов отпрянул от линейки и оглянулся на жену. Она, схватившись в испуге за голову, что-то крича на ходу, выбежала из комнаты. За ней и Голубцова.

Он любопытствовал еще минуты две или три. Упали первые, тяжелые капли. Удары грома становились реже и глуше.

«Эх, ши-то, небось, простыли!» — подумал Ломоносов и тут только вспомнил, что с утра не было у него во рту и маковой росинки.

Он подошел к окну: отвесные полосы ливня уж застилали сплошным пологом академический огород.

Не успел Михайло Васильевич опрокинуть в рот чапарку можжевелевой водки, как в столовую вбежал долговязый рихманов гезель. Весь мокрый до нитки, без шляпы и бледный как мертвец.

— Профессора громом зашибло!

— Что брешешь?!

Гезель, мешая русскую речь с немецкой, путался в словах.

... В самую грозу Рихман стоял на фут от машины, наблюдая близорукими глазами электрическое напряжение на своем указателе. Внезапно от линейки отделился бледносиневатый огненный клуб и метнулся профессору в лоб. Раздался удар, будто из малой пушки. Рихман, не издав ни малого голоса, повалился навзничь, на рундук с приборами. С тех пор не приходил в себя. Так рассказал гезель.

Ши остались недоедены. До квартиры Рихмана было недалеко. Он лежал на постели. На лбу, покрытом восковой бледностью, алено продолговатое пятно. Ломоносов приложился ухом к груди друга. Сердце не билось.

Одежду не опалило нигде. Но на левой ноге чулок и подметка башмака были разорваны и нога посинела.

— В землю ушла сила, — выговорил Ломоносов.

Он подошел к вдове:

— Ваших слез, сударыня, осушать не хочу. Однако ведайте: заодно с вами прольет их всяк, кто в науке разумеющ. Блаженные памяти супруг ваш плачевным опытом своим явил всему свету, что электрическую громовую силу отратить можно. Самую смерть свою сумел он употребить во благо человечеству. Имя друга моего Рихмана не умолкнет!

Голос Ломоносова дрогнул.

По пути домой он завернул в лабораторию. За переборкой толстак в очках хлопотливо шлепал у своей печи босыми ногами. Дневной финифтяный урок был исполнен отменно. Ломоносов вернул студенту дырявую его обувь, усмехнулся, дал легко подзатыльника и разрешил не ходить к экзекутору.

У себя, в химической камере, он остановился на миг в нерешимости. Мысли двоились и троились. Надо бы еще проверить кое-что с ртутью. Но в наимилейшей сердцу мозаичной мастерской ждала неконченная персона. И тянула к себе, будто некий магнит. А из памяти все не выходило темновишневое пятно на восковом лбу.

Войдя в душную мастерскую, он распахнул обе створки широкого окна. Промытый грозой воздух был свеж и душист. Косые лучи солнца падали на холст, которым за-

вешена была персона. Ломоносов откинул его и застыл в задумчивости перед сурьбым ликом Петра, набранным его рукой из пестрых мастичных камушков.

«Схоже! — подумал Ломоносов. — Только над переносом скопилось какая-то бесполовая чернота».

И, забыв все на свете, Михайло Васильевич принялся выковыривать камушки из царского переносья.

От семи до восьми, всякий вечер неутомительно, диктовались ученикам пролегомены.

Ломоносов, расхаживая взад и вперед по мхурому кабинету, заставленному натуральными, медленно цедил слова. У трех окон скрипели на разные голоса гусиные перья студентов.

Ломоносов подошел к печке и остановился, глядя в пол. Перья умолкли. Он вскинул голову и, закрыв глаза, проговорил глуховато:

— Пишите! «Ежели где убудет несколько материи... то умножится в другом месте»... Написали? Пишите далее! «Все перемены... Все перемены, в натуре случающиеся... такого суть состояния... что... что сколько у одного тела отнимется... столько присовокупится к другому...»

— Написали? Ставьте точку! Пунктум! Складывайте перья! На сей день хватит. А тетради оставьте мне на ночь. Буду исправлять.

В дверях он задержал тощего Васю:

— Уразумел ли, куда варение металлов и растворение солей нас вывело? Сотни экспериментов утверждают сей непреложный закон природы.

Лицо Ломоносова вдруг потемнело:

— Закон велик, да людишки малы. Не поверят мне наши олухи. А кто поумнее, те прикинутся неверующими мне назло. Одна надежда на правнуков... ежели долоте какой ни на есть французишка не перехватит моей идеи.

Он тряхнул париком и dokonчил уже с улыбкой:

— Не беда! Через сто, через двести лет правда выйдет наружу. Пускай хоть тогда помянут добрым словом российского академика Михайлу Ломоносова.

Проводив учеников, он вынул из-за обшлага свою дневную памятку. Оставалось еще два дела: дописать третий акт траге-

дии для придворного феатра и сочинить письмо графу Шувалову о пособии сиротам Рихмана. Они в нищете. А ежели не одолеет сон, надобно выправить и пролегомены.

Наступали сумерки. Время освежить голову прогулкой.

Переводчик Голубцов курил на завалинке глиняную трубочку.

— Айда, Голубцов, на взморье!

Сутулый переводчик покорно ползл за краснощекиным академиком.

От моря возвращались длинной просекой — Большой першпективой. Стемнело. Голубцов то и дело претыкался о корни. Ломоносов закинул голову. Над двумя стенами черных елей протянулась синяя небесная улица, и звезд высыпало много множество.

Михайло Васильевич расстановочно, внятно, с той самой приятностью и ломкостью в голосе, какой славился еще смолоду у себя на селе и за которую не раз колотили его тогда завистники, прочитал стихи:

Открылась бездна, звезд полна:

Звездам числа нет, бездне — дна.

Вдруг переводчик услышал веселый хохот.

— Памятна мне сия ода, а тебе, Голубцов, должна быть и еще того памятнее.

И опять озорной, мальчишеский смех.

— Тому лет десять в академической конференции осердился я однажды на профессора Виндгейма за его ничтожество. И тут же, публично, в присутственный час показал ему кукиш. Да еще пригрозил сгоряча, что все зубы ему поправлю. Посадили меня тогда в карцер на целых семь месяцев. Поделом, не спорю! В узилище я времени не терял. В числе прочих дел сложил там и сию оду. Выпустили меня, заставили прощенья просить у академиков, жалованье убавили наполовину. А я все не унимаюсь! Ведь недели одной не прошло, как я тебя, друг мой, за какую-то твою причину шандалом по лицу тяпнул. Вот те и ода!

Переводчик захихикал подобострастно, поглаживая ладонью старый рубец на скуле. Ломоносов обнял могучей рукой его щуплые плечи:

— Не затаил на меня злобы? Ну, и ладно! Нет и во мно памятозлобия. А мне ли не досаждали враги?

— Передохнем, что ли? — прибавил он, помолчав.

Они уселись на двух пеньках.

— Не робеешь в эдаких дебрях да еще ночной порой? — спросил Ломоносов и продолжал, не дожидаясь ответа: — Когда эту просеку только еще прорубали, повадился я прогуливаться здесь вечерами. По душе мне был смоляной дух, какой от свежих пней шел да от ободранного корья. Холмогорами пахло. Как-то под праздник выскочили на меня из-за кладки дров трое матросов и давай тянуть с плеч моих кафтан. Разбойнички! Я стяхнул их с себя да как ткну одного кулаком под грудь. Он упал замертво. Другому маханул по зубам. Стал он кровью плевать да и утек в лес. Остался я с третьим один-на-один. Свалил его, подмял под себя и говорю: «Перво-наперво раздевайся, а вторым разом называй по имени себя и товарищей!» То и другое он исполнил, и отпустил я его нагишом на все четыре стороны. А на утро одежу его форменную представил в Адмиралтейство. Слышать, всех троих сыскали.

Трубочка Голубцова вспыхивала крас-

ным глазком. Ломоносов при неверном свете звезд глядел на свои ладони.

— Послужили вы мне, белы ручки, за сорок за годов на совесть! — заговорил Ломоносов нараспев. — Вами я на Белом море треску да полтосину ловил. Вами отцов баркас смолил. Вами соль грузил. Вами в двадцать лет, от натуги потея и плача, выводил латинские литеры. Вами сорвал с шеи обманом повязанный прусский рекрутский галстук. Вами проломил в немецкой караульне окно и вышел на волю. Вашими мозолями и в нынешний свой чин возведен. А что сегодня вы меня едва до кончины не довели, когда молонью тянулись поймать, — в том я вас, белы ручки, не виню.

Он примолк и добавил уже другим, вкрадчивым голосом:

— Однако полагаю все же так: одними руками великого не сотворишь, коли в голове не пламенеет гениус. Как скажешь, Голубцов?

Огни были погашены. Только на углу Пятой линии, в доме Рихмана светилось одно окошко.

Николай Волков

НАРУС

Он возникнул, на волне качаясь,
Белый угол, тонкий и косой.
Я смотрю на море —
И скучаю
По тебе,
Курчавой и босой.
Вот он,
Тонкий, гибкий, наклонился,
Ветром
Щеки белые надул.
Или он
Воды морской напился,
Иль
На дно морское заглянул?
Не доносит ветер
Мое слово.

Ты согнулась,
Выбирая сеть.
Море
Цвет сменило
На лиловый
С голубого
И пошло темнеть.
За волной волна
Встает в прибое,
Все равно с волной
На берег мой
Ты,
Тряся серебряной серьгой,
Набежишь царевною морской!

1940 г.

ТИНЬКА

Скрипнув рогами, олень подошел к шатру. От утренней зари розовела белёсая морда. Постояв у порога, бык почесался о нарты, прислоненные к стенке кувоксы, шумно вздохнул. Звякнул в жилье пустой котел.

— Сейчас! — негромко сказала Тинька и осторожно вылезла из-под затрепанной шкуры.

В шатре было еще темно, храпели мужчины, тоненько свистела носом старуха. Стараясь не разбудить спящих, девочка поползла к выходу.

Возле полога она долго ждала, пока повернется брат Ялтусова, тяжелый, обрюзгший старик, и освободит дорогу: женщина не может переступить через лежащего мужчину. Широко распахнув рот, тот спал у самого входа.

Потом, наконец, выбралась из шатра.

Всходило солнце. В распадке между буграми легла оранжевая полоса. Отблескивали запотевшие травы, над озером курился туман. Было очень рано и тихо. Фыр-кал разгребавший мышиную нору пес.

Тинька погладила оленя, запихнула под кухлянку тонкие черные косы, переплетенные ремешками, торопливо свернула на тропинку к озеру. Огибая бугор, девочка остановилась. Шатер был еще на месте. Невысокий, дряхлый, из обрывков шкур. Однако привычного оживления не замечалось. Не вилял над продушиной дым, не грызлись собаки из-за пищи. Два тощих оленя стояли на берегу возле высоких, тяжелых нарт. Сухие, огромные рога отражались в озере.

У входа в жилье сидел Коста. Старый пастух молча сосал потухшую трубку и не шевелился. Озаренное утренним светом, морщинистое лицо его было мрачно.

— Я думала, уже уехал, — сказала Тинька. Запыхавшись, она остановилась сзади. — Совсем проспала. Чок тоже проспал. Видно, далеко бродил.

Девочка потрепала по загривку следовавшего за ней оленя, легонько оттолкнула.

— Однако успела, — добавила она удовлетворенно и уселась на камень против старика.

Пастух вынул трубку, поднял голову. Хорошая усмешка проступила на его темном, обветренном лице.

— Пришла?

Потом он снова умолк, отвернулся. Девочка видела, что старик чем-то расстроен и даже не подходил к нартам. Недоумевая, она поглядывала то на Косту, то на светлевшую гладь озера. Крякнула в осоке утка, легкая рябь бежала по воде. Затем с беспокойством оглянулась на хозяйское жилье. Там было все еще тихо.

— Разве не поедешь? — спросила она, наконец, пастуха. — Совсем светло!

Старик молчал. Тридцать оленей и полную упряжь обещал он привезти с собой в колхоз, куда уходил навсегда от Ялтусова. За тридцать зим тридцать оленей — справедливое расставание. Но длиннорукый дал только двух самых старых быков и негодные нарты. Как теперь явиться в новое стойбище? Может, не пустят и назовут обманщиком?

— Разве нельзя меньше? — удивилась Тинька, когда старик, не в состоянии дальше сдерживать горечь, поделился своей обидой.

— Видно нельзя. — вздохнул Коста. Поднявшись, он медленно ушел в дырявый, продушенный шатер.

Над буграми поднималось солнце. Прошуршал в осоке ветер. Упали на воду сухие листья можжевельника, плеснула рыба. Тинька встала и заторопилась к стаду. Сейчас проснется Ялтусов: надо спешить, чтобы не увидел.

— Какой жадный колхоз! — подумала она, хмураясь.

Коста уехал. Ялтусов, ковыляя по тундре, почти касаясь кочек кривыми, длинными руками, отобрал еще двух оленей.

— Полная запряжка! — сказал он, притворяясь добродушным. Самые лучшие быки! Ни одному пастуху не давал. Тебе даю.

Больше он не уговаривал старика остаться и не грозил. Тинька даже подумала, что он слишком добрый. Ей было досадно, что столько оленей ушло из стада.

После отъезда Косты, Ялтусов поручил ей важенок.

— Вместо него будешь! — сказал он, насупившись, и глянул на ее тонкие, детские ноги. — Пропадет важенка — поломаю ногу. Две пропадут — другую сломаю.

Кинув ей ношенные торбаза, оставшиеся после младшей жены, Ялтусов неторопливо занялся чаем.

От гордости Тинька почти не слышала угроз. Она выбралась из кувоксы и сразу же побежала к оленям. Двенадцать зим прожила, две зимы пасла вместе с Костой, и никогда не поручали ей отдельного стада... Забыла даже о Косте.

Какое утро девочка вылезала из шатра, манила Чока.

— Пойдем! — говорила она старому другу. — Помогать будешь. Видишь, одна теперь. — добавляла она строго и, важничая, озабоченно морщила лоб.

Бык фыркал, тянулся к ней волосатой мордой, обнюхивал руки, всегда приносившие лакомство, а потом плелся следом, выщипывая на кочках ягель.

Часто она оставалась в стаде ночью и, чтобы не мучил голод, пила из озера много воды. Ложилась на берег и хлебала до тех пор, пока брюхо не становилось круг-

лым и твердым, как олений бок. Ялтусов кормил пастухов только один раз — перед тем как итти в стадо. На ночь не давал ничего. Голодные не будут спать!

Ночи становились длинны. Снега еще не было, но мох подмерзал, хрустел словно стеклянный, изморозью покрывались валуны. Тонкая пленка льда опоясывала берег, на оленьих рогах оседал иней. Улетели гуси.

Тинька брела по тундре, продиралась сквозь низкие заросли полярной березки, взбиралась на камни. От лунного света неясно мерцала равнина, бесшумно паслись олени. Было пусто и тихо и по-зимнему холодно. Девочка тихонько подзывала Чока, — вдвоем не так страшно среди ночной пустыни, — грела озябшие руки, снова продолжала обход.

Пугали волки. У нее не было даже собаки. Летом бродяга-медведь, спустившийся с гор, раздавил ее псу череп. Звериная стая подходила близко и, лежа на буграх, выла. Важенки сбивались теснее, переставали щипать мох. Прячься за Чока, Тинька кидала в хищников камнями, торопливо раскладывала костер. Но, едва лишь звери удалялись, сразу же его гасила. Возле огня было так тепло и сухо и так хотелось спать!

Чтобы не задремать, она не надевала меховых чулок. Сквозь тонкую подошву торбазов нестерпимо мерзли ноги, нужно было все время двигаться.

Первое время она редко вспоминала Косту, вечерние беседы у костра о далеком, непонятном поселке, который русские называют «колхозом». Напыжившись от гордости, она даже не замечала брата Ялтусова, большеротого, слюнявого старика, хватавшего ее всегда при встрече за грудь. Она чувствовала себя большой и сильной, как настоящие пастухи. И ждала, что Ялтусов похвалит. Но тот молчал.

Согнувшись и опустив кисти рук, достигавшие колен, упираясь на подъемах цепкими пальцами, он проворно ковылял с бугра на бугор, оглядывал равнину.

Потом, когда дни стали совсем короткими, низко над холмами висело солнце, и на мерзлую траву оседали первые снеговые пушинки, девочка все чаще думала о Косте. Видно, худо там одному! Вместо тридцати быков, привел только упряжку.

— Может, не кормят? — высказывала она свои опасения Чоку, сопровождавшему ее по тундре.

Олень переставал жевать мох, словно прислушивался к ее словам. С морщинистых, белесых губ свисал клочок ягеля.

Девочка озабоченно хмурилась, забиралась в пустой шатер, брошенный стариком, подтыкала лоскутья ровдужной обтяжки, приносила для костра охапку вереска. Если вернется, пусть не думает, что она забыла.

Но старик не возвращался. Тинька брела к стаду и, взобравшись на камень, долго глядела в сторону синих холмов, куда ушел Коста. Изредка, если важеньки скоплялись у озера, она рассказывала сказку Чоку, единственному теперь другу. Когда-то слышала от старика.

— Четыре девочки и один мальчик, — говорила она оленю и, раскачиваясь, обхватив колени руками, закрывала глаза. — Далеко-далеко в тундре жили четыре девочки и один мальчик. У них было сорок оленей. У одной девочки все олени были белые, как снег, у другой — все олени пестрые, как мох, у третьей все олени — черные, как камень, и у четвертой — красные, как солнце. У мальчика не было оленей. Только один бык. . .

Но Чок не слушал. Лениво копытил на бугре ягель, медленно жевал, встряхивая ветвистыми, сухими рогами. Тинька огорченно вздыхала, сползала с валуна. Не вернется старик! Видно, совсем осталась одна!

Было холодно и пусто. Прерывался снег.

Шли дни. Снег укрыл равнину, замерзло озеро. Разбивая пушистую белизну, олени копытили мох недалеко от стана. Осень была сытая, жирные важеньки не торопились разбредаться по тундре.

Тинька забиралась в покинутый шалаш, украдкой зажигала ветки, грелась. Потом осторожно, чтобы не увидел Ялтусов, возвращалась к стаду. От стужи коченели ноги, не слушались руки, холод леденил все ее маленькое, худое тело. Утром она уже не спешила, как прежде, в тундру, старалась подольше остаться у большого огня в жилье Ялтусова. И еще чаще вспоминала Косту. Старик никогда не давал ей мерзнуть. Наверно, совсем забыл!

— Проклятое стойбище! — со злостью бормотала она, думая о поселке, куда ушел Коста. Слезы выступали в уголках ее глаз. — Самых лучших людей огня!

Девочка шагала по неглубокому снегу, прыгала с кочки на кочку, приседала, падала, размахивала руками и никак не могла согреться.

В конце месяца на озере покказалась оленья упряжка. Животные бежали быстро, нарты скользили мимо береговых камней, скрывались за поворотами, снова появлялись на гладком, прозрачном льду.

«Кто такой?» — подумала Тинька и, чтобы лучше разглядеть, полезла на валун. К Ялтусову никто не ездил в гости.

Спустя полчаса она узнала упряжку. На этой самой четверке осенью приезжал русский из нового стойбища у холмов. Он уговорил Косту покинуть Ялтусова.

Тинька всплеснула руками, соскочила с камня. Первую минуту хотела бежать, узнать про старика, но потом остановилась, подняла брошенный второпях аркан, нахмурилась. Русский теперь не скажет. Может, даже не признается. Однако она с трудом дождалась первой звезды и, как только стемнело, пробралась в жильё Ялтусова.

Русский сидел, как сидят пастухи — поджав ноги, курил коротенькую, старую трубку. Кружок огня озарял его пухлый, поросший рыжей щетиной нос, в темных, прищуренных глазах таилась усмешка. Гость курил и молчал. Видно, он только-что кончил говорить.

Молчал и Ялтусов, подмявший под себя медвежью шкуру. Глаза его оставались полуприкрытыми. В жильё копошилась только старуха. Звякала на столешнице чашками, жадно обсыпала кости.

— Ладно, — сказал, наконец, Ялтусов добродушно, — через две ночи я пришлю тебе двадцать быков. Пусть будет, как он сказал!

— Тридцать! — отозвался гость и вынул изо рта трубку. Усмешка в глазах потухла.

Тинька видела, как левое ухо у Ялтусова дернулось. Но старик сдержался.

— Хороший хозяин! — похвалил он вдрызг совсем весело. — Пусть пригоню тридцать!

Ялтусов поднялся, переступил через старуху, достал новый кисет с табаком, неторопливо набил трубку. По тому, как он улыбался одними синими, шершавыми губами, девочка догадалась, что старик взбешен. Она громко вздохнула и с неприязнью поглядела на русского. Видно, Коста ему обещал оленей.

И Ялтусов и гость обернулись. Они только теперь ее заметили. Тинька испугалась, хотела выбраться из шатра, но русский неожиданно удержал за руку:

— Подожди!

Он сказал это так решительно, что девочка притихла. Ялтусов перестал улыбаться, выпустил через ноздри дым, пошевелил длинными, согнутыми в локтях руками.

— Я видел, она пасла оленей, — спокойно обратился к хозяину русский и словно нечаянно потрогал ее обледенелые торбаза. — Работает у тебя? Пастух?

Тинька враждебно отодвинулась. Ялтусов усмехнулся.

— И русские могут ошибиться... Жена! — ответил он с достоинством. Затянувшись, старик важно передал девочке трубку.

Приезжий посмотрел на него внимательно, ничего не сказал. Затем что-то записал в небольшую тетрадь, лежавшую в кожаной сумке.

Через час он уехал.

Тинька сидела, ошеломленная своей неожиданной удачей. Уходя провожать гостя, Ялтусов даже не выгнал ее в стадо. Видно, сказал правду. Больше не нужно мерзнуть, и она каждый день станет наедаться мясом. Жена всегда сидит в шатре, варит пищу, заботится о доме. Однако почему раньше не сказал ей Ялтусов? Наверно, забыл? А может, теперь придумал?

Тинька вдруг засмеялась, вспомнила Косту. Он бы тоже радовался ее удаче.

Очень хорошо, что не поехала с ним. Может, ему там станет худо, и он вернется. Тогда они будут жить в одном шатре... Потом вздохнула. Нет, наверно, не увидит больше! Прошло много дней. Видно нашел хорошую жизнь. Совсем забыл!

Но грустить было некогда: сейчас придет Ялтусов, муж. Она с важностью засопела, старательно встряхнула медвежью шкуру, разложила ее возле очага. Видела как женщины стелят своим мужьям. Затем сняла торбаза и, довольная, улеглась с краю. На место жены.

Она лежала недолго. Ялтусов вернулся злой, расстроенный. Оленей придется отдать, и кто знает, как поступать дальше. Ни одного пастуха теперь не достанешь. Даже насчет девочки пришлось совать.

Увидев Тиньку на шкуре возле огня, он от изумления присел. Кривые руки его достигали щиколоток. Потом понял, и яростным пинком вышвырнул ее из жилья...

Взошла луна. Четкие тени бугров протянулись по тундре, отблескивал на озере лед. Смутно белели ближние, невысокие холмы. Было очень тихо, слышно, как в отдалении фыркнул олень.

Тинька поднялась, стряхнула с кухлянки снег, нашарила отлетевший в сторону вытертый малахай, несколько минут размышляла. Потом вздохнула, потуже завязала ремешки торбазов и решительно пошла к озеру, по следу русского. Искать Косту.

ИЗ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

I

Н. К. Михайловский рисует в своих воспоминаниях следующую картину, относящуюся к его подневольному пребыванию в Любани: «Комната в маленьком деревянном доме, на улице, занесенной снегом, мертвая тишина и непроглядная тьма; в комнате, около стола, освещенного лампой, сидит несколько человек. Глеб Иванович читает,¹ мы все слушаем с напряженным вниманием... Но вот голос чтеца слабеет, слабеет и — обрывается: слезы не дали кончить... Простите, это маленькое личное воспоминание. Но ведь оно, пожалуй, даже не личное. По всей России ведь рассыпаны эти маленькие деревянные домики на безмолвных и темных улицах; по всей России есть эти комнаты, где читают «Рыцаря на час» и льются эти слезы...»

Мое первое знакомство с поэзией Некрасова совершилось в подобной же обстановке. Отец, сельский учитель в одной из захолустных деревушек Курской губ. (до ближайшего уездного города 40 верст тряски по убогим проселочным дорогам!), в таком же маленьком деревянном домике, при свете такой же керосиновой лампы, частенько читал нам, т. е. матери и мне, Некрасова, и голос его, подобно голосу Г. И. Успенского, нередко взволнованно обрывался. Для отца, участника освободительного движения 70-х годов, избравшего тернистый в те годы путь сельского учителя, Некрасов был не просто любимым поэтом, но идейным вдохновителем, и он, читая его, никогда не оставался равнодушным...

Чтения эти сплось да рядом оживались введением вокального элемента. Обладая звучным баритоном, отец хорошо пел и любил петь.

Чаще всего его выбор останавливался на «Огороднике». Драматизм стихотворения, усиливаемый эмоциональной выразительностью отцовского пения, буквально потрясал мое детское сердце. Образ «огородника лихого», проявившего в своих отношениях к «дворянской дочери» столько беззаветной любви и безграничного самоотвержения, делался мне близким и родным.

¹ Речь идет о Г. И. Успенском, приехавшем из Петербурга навестить высланного Михайловского. Успенский читал «Рыцаря на час».

То же самое должен сказать и об образе некрасовского «Школьника». Как живой, вставал он передо мною, сливаясь с образами тех школьников, которые каждое утро шумной гурьбой заполняли отцовскую школу. Ведь и к ним можно было отнести эти всем и каждому известные овеянные грустью, стихи:

Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь...

Однако в целом стихотворение отнюдь не производило на меня угнетающего впечатления. Отец с особым подъемом пел его заключительные слова:

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то-и-знай, —
Столько добрых, благородных.
Сильных любящей душой,
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой...

Я был в то время еще так мал, что даже в этих простых и ясных стихах многого не понимал. Но отец мой недаром приобрел репутацию одного из лучших педагогов уезда: он терпеливо, не жалея времени, объяснял мне каждое слово из прочитанного.

Затрудняюсь сказать, что в эти далекие годы имело на меня преимущественное влияние — отцовские ли объяснения, непосредственные ли впечатления от стихов Некрасова, — могу утверждать лишь одно: Некрасов никогда не воспринимался мною как «гений уныния»; с детских лет он вошел в мою душу как певец любви к народу и веры в народ.

Вскоре после того, как я выучился читать и приблизился к числу «детей-библиофогов», отец подарил мне двухтомное собрание стихотворений Некрасова в издании 1886 г. Сколько незабываемых впечатлений дала мне эта книга! Как много обязан я ей в моем развитии! И теперь, когда мне хочется «просто почитать» Некрасова, моя рука невольно тянется к старенькому двухтомнику, который моложе меня всего только на три года...

Средняя школа, несмотря на то, что это была столичная гимназия, во главе которой стоял известный педагог, славившийся своим либерализмом, к тому же тесно связанный с литературными кругами тогдашнего Петербурга, за все восемь лет моего пребывания в ее стенах ничем, решительно ничем не поспособствовала углублению моего влечения и интереса к Некрасову. Гимназические учителя, придерживаясь буквы реакционных министерских программ, просто-напросто не упоминали о Некрасове. Точно его и на свете не существовало! Когда уже гимназистом одного из старших классов я подошел к нашему словеснику с вопросами, относящимися к жизни и творчеству поэта, то он пробурчал в ответ нечто невнятное и поспешил оборвать разговор.

Только однажды гимназия, да и то совершенно случайно, дала мне яркое впечатление, непосредственно связанное с Некрасовым. На один из гимназических «литературно-музыкально-вокальных вечеров» приехал, по приглашению директора, известный артист Александринского театра М. И. Писарев и прочел «не предусмотренное программой вечера» какое-то стихотворение Некрасова. Не могу припомнить, какое именно — ведь свыше 40 лет с того времени прошло! — но во всяком случае я был настолько взволнован этим чтением, что до сих пор мне кажется, что никто и никогда так хорошо, с такими поистине впечатляющими простотой и задушевностью не читал Некрасова, как читал его Писарев.

В антракте я, преодолевая свою застенчивость, подошел к Писареву и, как умея, выразил ему свое восхищение. Безыскусственная похвала подростка, очевидно, была приятна маститому артисту, и он счел возможным вступить со мной в разговор.

— Мое чтение стихов Некрасова, — сказал он мне, — быть может, потому вам понравилось, что я отношусь к этому чтению не как простой исполнитель. Я ведь близко знал Некрасова, любил и люблю стихи его, и эту любовь мне хочется во что бы то ни стало передать моим слушателям... Но не только стихи Некрасова заслуживают любви, он сам ее также заслуживает. До сих пор Некрасова бранят как человека. Эта брань по большей части основана на сплетнях, распускавшихся в свое время врагами поэта. Не верьте, молодой человек, этим сплетням.

Я осмелился заметить своему собеседнику, что раз он так хорошо знал Некрасова — ему следовало бы написать о нем свои воспоминания.

Я это сделаю, непременно сделаю», — уверенно ответил мне Писарев, но — увы! — своего намерения так и не исполнил.

Правда, несколькими годами позже, в связи с 25-летием смерти Некрасова, в некоторых газетах появились отрывки из его воспоминаний о Некрасове, записанные какими-то интервьюерами. Однако это были только обрывки, хотя и проникнутые чувством горячей симпатии к Некрасову, той симпатии, которая сказалаась и в беседе со мной. Беседа эта, впервые давшая мне возможность услышать живое слово о поэте одного из его современников, притом не просто «слово», а «доброе слово», глубоко врезалась мне в память. Ее я помню живее, чем многие из последующих бесед моих с современниками поэта. Об одном только жалею, что у меня не хватило смелости подробнее расспросить Писарева.

Полное игнорирование Некрасова гимназическими педагогами не охладило моего интереса к нему и как только в гимназии было организовано ученическое журнале, я поспешил написать для него статейку о Некрасове критико-биографического содержания. Работая над нею, я отчетливо сознавал и то, как мало я знаю, и то, как трудно мне дается самый процесс изложения мыслей. Вместе с этим сознанием зрело желание приобрести и достаточные знания и соответствующие литературные навыки. Эти знания и эти навыки мог дать только университет.

После окончания экзаменов на аттестат зрелости меня призвал в свой кабинет директор гимназии Я. Г. Гуревич и обратился ко мне с такими словами:

— В качестве и вашего директора и вашего преподавателя истории я не мог не заметить вашей склонности к гуманитарным наукам. Не сомневайтесь, что вы пойдете в университет, на историко-филологический факультет. Не так ли?

— Да, Яков Григорьевич, я собираюсь поступить на историко-филологический факультет.

— Конечно, на историческое отделение?

— Конечно, на словесное отделение.

Этот ответ не только разогорчил добрейшего Якова Григорьевича, но и рассердил: он покраснел как пшоп, а белоснежные его бакки затряслись.

Еще несколько мгновений, и Яков Григорьевич, отставив большой палец правой руки и энергически размахивая этой рукой (его обычная манера), излил бы на меня бурный поток своего негодования. Однако он вовремя вспомнил, что перед ним уже не ученик его гимназии, которого можно при случае распушить, а «абитуриент», как тогда принято было выражаться, взял себя в руки и веско и убедительно стал доказывать мне преимущества исторического отделения. Во многом Гуревич был совершенно прав. По составу профессоров словесное отделение не могло равняться с историческим. Мне было совершенно ясно, что советы и увещания Гуревича продиктованы самыми лучшими мотивами, что он говорит как человек, искренно мне благожелательствующий. Однако я упрямо стоял на своем и на все резоны Якова Григорьевича отвечал одно: «Я иду в университет, чтобы изучать Некрасова».

II

В намерении «изучать Некрасова» меня укрепило совпавшее со вторым годом моего пребывания в университете 25-летие со дня кончины поэта. Эта годовщина сопровождалась таким взрывом общественных симпатий к «музе мести и печали», что приобрела значение крупного события, не лишённого даже политического значения. Здесь, без сомнения, сказалось нарастание оппозиционных, а нередко и революционных настроений, которыми ознаменовалось начало века. Приближался подлинно «революционный период русской истории», и всякий, кто сочувствовал освободительным веяниям, не мог не вспомнить и не почтить памяти самого революционного из русских классических поэтов XIX в.

По утверждению С. А. Венгерова, в особой статье подводившего итоги «некрасовских дней» (см. «Вестник и библиотека самообразования», 1903 г., № 1), не было такого медвежьего угла, где бы так или иначе не было отмечено 27 де

кабря, не было той маленькой провинциальной газеты, которая бы не постаралась дать специальный «некрасовский номер».

В справедливости этих слов я имел возможность убедиться воочию, ибо буквально был завален вырезками из газет, преимущественно провинциальных, предосмыслительно заказанными мною в только что открывшемся «Бюро газетных вырезок».

Прочитывая эти вырезки, нельзя было, между прочим, не прийти к убеждению, что провинциальная пресса высказывалась и о художественной ценности и об общественной значимости Некрасова в гораздо более решительных и категорических выражениях, чем некоторые представители столичных литературных кругов.

Это, конечно, не значит, что чествование памяти Некрасова в обеих столицах прошло бледно. Споры нет, что масштабы литературных юбилеев того времени и литературных юбилеев нашего времени — вещи совершенно не сравнимые. Советская общественность умеет откликаться на эти юбилеи так, как нигде в мире. Передовая общественность дореволюционной России вынуждена была даже в столицах ограничиваться устройством двух-трех «литературно-музыкально-вокальных вечеров». Однако эти вечера сплошь да рядом приобретали чрезвычайно импозантный характер и благодаря высококачественному составу участников и благодаря многочисленности собиравшейся на них публики.

Таким импозантным характером отличалось и чествование памяти Некрасова, устроенное 27 декабря 1902 г. Литературным фондом («Обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым») в зале Тенишевского училища.

Черные сортуки представителей литературной общественности. Целое море серых студенческих тужурок. Светлые кофточки бестужевок и медичек. Кое-где мелькают косоворотки рабочих.

Общее оживление вызывает появление в зале Федора Алексеевича Некрасова и его сыновей, т. е. брата и младших поэтов.

Вечер открывает П. И. Вейнберг. Самая наружность его, — голый череп, пергаментный цвет лица, библейская, почти до чресла, борода, — напоминает собравшимся о том, что он был современником Некрасова. Уже одно это настраивает многотенную аудиторию эмоционально... Ее возволнованность усиливает содержание того краткого вступительного слова, которое произносит Вейнберг.

— Ровно 25 лет тому назад, — говорит он, — день в день, час в час, в страшных физических мучениях скончался наш великий поэт Николай Александрович Некрасов.

Предсмертные страдания его были очень велики.

Двести уж дней
Двести ночей
Муки мои продолжают...

писал он. Но, увы, муки его продолжались не «двести дней», а гораздо дольше. Но и во время этих нечеловеческих мук он сохранил свою умственную и поэтическую силу.

Могучей силой вдохновенья
Страданья тела победы.
Любви, негодованья, мщенья
Зажги огонь в моей груди! —

призывал он свою музу. И этот призыв не остался тщетным.

Вейнберг заканчивает свое слово приглашением почтить память покойного вставанием. Огромный зал поднимается, как один человек...

Я не буду излагать здесь программу вечера. Скажу только, что и во всех выступлениях и в том, как реагировала на эти выступления аудитория, чувствовалась искренняя и глубокая любовь к поэту, чувствовалось сознание, что теперь, когда тусклые сумерки жизни прорезывают зарницы приближающейся революционной грозы, поэзия Некрасова особенно близка, особенно нужна передовому общественному сознанию.

Не буду распространяться о том, насколько радостно взволновали меня впечатления этого «вечера». Для меня стало ясно, что мое отношение к Некрасову не является узко индивидуальным, что оно как бы капля в океане общественных симпатий к поэту. Одна только недоуменная мысль несколько тревожила меня: почему в этом чествовании Некрасова как передового гражданина своего времени так мало внимания было уделено его художественному мастерству?

С тем большим удовольствием я прочел на страницах «некрасовских номеров» московской газеты «Новости дня» ответы целого ряда современных писателей на анкету: «Отжила ли Некрасов?». Среди вопросов анкеты был и такой: «Кто был ближе к правде, тот ли молодой голос, который во время похорон Некрасова прокричал: «Он выше, выше Пушкина, Лермонтова», или Тургенев, категорически утверждавший, что «поэзия даже не ночевала в стихах Некрасова?»

Отвечая на анкету, большинство писателей-современников безоговорочно признало Некрасова великим поэтом, причем о его художественном мастерстве с особой настойчивостью говорили представители того течения, которое казалось мне наиболее далеким Некрасову, — представители символизма.

Так, например, Н. М. Минский писал в своем ответе: «Я считаю Некрасова одним из великих поэтов. Я сам вырос под его влиянием. Я думаю, что истинной поэзии не чужды ни гражданские, ни политические мотивы. Кроме поэта народного горя, я вижу в Некрасове одного из величайших пейзажистов и жанристов русской деревни».

Еще более решительным в своих суждениях о Некрасове был Вал. Як. Брюсов. «Слова Тургенева, — писал он, — что в стихах Некрасова «поэзия-то и нет ни на грош», — грубая несправедливость. У Некрасова самобытный склад стихотворной речи, свои одному ему свойственные размеры и рифмы; это внешние, но безошибочные признаки истинного дарования. Некрасовские стихи легко узнать без подписи; у него свое лицо; это не безличный стих нынешних эпигонов гражданской поэзии. После Пушкина и Лермонтова Некрасов зашел на особый лад, не подражая своим учителям, что тоже доступно только большим дарованиям. Некрасов сумел найти красоту в таких областях, перед которыми отступали его предшественники. Его сумрачные картины северного города могут соперничать с лучшими страницами Бодлера... Как никто, умеет Некрасов пользоваться образами русского сказочного мира. В описаниях природы он достигает иногда почти тютчевской зоркости...»

Не успело еще изгладиться впечатление от отзывов Минского и Брюсова, как я прочел в «Но-

вом пути» (1903 г., № 3) статью о Некрасове К. Д. Бальмонта. Это не столько статья, сколько стихотворение в прозе, в котором автор дает почувствовать читателям трагическую красоту поэзии Некрасова.

Я позволял себе сослаться на эти высказывания о Некрасове «старших символистов» потому, что они впервые в полный голос заговорили о Некрасове как о великом художнике.

Народническая критика, в лице Елисеява, Скабичевского, Венгерова, зачисляя Некрасова в ряды своих поэтов, интересовалась только социальным смыслом его произведений, а художественной стороной его поэзии не интересовалась вовсе; более того: подчас готова была солидаризироваться с теми, кто считал его слабым художником. Любопытно, что и Г. В. Плеханов в своей известной статье о Некрасове, приуроченной к тому же 25-летию смерти поэта, с величайшим уважением говорит о Некрасове-гражданине, а Некрасова-художника ставит очень невысоко.

Прямо-таки удивительно, что и народники и Плеханов не учли в своих суждениях о Некрасове того в наше время всякому школьнику понятного обстоятельства, что истинным поэтом, способным влиять на окружающую его социальную среду, является тот, кто не только вдохновляется передовыми идеями, но и умеет создать для воплощения идей этих полноценную в художественном отношении форму.

Несколько слов о моем личном участии в «некрассовских днях» 1902 г.

Оно было очень и очень скромным.

Я выступил с докладом о Некрасове на одном из заседаний «Бесед студентов историко-филологического факультета». Так называлось, — очевидно, по необходимости, чтобы не привлекать подозрительного внимания полицейских аргусов, — студенческое литературно-научное общество, руководимое известным историком, профессором и академиком А. С. Лаппо-Данилевским. Вокруг Лаппо-Данилевского, пользовавшегося репутацией одного из наиболее авторитетных университетских ученых, группировалась та часть студенчества, которая умела совмещать горячий интерес к науке с определенной прогрессивной настроенностью. Реакционные профессора вроде И. А. Шляпкина «Бесед историко-филологического факультета» не жаловали и на заседаниях их не бывали. Так же держалась в отношении «Бесед» и реакционная часть студенчества.

Уровень студенческих докладов, читавшихся на «Беседах», был довольно высок; обычно в роли докладчиков выступали студенты последних курсов, а то и оставленные при университете для подготовки к научному званию.

Я долго колебался, прежде чем сделать заявку о своем докладе, колебался, так как далеко не был уверен в своих силах. Весьма возможно, что колебания эти привели бы меня к решению отказаться от намерения прочесть доклад, но товарищи, близкие стоявшие к «Беседам», сообщили мне, что другого доклада о Некрасове в виду не имеется и «Беседам» грозит опасность остаться без отклика на 25-летие смерти Некрасова.

Около двух месяцев я потратил на подготовку к докладу и 26 ноября сделал его на довольно-таки многолюдном заседании «Бесед».

Доклад мой ставил своей целью характеристику и жизни, и личности, и поэтической и журнальной деятельности Некрасова, т. е. принадлежал

к типу тех критико-биографических очерков, которые пригодны для популяризации, но научное значение обычно не имеют.

Впрочем, молодость автора, которому едва исполнилось 19 лет, горячность, с которой он превозносил «музу мести и печали», широкое использование источников произвели, в своей совокупности, более или менее благоприятное впечатление на аудиторию.

После доклада начались прения.

С очень пространными возражениями докладчику выступил А. М. Евлахов. Он уже кончал университет и пользовался заслуженной репутацией философски образованного студента. Об Евлахове было известно, что он примыкает к левому сектору студенчества и не стесняется высказываться в радикальном духе. Неудивительно, что и докладчик и аудитория склонны были отнестись с особым вниманием к его словам. Однако сразу же выяснилось, что Евлахов стоит на позициях чистого эстетизма, который уже давно потерял кредит в широких кругах студенческой молодежи.

Я не записал возражений Евлахова, и теперь мне трудно было бы их воспроизвести хотя бы с относительными полнотой и точностью, но когда в начале 1903 г. я ознакомился со статьей Евлахова о Некрасове в «Нашей газете» (№ 1), в которой категорически отрицалась художественность некрасовского творчества на том же основании, что «поэт мыслит не проишествиями, не фактами, а образами, которых у Некрасова почти нет» (!), — я убедился, что возражения Евлахова в основном были использованы им в этой статье.

Более того, через десять лет, знакомясь с докторской диссертацией Евлахова, уже профессорствовавшего в одном из провинциальных университетов, я должен был констатировать, что он остался верен своему сугубо отрицательному отношению к поэзии Некрасова. На стр. 326 своего большого исследования «Введение в философию художественного творчества» (1912 г.), процитировав неблагоприятные суждения о некрасовской поэзии Тургенева и Толстого, Евлахов безапелляционно заявляет, что «сам Некрасов признал справедливость такого приговора». Не мог же не признать, ибо «узкую тенденциозность» поставил «целью своей поэтической деятельности». И далее: «Ему было стыдно петь о красоте вдали от горя народного, но не было стыдно писать дурные стихи, которых у него так много. Его тенденциозная, злобная «поэзия» умирает на наших глазах, и близок час ее окончательной смерти...»

Я, как умел, возражал Евлахову, но в моих возражениях было больше горячности, чем умения последовательно и обоснованно опровергнуть точку зрения своего оппонента. Вообще, возвращаясь домой с доклада, я чувствовал себя далеко не удовлетворенным; и слабость моей литературно-научной подготовки ощущалась острее, чем когда бы то ни было, и самый доклад, над которым я работал с таким подъемом, показался бледным, тусклым и чересчур элементарным. Но своего основного взгляда на Некрасова я не изменил ни на йоту.

«Пусть я не сумел доказать как следует своей правоты, но все-таки прав я, а не Евлахов и его единомышленники», — думалось мне.

Как ни велики были недостатки моего доклада, однако студенчество, в особенности радикальное, заинтересовалось. Зимой и ранней весной

1903 г. меня неоднократно приглашали для прочтения его на студенческие вечеринки.

Люди нынешнего времени не имеют представления о студенческих вечеринках дореволюционных лет.

Большая, а то и несколько больших комнат, уступленных «под вечеринку» то каким-либо «сочувствующим» интеллигентом, то корыстной квартирной хозяйкой, пожелавшей нажить денегу.

Передняя и кухня завалены горами студенческих шинелей и девичьих пальто. Столы ломятся под массой самых незатейливых, самых дешевых бутербродов. В сизых волнах табачного дыма мелькают силуэты молодых людей обоего пола. Радостные, сияющие глаза. Громкие, возбужденные голоса.

Сознание, что на вечеринке, — а в то время каждая почти вечеринка принимала характер нелегального собрания, — бывать «опасно», что полиция, чуть только пронюхает о вечеринке, явится и переарестует собравшихся, не только не пугает, а, наоборот, придает вечеринке особый интерес.

Я выступал на нескольких «вечеринках», и всегда невзыскательные посетители их дружно мне хлопали. Я понимал, что эти аплодисменты относятся не столько ко мне, сколько к Некрасову, но это не огорчало меня.

Однажды устроители вечеринки, приглашая меня, предупредили: «У нас будет такой-то (была названа фамилия одного из видных политических деятелей той эпохи, чуть ли ни политкаторжанина народнической ориентации). Непременно приходите... Он интересуется вашим докладом и, наверное, будет выступать по поводу него».

Я был сильно смущен, но все-таки решил пойти. Прочел я свой доклад с особым подъемом, а окончив, впился глазами в сидевшего передо мной и не выпускавшего изо рта трубки бородастого и волосатого народника.

Однако его выступление разочаровало меня.

Плохо ли он помнил стихи Некрасова, был ли глубоко к ним равнодушен, но собственно о Некрасове почти ничего не сказал, если не считать банальных фраз о том, что стихи Некрасова возбуждали сочувствие к народу, — и это, конечно, хорошо, но сам поэт не был активным участником революционного движения, — и это, конечно, плохо. Точно в поучение умершему Некрасову народник распространился о своем участии в революционном движении, о своих заслугах перед ним и т. д. и т. п.

Я слушал и недоумевал: «Неужели мой оппонент не понимает той простой истины, что для революционизирования русского общественного сознания Некрасов сделал бесконечно много, во всяком случае гораздо больше, чем рядовой участник революционного движения?»

III

На четвертом курсе, на который я перешел весной 1904 г., пришлось серьезно задуматься о дипломном сочинении. Для меня в это время было уже совершенно ясно, что я не могу и не должен при выборе темы для этого сочинения изменить Некрасову, но если выбор темы зависел в известной мере от меня, то утверждение темы составляло прерогативу заведующего кафедрой профессора. Заведывал кафедрой И. А. Шляпкин, ученый, не лишенный заслуг, но отталкивавший

прогрессивную часть студенчества своею ярою реакционностью.

Впрочем, к нему относились не без добродушной насмешливости, так как не считали его злым или недобожелательным человеком. Здесь, как это ни странно, сказывалось в известной мере впечатление от его неслмерной толщины.

Мог ли в самом деле быть злым этот вечно пыхтящий и сопящий обладатель не то десяти, не то одиннадцатипудовой туши!?

Каких только анекдотов не рассказывали о толщине Шляпкина!

Но всякий якобы извозчик соглашался везти его, боясь надорвать свою клячонку. А на своих на двох Шляпкин мог передвигаться, да и то не без труда, только по университетскому коридору. Вот и пришлось ему заключить особый договор с каким-то возницей, лошадь которого отличалась необычайной силой и выносливостью.

Когда я обратился к Шляпкину с заявлением, что свое дипломное сочинение намерен посвятить Некрасову, он запыхтел, замахаля руками и категорически отказался утвердить подобную тему.

— Но почему?

— Потому что ваш Некрасов не был поэтом. Его стихи — рубленая проза; их содержание не возвышается над уровнем газетной публицистики, да еще публицистики в антинародном, в антинациональном духе...

Я пробовал было возражать, но Шляпкин не хотел слушать никаких резов. Пыхтение заметно усилилось, что всегда служило признаком того, что профессор начинает раздражаться.

— Я уже наметил тему для вашего дипломного сочинения. Займитесь-ка «Книгой о Христе, объемлющей весь мир» Козьмы Индикоплова. Интереснейшее сочинение, до сих пор очень слабо обследованное!..

— Да я вовсе не интересуюсь Козьмой Индикопловом. Я и в университет-то поступил ради того, чтобы изучать Некрасова...

Пыхтение Шляпкина стало принимать явно угрожающий характер.

— Тогда ищите себе другого профессора! — гневно сказал он и повернулся ко мне спиной.

А другого профессора не было. Единственный доцент по кафедре русской литературы, А. К. Бородин, правом утверждать темы для дипломных сочинений не пользовался.

Я оказался в тупике и не знал, что делать. Когда узнали о моем разговоре со Шляпкиным дома, то отец, человек горячий, заявил, что поедет в университет объясняться с ректором. «Нельзя-де мириться с подобной рутинной, да еще на реакционной подкладке!»

Я убедил отца этого не делать и, выждав несколько недель, вторично обратился к Шляпкину, в надежде, что неблагоприятный исход моей первой попытки договориться объясняется какими-либо случайными причинами и что теперь Шляпкин будет милостивее. Не тут-то было! Шляпкин с места в карьер огорошил меня следующим заявлением:

— Я в качестве профессора литературы официально предлагаю вам посвятить ваше дипломное сочинение «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова. На тему о Некрасове не согласен.

И эта краткая, но выразительная тирада завершилась тем же угрожающим пыхтением.

Мне ничего не оставалось, как пожать плечами и прекратить разговор.

Столь же неудачно закончилась и моя третья попытка договориться со Шляпкиным.

Между тем история моих препирательств с ним огласилась. Студенты, конечно, были на моей стороне, но все же иной раз не могли удержаться от добродушных подраживаний.

— Ну, collega, как ваши дела? Кто же герой вашего романа — Некрасов или Козьма Индиколов?

По зрелом размышлении я решил прибегнуть к содействию лично знавших меня профессоров. Переговорил с А. С. Лаппо-Данилевским, с которым, благодаря его званию академика, считалась даже реакционная часть профессуры; поговорил с добрейшим и любезнейшим Александром Корнильевичем Бороздиным, на дому у которого мне нередко приходилось бывать и пить в компании с хозяином и П. Е. Щеголевым кислейшее кавказское вино, до которого Александр Корнильевич был большой охотник.

Оба обещали попробовать урезонить Шляпкина... и действительно урезонили.

Встретившись как-то со мной в университетском коридоре, он подозвал меня и сказал: «Ну, быть по вашему, — пишете о Некрасове. Только чтобы избежать публицистики, от которой вы, конечно, не удержитесь, если будете говорить о нем как «певце горя народного», — так его, кажется, называют? — обследуйте его литературные дебюты».

Не могу сказать, чтобы меня очень обрадовало это предложение. С легкой руки С. А. Венгерова (см. хотя бы его статью в 40-м т. Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона), я полагал, что литературные дебюты Некрасова, а прежде всего сборник его юношеских стихотворений «Мечты и звуки» не заслуживают внимания исследователя, ибо «характерны не тем, что являются собранием плохих стихотворений Некрасова и как бы низшей стадией в творчестве его, а тем, что и в какой стадии в развитии таланта Некрасова собою не представляют» (Венгеров). Однако у меня хватило такту тотчас же согласиться на предложение Шляпкина. Я ведь не мог не понимать, что если он пошел на уступки, и уступки, с его точки зрения, довольно существенные, то и я не должен держаться непримиримо.

Скоре я убедился, что предожженная Шляпкиным тема имеет и свои достоинства. Просидев несколько месяцев в Публичной библиотеке над изучением литературных дебютов Некрасова, списав от доски до доски весь текст сборника «Мечты и звуки», перечтя бесчисленное количество раз этот текст, — я пришел к выводу, что Венгеров сильно преувеличил недостатки юношеских стихов Некрасова. Отрицать как художественную слабость, так и подражательность «мечтаний и звуков», конечно, было невозможно, но все же не представляло никаких сомнений, что некую стадию в развитии творчества Некрасова они составляют.

Эту именно идею я и положил в основу своего дипломного сочинения, над которым, конечно, не сплешь, а с большими перерывами работал в течение 1904 г. и в первой половине 1905 г.

Когда сочинение было готово и переписано на машинке, я вручил его Шляпкину, ожидая если не громов и молний, то во всяком случае очень скептического отзыва с его стороны.

Опасения мои не оправдались.

Шляпкину моя работа понравилась, и он счел

необходимым познакомиться с ней моих сокурсников. Было организовано особое собрание студентов-выпускников. Открывая его, Шляпкин сделал несколько очень кратких, но удививших меня благожелательностью своего тона замечаний, а затем предложил мне прочесть на выбор три главы моей работы.

В прениях, завязавшихся после чтения, принял участие Александр Александрович Блок, с которым я имел удовольствие учиться не только на одном факультете и курсе, но и в одном отделении — словесном (оно называлось тогда славяно-русским).

Его особенно заинтересовали те страницы моей работы, которые были посвящены выяснению характеристике романтических элементов в юношеских стихах Некрасова.

Разбирая эти страницы, Блок высказал несколько удивительно метких и глубоких суждений о романтизме вообще, настолько метких и глубоких, что под влиянием их мне пришлось внести существенные поправки в свою характеристику романтизма.

Осведомленность Блока во всем, что касалось романтизма, его особенностей и истоков, меня не удивила, ибо мне очень хорошо было известно, что стихотворные опыты самого Блока, относящиеся к его университетским годам, носили на себе печать того же романтизма.

Хотя я и не мог похвалиться особой близостью с певцом «прекрасной дамы», но все же он проявлял ко мне известное внимание.

Ответ, бывало, в пустую аудиторию и начнет читать свои стихи. Тусклый свет вечернего петербургского неба окутывает какой-то призрачной дымкой выразительное лицо поэта. Светлые чуть-чуть вьющиеся волосы; стальные глаза, загорающиеся подлинным огнем вдохновения; профиль римского legionera, — «прекрасного legionera», как называли иногда Блока мои сокурсники, — делали его облик невыразим, привлекательным, заставляли с особым вниманием вслушиваться в звучание его стихов. Их задушевно-лирический строй очень нравился мне по содержанию, — это все были «стихи о прекрасной даме», — казалось чересчур субъективным, чересчур далеким от современности.

Я как-то не удержался и высказал Блоку, хотя и в очень осторожной форме, свое мнение об его стихах, причем как на пример поэта, у которого личное становилось общественным, а общественное — личным, сослался на Некрасова. По выражению лица Александра Александровича я понял, что мое замечание ему неприятно, а ссылка на Некрасова кажется необидительной. Отсюда я вывел скороспелое заключение, что он не принадлежит к поклонникам Некрасова.

Но выступление Александра Александровича во время обсуждения моей дипломной работы убедило меня в обратном. Он не ограничился замечаниями о романтизме как основной стихии юношеского творчества Некрасова, а дал общую характеристику поэзии Некрасова, выдвинул любовь к родине, к народу как основные мотивы.

Не все, далеко не все в словах Блока казалось мне правильным, но они во всяком случае неопровержимо свидетельствовали, что он хорошо знает Некрасова и не раз над ним задумывался.

Впоследствии Блоком было создано несколько стихотворений, вполне подтверждавших это мое впечатление, более того — дававших основание говорить об известном влиянии на него поэзии Некрасова.

Конечно, Блок, автор «стихов о прекрасной даме», и Блок, воспевавший «Россию, нищую Россию» с ее «избами серыми», с ее «песнями ветровыми», — не одно и то же, но ведь и пред-революционные годы, в которые писался «стихи о прекрасной даме», не одно и то же, что овеянное революционной бурей и опаленное революционным пожаром трехлетие с 1905 по 1907 г. Первые же мои беседы с Блоком относятся именно к предреволюционному периоду, а высказывания его по поводу моей диссертации имели место уже в 1906 г.

Уже зимой 1905 г. я имел случай наблюдать, какое впечатление на Блока и примыкавшую к нему группу молодых поэтов-символистов произвело 9-е января. Если раньше они в известной степени тяготели к правому сектору студенческой общности, к так называемым академистам, то теперь лучших, наиболее искренних из их среды властно потянуло налево.

Никогда не забуду своего разговора с одним из близких Блоку студентов — Л. Д. Семеновым, происшедшего все в том же университетском коридоре на другой или третий день после демонстрации. Мне не раз приходилось жестоко спорить с Семеновым на политические темы, так как занимаемая им сугубо академическая позиция возмущала меня до глубины души. И вот этот самый Леонид Семенов подходит ко мне и крайне взволнованным тоном заявляет: «Теперь я вижу, насколько вы были правы, а я неправ. Расстрел мирной демонстрации — это такая гнусность, которой и имени нет. Царю верить нельзя. Старый режим должен погибнуть. Наша обязанность бороться с ним до последнего издыхания...»

Сдав весной 1906 г. государственные экзамены, я с огорчением узнал, что И. А. Шляпкин не считая возможным представить меня к оставлению при университете для подготовки к научной деятельности. Впоследствии некоторые из личных знакомых его передавали мне, что здесь сыграли роль два обстоятельства: моя репутация «неблагонадежного», во-первых, и упорное нежелание писать о Козьме Индикоплове, во-вторых.

Так ли это было на самом деле — сказать трудно. Но мои надежды на оставление при университете рухнули. Пришлось думать о службе, о заработке, тем более пришлось думать, что в 1905 г. я обзавелся семьей.

Итти в чиновники не хотелось, и я решил избрать тот путь, на котором когда-то, и не без успеха, подвизался мой отец, — путь педагога.

К осени 1906 г. мне удалось получить уроки русского языка и словесности в Царскосельском реальном училище.

Преподавание, в особенности на первых порах, требовало усиленной подготовки. Недаром среди нас, тогдашних педагогов, широкой известностью пользовалась следующая неведомо каким остроумцем сочиненная песенка:

Пять лет учимся,
Пять лет учим,
Пять лет мучимся.

Пять лет мучим —
Пять лет пенсию дослуживаем...

Начиная первую пятилетку своей работы в школе, я, естественно, усердно, «учился учить», — и это несколько замедлило подготовку к печати моей работы о литературных дебютах Некрасова. Она была сдана в набор лишь осенью 1907 г., причем я дополнил ее рядом глав, посвященных обзору и анализу первых драматургических опытов Некрасова, и снабдил вступительной статьей под заглавием «Отжил ли Некрасов?».

В самом конце 1907 г., к тридцатилетию кончины Некрасова, работа моя вышла отдельной книгой — «Литературные дебюты Н. А. Некрасова» — в издании книжного магазина «Наша жизнь».

В то время литературоведческих книг выходило сравнительно мало, а потому почти каждая из них вызвала довольно значительное количество рецензий. И о моей книге появилось их не менее десятка.

Однако содержание большинства их глубоко не удовлетворило меня. И отнюдь не потому, что некоторые рецензенты отозвались о книге несочувственно. Ведь этим несочувственным отзывам я мог противопоставить не меньшее количество более или менее положительных.

В основе моей неудовлетворенности лежало сознание, что и отрицательные и положительные отзывы были совершенно голословны. Конечно, оценка моей книги Колтоновской — «лучший венок на могилу Некрасова» — была приятна и льстила моему молодому самолюбию. Но чему она могла меня научить? А между тем, ни в чем я не нуждался так сильно, как в учене.

Хотя я и окончил университет с дипломом первой степени, хотя университет дал мне довольно много фактических сведений, но методом научного исследования он меня не научил, не мог научить. Мы, студенты-филологи начала XX века, не имели ведь ни одного семинара. Легко ли сказать — ни одного семинара! Лекционный курс профессора Шляпкина целиком строился на сыром фактическом материале, изложение которого перемежалось анекдотами, до которых Шляпкин был великий охотник. Как литературовед я чувствовал себя самоучкой в полном смысле этого слова. А работа исследователя-самоучки никогда не бывает свободна от ряда существенных дефектов.

Я надеялся, что рецензенты укажут мне эти дефекты и пути к их преодолению. Но, увы, эти надежды меня обманули: рецензенты или голословно брали, или не менее голословно хвалили меня. Поневоле приходили в голову некрасовские стихи:

Да брань была тут лишняя,
А ласка непонятная...

Только в одной рецензии не было ни «брань», ни «ласки». Эта рецензия, напечатанная в таком специальном издании, как «Известия книжных магазинов Товарищества М. Вольф» (1908 г., № 2), давала обстоятельный разбор содержания моей книги и заканчивалась словами, которые я тогда я воспринял и теперь, по прошествии 30 с лишним лет, воспринимаю как лучшую похвалу, хотя, если говорить по существу, никакой похвалы в них не было, а они лишь констатировали

известный факт: «Труд г. Максимова... кладет почин объективному научному историко-литературному изучению творчества поэта».

Эти слова принадлежали совсем юному начинающему писателю Александру Григорьевичу Фофанову, впоследствии широко известному библиографу.

IV

Вскоре после выхода «Литературных дебютов» произошло событие, которому суждено было сыграть весьма неблагоприятную роль в моей жизни, в частности на несколько лет приостановить мою работу по изучению Некрасова.

В качестве преподавателя словесности Царскосельского реального училища я решил ознаменовать тридцатилетие со дня смерти поэта устройством посвященного ему литературно-музыкально-вокального вечера.

Зная, что за мной ведется полицейская слежка, грозящая тем более неприятными последствиями, что я жил в царской резиденции, от обитателей которой требовалась сугубая «благонамеренность», я не только заручился разрешением на устройство вечера директора училища Э. П. Цитовича, но и представил ему на утверждение программу вечера.

Цитович, пользовавшийся репутацией либерала, утвердил программу целиком. Его не смутило даже то, что в программу было введено знаменитое стихотворение «Железная дорога».

«Раз оно напечатано в пропущенном цензурой собрании сочинений Некрасова, нет никаких оснований выбрасывать его из программы», — самоуверенно заявил он мне.

Самоуверенность эта привела к весьма плачевным последствиям... не для директора, конечно.

На «вечере» от начала его до конца присутствовал царскосельский полицеймейстер полковник Новиков, известный своею ретивостью в борьбе с крамолой. Высокий, тонкий, стремительный, с холодными змежьими глазами, он поспевал всюду, где его чуткий нос высококвалифицированной полицейской ищейки ощущал неблагоприятные запахи. Говорили об его исключительной преданности «обожжаемому монарху» и доверии, которое питали к нему «августейшие хозяева» Царского Села.

Открывая вечер и произнося свое вступительное слово, я уже почувствовал на себе его пристальный взгляд. Повидимому, содержание моего «вступительного слова» сильно ему не нравилось, и он беспокойно вертелся на своем кресле первого ряда.

Беспокойство полицеймейстера, надо думать, было обусловлено не только тем, что я говорил, но и личностью говорившего.

Дело в том, что моя политическая репутация в глазах царскосельских властей была в то время далеко не безукоризненной, и я подавал все новые и новые поводы для сугубо подозрительного к себе отношения.

Среди моих учеников в Царском Селе «людей в гороховом пальто». Невозможно представить, чтобы родители, в том числе и люди «в гороховом пальто», не были осведомлены со слов своих детей о характере моего преподавания... Однажды к моей жене, залыхавшись, прибежала ее

подруга по гимназии, Тоня П., дочь известной прима, и прошептала ей на ухо трагический шепотом: «Я слышала, как папа говорил, что у твоего мужа на днях будет произведен обыск. Примите меры...» Это предупреждение, появившееся как раз во время, избавило меня от многих неприятностей.

Возвращаясь, однако, к вечеру в реальное училище. Беспокойство, все время не сходящее с лица полицеймейстера, перешло в возмущение, когда один из учеников VI, т. е. предпоследнего класса, Юрий Григорьев, выступил с чтением «Железной дороги».

Читал он это стихотворение великолепно, голос его, звучавший не наигранным, а искренним шим пафосом, проникал в душу.

Я не меньше прочих был увлечен чтением Григорьева, хотя не один раз слышал его на репетициях. Если на репетициях он читал просто хорошо, то теперь превзошел самого себя. Сознание ответственности за выступление перед столь многочисленной аудиторией, очевидно, волновало, а вместе с тем и вдохновляло его.

В особенности удалась ему песня мертвецов — бывших строителей дороги:

Граблял нас грамотей десятиники,
Секло начальство, давила нужда...
Все претерпели мы, божики ратники,
Мирные дети труда...

Плотная ученическая масса, занимавшая задние ряды партера, не выдержала и грохнула такими дружными и оглушительными аллодисментами, что задрезбжали подвески электрических люстр.

А когда чтец с необычайной силой и подъемом произнес знаменитое некрасовское пророчество:

Да не робей за отчину любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет все, что господь ни пошлет,
Вынесет все, — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе...

в зале поднялось нечто невообразимое. Крики, рукоплескания потрясли стены и долго не замирали.

Когда зал наконец затих и Григорьев стал продолжать, я, вспомнив о полицеймейстере, взглянул в его сторону. Он нервно ерзал на кресле, и лицо его было искажено такою злобою, что я не мог не сообразить, какими неприятными последствиями грозит для меня это цествование поэта.

Непосредственно за выступлением Григорьева был объявлен антракт.

Новиков тотчас же бросился к директору начал что-то раздраженно говорить ему, сопровождая свои слова негодующей жестикуляцией.

Я не слышал того, что он говорил, но догадаться было не трудно.

Лицо директора приняло смущенное и испуганное выражение. А затем он, видимо, принялся оправдываться.

Как он оправдывался, я опять-таки не слышал, но зато я видел, ясно, отчетливо видел, что он не один раз показал Новикову глазами на меня и не один раз кивнул в мою сторону.

По окончании вечера, когда полицеймейстер уехал и большая часть публики разошлась, директор подошел меня и напряженно-официальным тоном сказал:

— Вы не оправдали моего доверия и страшно подвели меня, разрешив вашему ученику читать «Железную дорогу».

— Но ведь вы же знали, что это стихотворение будет читаться, более того, вы же сами утверждали программу.

— Не помню, не помню. Но суть вопроса не в том, что читал Григорьев, а в том, как он читал. Чтение же его имело явно революционный смысл, и ответственные в этом, конечно, вы.

«Отвечать» в том специфическом смысле, какой имел в виду директор, мне, однако, пришлось не сразу. Потому ли, что лишать училище преподавателя в конце учебного года было признано неудобным, потому ли, что решено было собрать более полный материал, характеризующий мою политическую физиономию, но весной 1908 г. никаких репрессий в отношении меня принято не было.

Лето 1908 г. я провел на черноморском побережье Кавказа, а в начале августа отправился во-свойси, чтобы не опоздать к началу учебных занятий.

Когда поезд подходил к Петербургу, принесла только что вышедшие петербургские газеты. Я купил «Речь» и принялся ее читать, находясь в самом благодушном настроении. Однако от этого настроения не осталось и следа, когда я прочел на первой же странице статью «Метод чистки». Неведомый автор возмущался в ней увольнением нескольких педагогов, заподозренных в союзе с оппозиционными партиями и группировкам. Между прочим, в статье сообщался и такой факт: «Вот пример самого последнего времени. Департамент полиции предъявил к министерству народного просвещения требование уволить учителя одной из гимназий Петербургского округа за «сочувствие его партии народной свободы». . . Об этом смертном грехе изгоняемого учителя можно заключить, по мнению департамента, потому, что он, учитель, во-первых, прочел публичную лекцию о Некрасове, сделав в ней тенденциозный(?) подбор выдержек из произведений поэта, и, вторых, одно время(?) хлопотал о подыскании помещения в городской ратуше, в котором «лидер партии народной свободы П. Н. Милоков мог бы произнести публичную лекцию» («Речь», 1908 г., № 187, от 7 августа).

«Обо мне или не обо мне это писано?» — вот вопрос, который встал передо мною.

Мое «вступительное слово» к некрасовскому вечеру в реальном училище можно было назвать лекцией, а кроме того, в 1907 г. мне пришлось однажды читать о Некрасове во «Втором нарвском обществе образования». Вот почему трудно было сомневаться, что в первом пункте предъявленных «изгоняемому учителю» обвинений речь шла именно обо мне.

Зато второй пункт представлялся мне каким-то сплошным недоразумением. К кадетам я всегда относился отрицательно; никакого, решительно никакого отношения к их партии не имел, тем более никогда не хлопотал об устройстве публичной лекции П. Н. Милокова. Однако по зрелом размышлении я вспомнил такой факт. Не то осенью 1907 г., не то весной 1908 г. давний знакомый нашей семьи, известный переводчик Ницше, Ю. М. Антоновский, просил меня побывать в царскосельской полиции и выяснить, будет ли ему разрешено прочесть в городской ратуше лекцию о Ницше. А Антоновский действи-

тельно имел какую-то связь с кадетской партией. . .

Все же полной уверенности, что в газетной заметке речь шла обо мне, у меня не было.

Я прямо с поезда отправился в редакцию «Речи», где, выслушав меня и узнав мою фамилию, мне категорически подтвердили, что мои догадки справедливы и «изгоняемый учитель» — не кто иной, как я сам.

Перспектива остаться без куска с женой и ребенком не слишком улыбалась, и я, естественно, решил бороться. . .

Между тем события продолжали развиваться, принимая все более и более неблагоприятный для меня оборот. 17 августа ранним утром моя скромная квартира была ошаставлена посещением бравого полицейского унтера, который вручил мне записку своего шефа следующего содержания:

Милостивый Государь,
Владислав Евгеньевич!

Прошу Вас пожаловать ко мне по касающемуся Вас делу. Если располагаете временем, сегодня в 12 час. дня.

Примите уверения в совершенном уважении

Новиков.

В 12 часов я был в помещении полиции. Новиков, надо отдать ему справедливость, не заставлял меня ждать ни минуты.

«Касающееся меня дело» он изложил в очень кратких выражениях.

— Ваша лекция о Некрасове на вечере реального училища признана чрезвычайно предосудительной. Не менее предосудительны и те лекции, которые вы читали рабочим. Хлопоты ваши с разрешения выступления Милокова выявили ваши связи с партией народной свободы. Ваше дальнейшее пребывание в «царской резиденции» решительно нетерпимо. Вам придется в ближайшее время выехать из Царского Села.

Я пробовал возражать, ссылаясь на то, что лекцию в училище я читал с разрешения директора, лекции для рабочих — с разрешения петербургского градоначальника, а особенно напирая на то, что обвинение в связи с партией «народной свободы» — не имеет за собою ни малейшего основания.

— Поймите, — говорил я полицеймейстеру, — что просить разрешение на устройство философской лекции Антоновского — это одно, а просить разрешение на устройство политического выступления Милокова — совсем другое. Если я повинен в первом, то ни душой, ни телом не повинен во втором.

Новиков, хотя и был несколько озадачен, но твердо стоял на требовании немедленного выезда из Царского Села, заявляя, что одно содержание моих лекций о Некрасове даст для этого сколько достаточно основание.

Спорить было бесполезно, пришлось подчиниться. Тем не менее явная обязанность одного из обвинений послужила в известной мере мне на пользу. Когда выяснилось, что вместе с высылкой из Царского Села я подвергаюсь увольнению со службы, я начал хлопотать, чтобы увольнение в чистую было заменено переводом в одно из петербургских учебных заведений.

Здесь мне очень помог мой отец, имевший знакомства в Петербургском учебном округе, но не

малую роль сыграло и то обстоятельство, что, объясняясь с начальством, я имел возможность утверждать, что полиция в своем желании расправиться со мною не погнушалась прибегнуть ко лжи.

И все же начатые мной и продолженные отцом хлопоты грозили оказаться бесполезными, если бы не вмешательство И. Ф. Анненского. Многие из современных читателей этого замечательного поэта знают, что Иннокентий Федорович был немалое количество лет директором Царскосельской мужской гимназии.

В 1905 г., когда черносотенная часть родителей требовала суровых репрессий в отношении «смутьянов» и «крамольников», т. е. революционно настроенных гимназистов, Анненский отвечал категорическим отказом.

— Да и молодец же этот Анненский, — рассказывал однажды мой отец, возвратившись из заседания родительского комитета, — на все настояния черносотенцев знай свое твердит.

— А что же именно? — поинтересовался я.

— Вот его подлинные слова, которыми он закончил заседание комитета: «Дети могут ошибаться, но в своих поступках они всегда руководствуются благородными побуждениями. За благородные побуждения наказывать нельзя. Я, по крайней мере, ни в коем случае на это не пойду».

Неудивительно, что Анненский после этого был обвинен в «попустительстве» и вынужден оставить

пост директора гимназии. Однако выбросить за борт столь авторитетного знатока классической древности постеснялись и назначили Иннокентия Федоровича инспектором С.-Петербургского учебного округа.

В качестве инспектора он, по своему собственному почину, и выступил на мою защиту. Несколько раз вызывал он меня, почти незнакомого ему человека, к себе, в помещение округа, подробно расспрашивал о ходе дела, указывал, к кому, надлежит обратиться и что следует говорить. За себя никаких обещаний не давал, но я имел веские основания думать, что сравнительно благополучным окончанием своих мытарств обязан в значительной степени ему. А мытарства закончились тем, что осенью 1908 г. я получил урки русского языка и словесности в С.-Петербургском первом реальном училище.

Подневольный отъезд из Царского Села был сопряжен с потерей многочисленных частных уроков в этом городе, а они-то и составляли основную статью моего бюджета. Потянулись годы едкой абсолютной нужды, то во всяком случае тяжелого материального положения. Заботы о хлебе насущном поглощали столько энергии и времени, что в моих занятиях Некрасовым, которые еще не могли давать сколько-нибудь значительного заработка, наступил вынужденный перерыв. Он продолжался свыше трех лет. Возобновились они в очень интенсивной форме только в 1912 г.

Л. Вайсенберг. Детство Баджи. «Советский писатель» Л. 1941.

Новый роман Л. Вайсенберга — только первая часть задуманного им повествования о женщине советского Азербайджана. Но уже об этой книге можно судить как о серьезном достижении писателя по сравнению с предыдущими его вещами.

Показ женщины-националки, сбрасывающей с себя вековое угнетение, для советского писателя дело одновременно и слишком легкое и достаточно трудное. Очень уж навязчивы штампы, которые создались в нашей литературе, и очень трудна борьба с ними для тех писателей, которые с «творческой командировкой» в кармане отправляются в одну из республик Закавказья или Средней Азии, живут там несколько месяцев (а то и несколько недель), поверхностно знакомятся с жизнью, бытом и тем переворотом, который произвела в жизни и в быту Востока Октябрьская революция и социалистическое строительство, а затем катяг обратно на север и создают очередной опус на тему о «раскрепощении женщины».

Тривиальное, но правильное положение, что писателю полезно иметь совершенно ясное представление о том, о чем он пишет, оправдало себя и на этот раз. Лев Вайсенберг знает Азербайджан, и это знание помогло ему удачно справиться с трудной темой.

Действие романа разыгрывается в Баку, в годы 1915—1918. Героиня его принадлежит к категории самых жалких и бесправных существ до-революционного Востока: она девчонка и к тому же девчонка из «простонародья». С самого раннего возраста Баджи уже служанка, раба всех, с кем ей приходится жить или сталкиваться. На последнем месте она и в доме отца, где ее по крайней мере хоть любят и жалеют, на последнем месте и в доме дяди, куда она попадает после смерти отца, заводского сторожа, и где кормят лучше, но помыкают грубее, жестче, безжалостнее.

Перед писателем стояла задача раскрыть внутренний мир — чувства и переживания ребенка, притом ребенка из «экзотической» среды. И он совершенно правильно поступил, когда и отказался от дешевого психологизирования и отверг всякую сентиментальность, на которую, казалось,

толкала его тема — тяжелая жизнь нищей и униженной девчонки. Реально и правдиво в его повествовании то, что свое положение Баджи принимает как «данность» и не унывает. Именно потому, что она не демонстрирует никакой чрезмерной, повышенной жалости к себе и не требует ее от других, читатель проникается к ней и жалостью и сочувствием. Основное во «внутреннем мире» Баджи — это детское любопытство к миру внешнему и жизнелюбивое инстинктивное стремление получить от этого мира, каким бы убогим и жалким он нам ни казался, лучшее, что он может дать. Никто никак не воспитывал и ничему не учил Баджи, поэтому она безгранично проста и непосредственна. Она живет инстинктивно, и это инстинкты управляют ее стремлениями и поступками, помогают ей разобраться в том, что хорошо и что плохо, чему можно доверять и от чего надо обороняться. Поэтому так безгранично естественны все чувства Баджи и все ее реакции на окружающую действительность, так естественна и разумна ее любовь, ее ненависть и даже ее гордость.

Очень умно и хорошо показан в романе контраст между действительным смыслом происходящего и тем, как это расценивает и переживает ребенок. Баджи не «унывает» в доме богатого дяди, где ее эксплуатируют, бьют и унижают, где она превращена в настоящую золушку, но где хорошая пища, красивые вещи и интересные домашние ссоры и склоки между двумя хозяйками, двумя женами дяди. Баджи, пожалуй, знает, что ей живется нехорошо, она испытывает зависть к дядиной дочери Фатьме, ненависть к старшей жене Ана-ханум. Но она не осознает этого, не задумывается над этим и не переживает этого, наоборот — она даже ценит в этой подневольной жизни то, что в ней лучшего по сравнению с прежней нищетой Черного города. Зато читатель все время ощущает и сознает, что в этом-то и заключается подлинная трагичность судьбы, ожидающей девочку. По-настоящему на самом деле жизнь в доме дяди грозит погубить Баджи ее живую душу, ее человеческое достоинство, жизнь эта все глубже унижает ее и вталкивает в грязь. Заслуга писателя в том, что он заставил читателя осознать эти вещи особенно хорошо как раз потому, что их не осознает Баджи. Образ Баджи получился правдивым и человечным благодаря тому, что автор не дал ей

никакой неестественной и неподобающей нагрузке. Для читателя абсолютно убедительно и перерождение Баджи, когда в начинающейся революционной борьбе она становится на сторону нищего брата против богатого дяди, ибо и это делается по-детски непосредственно и инстинктивно.

Внешний мир, изображенный в романе, — многообразен, и людей — разных — в нем тоже достаточно. Все это — и нефтеперегонный завод, и лавка ковровщика, и его гарем, и митинг на промыслах, и уличные бои в Баку 1918 года — показано через Баджи, через ее восприятие, то есть с «хорошей» нарочитой наивностью и вместе с тем очень конкретно и правдиво. К сожалению, писатель не удержался на этой высоте в ряде мест, где ему приходится что-то домысливать и обобщать «от себя». В частности образ азербайджанского интеллигента, муссаватиста Хабибуллы, удачен там, где он дан через Баджи, но когда писатель желает дать «от себя» биографию Хабибуллы, досказать все то, чего не могла видеть и знать Баджи и чего не мог уяснить себе читатель из мыслей и поступков Хабибуллы, он пишет сухо и бледно. Появляются аккуратные обстоятельные фразы с правильно соподчиненными придаточными предложениями, в которых как-то «постно» рассказывается о замыслах и аппетитах героя. Этот же недостаток есть и в описании бакинских событий 1918 года, всюду, где автор не «показывает», а рассказывает и домысливает от себя.

На первый взгляд может показаться, что политическим событиям в романе уделено мало внимания и что они затронуты поверхностно. На самом же деле это не так. Писатель не мог и не должен был отходить от истории Баджи, тем более что история эта дает возможность правильно показать основное и самое существенное. Отношения между муссаватистским агитатором Хабибуллой, купцом Шамси, рабочим Юнусом и маленькой Баджи, отношения личные, раскрываются таким образом, что читателю становится ясным их общественное содержание. Первые шаги муссаватистской контрреволюции предстанут именно такими, каковы они были: буржуазный национализм муссавата не имеет никаких корней в народе, его агитация лжива и бессильна, его методы — игра на человеконенавистнических инстинктах и беспардонный авантюризм (авось, выйдет!), его подлинный «пафос» — неадекватность к массам (здесь очень удачен анализ переживаний Хабибуллы, когда он узнает о разгроме нескольких именов). Но раскрыть все это в конкретных образах автору удалось далеко не полностью. Если логика превращения трусливого, отговаривающегося от событий буржуа-обывателя Шамси в активного контрреволюционера показана очень убедительно, то Хабибулла, фигура чрезвычайно важная для третьей части «Детства Баджи», составляет, как мы уже сказали, чувство неувязчивости. Люди, подобные Хабибулле, при всем своем цинизме, при всей своей внутренней сущности были опасны для революции, а для того, чтобы стать опасным народному делу политическим авантюристом, надо иметь известное мужество и известный ум. Хабибулла же слишком открыто трусил и к тому же несерьезен в своем фанфаристстве.

Нам кажется, что трудности, которые ожидают писателя в последующих книгах романа, будут именно такого порядка. Там изображены круп-

ных политических событий, характеристика борцов и вождей партии несомненно должны занять гораздо больше места, и писателю придется брать эти «форты», штурмуя их в лоб. Хочется думать, что он сумеет преодолеть недостатки, имеющиеся в «Детстве Баджи», и справится со всеми трудностями, которые ему предстоят.

Н. Рыкова

Александр Беллев. «Звезда Кэц». Детиздат, 1940.

Литературная деятельность Александра Беляева неизменно и успешно проходит под знаком разработки трудных и в то же время увлекательных тем научной фантастики. Именно научной фантастики, основанной на точных и бесспорных достижениях, — физики и астрономии главным образом. «Соперников» в подобного рода беллетристике Беляев пока что не имеет. Он единственный у нас в Советском Союзе художник, работающий на столь ответственном, требующем от человека больших и глубоких познавательных материалах.

Читатель знает и любит книги Беляева: и «Человека-амфибию» и «Прыжок в ничто» и «Голову профессора Дауэля». Летом прошлого года мы читали его роман «Человек, нашедший свое лицо» — книгу, несколько скромную в конце, но интересную во всех отношениях. Критика наша продолжает упорно и несправедливо замалчивать этого бесспорно крупного, серьезного и одаренного мастера. А в библиотеках книги его не стоят на полках, на них постоянная очередь. Особенно горячо любят Беляева советский школьник и вузовец.

Новый роман Беляева «Звезда Кэц» — новая удача этого своеобразного писателя. Посвящен этот роман памяти великого ученого Константина Эдуардовича Циолковского. Название звезды, — «Кэц», — как почти сразу догадывается об этом читатель, составлено из начальных букв имени, отчества и фамилии человека, указавшего людям своей родины путь на планеты и звезды.

В романе Беляева, действие которого происходит в отдаленном будущем (персонажи романа вспоминают о последних войнах и всемирной революции), основным героем является эта закинутая в мировое пространство, искусственная, руками человека сделанная звезда Кэц. Она летит на восток и совершает полный оборот вокруг Земли в сто минут. Солнечный день на этой планете продолжается всего 67 минут, ночь — тридцать три. Живые люди в романе играют, грубо говоря, роль иглы, тянущей за собой отдельные нити повествования. Люди у Беляева ведут лекционно-разъяснительный диалог. Сам автор скрытан где-то за кулисами этой исключительной, невиданной постановки и оттуда управляет всеми чудесами небесной феерии. Читаешь и веришь тому, что эти дерзкие мечтания великого ученого-фантаста вполне осуществимы, и невольное чувство зависти к далеким потомкам нашим испытывает читатель этой оптимистической, радостной книги о счастливых людях, подчинивших себе не только Землю, но и мировое пространство.

На висящую в этом пространстве звезду Кэц летит в ракете биолог Артемьев. Звезда нахо-

дится в созвездии Большой Медведицы. Это воздушное путешествие несколько напоминает уже хорошо известные нам приключения героев романа «Из пушки на Луну» Жюль Верна. Но Жюль Верн не мог знать того, что известно Беляеву, хотя великий француз и был современником Циолковского (Жюль Верн умер в 1905 году). Идея стратоплана и вся разработка овладения «небесной техникой» получили свое теоретическое обоснование только лишь при советской власти. Жюль Верн принужден был сделать свою ракету спутником Луны. Александр Беляев, обогативший достижениями науки за последние 25 лет, приглашает читателей своих вместе с Артемьевым и его товарищами неспеша и безбоязненно прогуливаться по поверхности Луны.

Но путешествие на Луну Артемьев совершает только после того, как он немного пообщался на звезде Кэц. Расстояние от Земли до звезды Циолковского — 2000 километров. В благоустроенных помещениях этого чудесного спутника нашей планеты Артемьеву прежде всего не понадобились ноги — на звезде Кэц люди летают. Там питаются жидкой пищей. Она закалена в огромных сосудах, и ее высасывают оттуда из трубок. На звезде Кэц есть фильмотека, то есть книги, отпечатанные на плёнке. Огромный земной том в такой библиотеке занимает место не больше, чем катушка ниток. В оранжерях этой чудесной звезды выращивают землянику величиной с арбуз, семена мака на звезде не меньше земной горошины, бобы и фасоль — как яблоки. Читая об этих чудесах, невольно спрашиваешь себя: ну, а как на Земле? Возможны ли там подобные чудеса? И Беляев, догадываясь, что читатель непременно задаст такой вопрос, отвечает:

«А разве опыт звезды Кэц нельзя перенести на Землю? Взять хотя бы Памир. На высоте Памира ультрафиолетовых лучей меньше, чем на звезде Кэц, но гораздо больше, чем в местностях, лежащих на уровне моря. Плоскогорье Памира можно превратить в сплошную оранжерею. Все расходы окупятся. В оранжерее можно создать любую атмосферу, увеличить количество углекислоты... А безоблачное небо тропиков с их жарким климатом и изобилием солнечных лучей? Когда мы окончательно победим джунгли, миллионы людей найдут там кров и пищу. А земные пустыни? Мы уже успешно ведем там борьбу с песками, с безводьем. Но сколько еще пустынь на Земле! И мы призовем на помощь Солнце, используя опыт Кэца. Солнце, выпившее воду, убившее своим зноем растения, возродит пустыни. Они станут сплошным зеленым садом.»

Путешествие на Луну занимает шесть дней. В пути Артемьева знакомят с принципами охоты за астероидами. Глаза, посвященная этой охоте, — одна из лучших в романе. Пребывание Артемьева и его товарищей на Луне — самая занимательная, захватывающая дух часть романа. Александр Беляев нашел здесь и язык и краски. Глава 14 представляет собой шедевр того рода беллетристики, непревзойденным мастером которого был и пока что остается Жюль Верн. Именно в этой главе Беляеву удалось и люди (их характер, свойства, ум и сердце, все положительные качества людей науки).

Последняя четверть романа несколько слабее предшествующих частей. Произошло это, надо думать, потому, что в последних главах обелле-

тризованы главным образом идеи химии, а фантазия Беляева крылата и заразна в пространных, охваченных гением Циолковского.

Роман заканчивается возвращением Артемьева на Землю. Схематично намеченная любовная интрига столь же схематично и завершается: Артемьев женится на молодом ученом Тоне Герасимовой.

«Мой сын поет «Марш звезды Кэц». Сколько раз я рассказывал ему о моем путешествии! Теперь он только и мечтает о том, как полетит на звезду, когда вырастет большой. И он, наверно, будет жителем звезд».

Этими фразами и кончается роман. Ему недостает одного, а именно человека. Правда, Беляев поселяет на звезде Кэц и доктора Меллер, и астронома Тюрина, и биолога Шлыккова, и геолога Соколовского, и многих других людей, но читатель, закрыв книгу, вскоре забывает эти фамилии, ибо за ними ни людей, ни характеров нет. Не это важно для Беляева, — его интересует прежде всего научная идея, ее воплощение в быту потомков наших. Сами же потомки мало чем отличаются от людей нашего времени. Может быть, именно поэтому люди в романе Беляева несколько удивлены всем тем, что на страницах романа происходит.

И вот это обилие фамилий и отсутствие людей снижает ценность романа Беляева. Читая «Звезду Кэц», невольно вспоминаешь Жюль Верна, в романе которого «Из пушки на Луну» не одна лишь техника приготовления к полету и самый этот полет, но и живые, заставляющие любить себя люди. Наряду с разработкой научной темы. Жюль Верн остается романистом, мало в чем уступающим большим именам классической литературы. Паспарту, капитан Немо, Паганель, Фелиас Фогг и сотни других созданных им персонажей занимают почетнейшее место в галлерее литературных типов. Беляев, к сожалению, не создает живых, убедительных образов людей. Но и то, что он делает, дает ему бесспорное право занять одно из первых мест в ряду уважаемых и любимых советским читателем авторов.

В книге есть несколько рисунков. Они по технике и фантазии значительно уступают тексту. У Г. Фитингофа на этот раз «не получилось».

А. Борисов

Л. Овалов. «Поездка в Ереван». «Советский писатель». Москва, 1940 г.

Поездки писателя — это разведки мыслью и глазом. «Остров Сахалин» Чехова и «Фрегат Паллада» Гончарова в классической литературе, «Путешествие в Веймар» Шагиния, очерки об Европе Эренбурга, последняя книга Пришвина «Неодетая весна» в нашей советской литературе — все это свидетельства мысли и глаза. Пришвин не столь далеко ушел от своего дома, но глаз и мысль его совершенно по-новому изобразили такую запутанную тему, как наступление весны. Почти никуда не выезжал Жюль Верн, однако все книги его — книги путешественника, любопытного и наблюдательного.

Овалов поехал в Армению, написал по приезде (а возможно, и в пути) ряд очерков об ар-

мянском народе. Эти очерки — их всего десять — и составили книгу, изданную «Советским писателем».

Что интересно, что хорошо и что плохо в этой книге?

Овалов превосходно рассказал об искусстве Армении. Очерки, посвященные жизни и деятельности Демирчана, Аветика Исакяна, искусной ковровщице Ашхен, Наири — лучшие очерки в этой маленькой книжке. Через национальное искусство армян Овалов сумел увидеть историю этого талантливого народа, очерки эти (а таких в книге только четыре) несут мысль и этой мыслью обогащают читателя. Все остальные, а их шесть, и они, вместе взятые, занимают большую часть книги, представляют собою свидетельство глаза писателя: писатель увидел, запомнил, сохранил, а потом на досуге придал порядок, расположил. Получились главки, годные быть путешественником по Армении, не больше. Ради этого можно было и не ездить в Ереван, — материал для подобных очерков уже собран, скомпанован, и всякому желающему придать ему беллетристические свойства нужно только знать немного больше того, что уже знает широкий читатель. Открытый здесь нет. Открытия несет мысль. А здесь Овалов ограничился пересказом того, что он узнал. Очерк первый, открывающий книгу, «Земля Армении», по сравнению с другими, к менее интересен и бледнее по языку. Овалов пересказывает. В очерке о Демирчане, например, автор мыслит, рисует, прячет все свойства жанра и тем самым выигрывает. Последний очерк, «В ущелье Занги», есть, в сущности, дополнительно поставленная точка в конце книги. Очерк о Наири уже превосходно заканчивает описание путешествия автора.

Армения, ее народ, природа, промышленность и искусство в книге Овалова живут наглядно и убедительно. Досадно, что автор упустил из виду театр Армении, живопись Сарьяна — иначе говоря, досадно, что книга мала, хотя, возможно, автор и не предполагал делать больше того, что он сделал. Но тема, мысль книги требовали большего.

Но в конце концов хорошо и то, что есть. Любовь автора книги к родине, ее богатству и возможностям, гордость и радость, им испытанные от этой поездки, передаются и читателю, он лучше видит то, что, возможно, видел только на фотографиях и в кино, он поблагодарит автора за удовлетворение своего любопытства к знанию.

Книжку Овалова украсил заставками художник Б. Месропян. Титульный лист его работы превосходен.

А. Борисов

М. Свешников, «Тайны стекла». Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1940.

Можно писать об уважении к вещи двояко. Дореволюционная детская литература писала об уважении к вещи назидательно: рассказывалось, какой хороший ножик у папы и как жалко, что нехороший мальчик его сломал. Уважения, конечно, не получалось. Советская детская литература пишет об этом иначе (Ильин «Рассказы о вещах»; Давыко «Китайский секрет»). Иначе написана и книга Свешникова.

«Тайны стекла» — увлекательная книга о том, как было изобретено стекло и что научились за него делать люди. Назидания нет. Автор рассказывает не столько о вещах, сколько о людях, создавших эти вещи.

За каждой вещью стоит значительная человеческая биография. Мы узнаем об египетских и римских мастерах, о стеклодувах, пленниках острова Мурано, об изобретателе фотографии Дагерре, о создателе бутылочного автомата Оуэнсе, о рабочем Любберсе, о самоотверженной работе в годы разрухи наших русских ученых — академика Гребенщикова и инженера Качалова.

Это книга о трудолюбии и изобретательности, о силе человеческого гения. Она учит уважать и любить вещи, и, что еще важнее, она показывает, что все на свете интересно.

Удивительным оказывается любое явление, любая вещь повседневного обихода. Рамки «интересного» мира, на который стоит посмотреть, расширяются. С этой точки зрения появление книги Свешникова — не случайность.

Классическая книга с такой тенденцией — книга Ильина «Рассказы о вещах». Ильин показывает, что окружающие нас вещи удивительны и интересны, если только на них внимательно посмотреть. Носовой платок, кастрюля, глиняные горшки, часы оказываются не менее интересной темой, чем африканские тигры или увлекательные путешествия. Мир представляется интересным во всех его проявлениях. Неинтересного нет. Начав путешествие по квартире, Ильин очень мало рассказывает о судьбе стеклянного стакана. «Тайны стекла» рассказывают подробно историю стакана и историю многих других вещей, сделанных из стекла.

Познавательное значение этой книги велико: автор дает много интересных фактов, попутно рассказанных мелочей, образов изобретателей. Он рассказывает о последних достижениях стеклянного дела — о жидком стекле, о стеклянных кирпичах, о стеклянной ткани, о линзах для микроскопов и телескопов, о фабричном производстве бутылок и о предке нашего стекла — непрозрачном и бургистом стекле древности.

Своеобразный материал книги заставляет говорить о двух вещах — о пафосе науки и пафосе искусства. Автор дает почувствовать и то и другое. Читателю рассказывается о работе художника и ученого, а вещь дается в двух аспектах — эстетическом и научном (описание того, как делалась посуда и как она была красива).

Книга не напоминает технический справочник. Это не сухой перечень изобретений. Она написана занимательно. Материал подан в беллетризованной форме: факты не вырываются из исторического антуража, они всегда умело обставлены деталями, так что сохраняются ощущение эпохи и своеобразность только ей присущих вещей.

Автору удастся в размерах маленькой главки так изложить материал, что разнородные факты запоминаются, отличаются друг от друга каждый раз своеобразным «воздухом», который не дает им примелькаться. А однообразие и невыразительность — такой частый порок книг этого жанра.

Книга Свешникова всерьез говорит о вещах. Это книга об уважении к ним, книга о труде и преодолении трудностей. Нет важных и неваж-

ных вещей. Все они проходят многовековую путь, прежде чем стать незаметной бытовой вещью. Вот перед нами рассказ об очках:

«Очки были изобретены. И теперь встал вопрос: как же их носить. На разрешение этой, казалось бы несложной, задачи потребовалось триста лет».

Но в книге есть и недостатки. Первые главы перегружены восклицаниями. Во второй части книги утомляют однообразные фразы, начинающие главу. Все они строятся так: в таком-то году или в такое-то утро такого-то года.

Есть неудачные обороты и неточности.

На стр. 8 автор говорит, что голову царицы Хатшеспут венчали знаки царского достоинства — оред и змея. В царскую титулатуру входят богиня Нехебта в виде коршуна и богиня Буто в виде змеи. На стр. 13 неверно утверждение, что римляне считали змей безвредными и даже полезными существами. Наличие змей на питьевых сосудах связано с культом змеи, священным животным бога врачевания Эскулапа. На стр. 16 говорится, что римляне во времена Нерона не знали столовых ножей. Это неверно. На стр. 50 дается неправильное определение термина «храмовый корабль». Кораблем называется только средняя часть храма.

Все эти неточности, тем не менее, не портят общего впечатления от этой полезной книги.

С. Полякова

«Мордовские поэты». Под редакцией А. Дорогойченко. Гос. изд. «Художественная Литература», 1940.

Мордовский народ, как и все нацменьшинства при царизме, переживал страшной хозяйственной и культурный упадок. До революции у него не было не только литературы, но и письменности.

Но мордовский народ одарен глубоким поэтическим чувством. Его творчество в форме устных сказаний и песен является очень ценным, — не только историческим, но и поэтическим, — памятником.

Мордовский народ всегда боролся вместе с русским народом против царского самодержавия. Раин и Пугачев — любимые герои мордовских песен; в песнях они воспеваются как народные вожди, защитники угнетенных.

Великая Октябрьская социалистическая революция возродила мордовский народ; с ней же родилась и его литература. Она зарождалась и росла в дыму и огне гражданской войны, в классовых боях с белогвардейщиной, с кулачеством.

Книга «Мордовские поэты» — документ большого литературного и политического значения.

Она состоит из произведений двух поколений поэтов: старшего (Михаила Безбородова, Артура Моро, Алексея Лукьянова, Петра Кириллова и Никулы Эркая), вступившего в литературу около десяти или более лет тому назад, и младшего (Александра Мартынова, Василия Радица, Алексея Рогожина, Эмиля Пятъя, Степана Кумбри, Федора Ильфека, Ивана Прончатова и Ивана Чумакова). В сборник включены и творения сказительницы — Евфимии Петровны Кривошевой и Феклы Ивановны Беззубовой.

Противопоставление нового быта старому, проклятие прошлому гнету и мраку и воспевание жизни настоящей и будущей — таково основное содержание произведений рецензируемого сборника.

Видное место занимают стихи, посвященные Ленину и Сталину, а также стихи о гражданской войне. К ним, в первую очередь, надо отнести такие произведения, как «Великий сад» и «Песня о Сталине» Эмиля Пятъя, «Наше солнце — Сталин» и «Часовые» Василия Радица, «Октябрьские мотивы» и «О Ваське» Никулы Эркая.

«Великий сад» — одно из лучших стихотворений мордовских поэтов о Ленине как по содержанию, так и по своим литературным качествам. «Великий сад» — символический образ нашей великой и богатой родины. Обобщения, поднятые до символики, рельефно передают мысль поэта. О смерти «старшего садовода» — Ленина — поэт говорит:

Но старший навеки ушел садовод.

И сад расцветающий осиротел.

Того, чье величье повсюду живет,

Похитила смерть среди пламенных дел.

Но, умирая, Ленин —

Лучшему другу беречь поручил

Ростки и деревья, цветы и плоды.

Испытанный друг, не щадя своих сил,

Тот сад сохранил, уберег от беды.

(Перевод Н. Сидоренко)

Артур Моро — виднейший поэт Мордовии. Обращает на себя внимание культура его стиха. В отличие, например, от Федора Ильфека, Кумбри и даже Алексея Лукьянова, Артур Моро способен к расширению и значительному углублению бытовой темы. В этом смысле его «Письма дедушке», — стихотворение с несомненными автобиографическими истоками, — одно из лучших произведений сборника. Рифма стиха Моро певуча, образ точен, повествование ведется уверенно и без срывов.

Из произведений Алексея Лукьянова в сборнике дано стихотворение «Моя родина». Гражданская война и современность — основное содержание произведений этого поэта. Им выпущено шесть книг стихов и роман в стихах из эпохи гражданской войны — «Кинель». И странно, что составители ограничились включением в сборник только одного стихотворения этого поэта, причем стихотворения далеко не лучшего.

Поэма Петра Кириллова «Утро на Сура» — подлинное украшение сборника. Кириллов — видный поэт старшего поколения. Его имя весьма популярно среди читателей Мордовии и стоит рядом с именами Михаила Безбородова, Артура Моро и Алексея Лукьянова.

«Утро на Сура» — одно из значительных достижений поэта. Поэма полна внутреннего напряжения и в то же время какой-то сдержанной величавости. Так же как и «Великий сад», «Утро на Сура» дано в плане широкого обобщения и символики, но по манере повествования оно глубоко реалистично.

Как известно, Сура и Мокша — две реки, на которых оседали мордвинь. В образах героев поэмы — певцов Нупоя, Данка, Килея, Сандея и Ендола — поэт дал историю мордовского народа, начиная с мучительных поисков места для

сельбища. хозяйственного самоуверждения, борьбы с попом, князем, царем и его холопами и кончая нашими днями, когда собрались «парни со значками инженеров» и сказали:

...Разрешен вопрос:

В план страны включается Сура,
Строим гидростанцию. Пора!
Пусть своим певцам придет на помощь
Полноводная река Сура!

(Перевод В. Цвелева)

Особо необходимо отметить сказительниц — Ф. И. Беззубову и Е. П. Кривошееву.

Беззубова с детства обнаруживала непреодолимую страсть к сказаниям и песням. Ее память — верная хранилища многих сказаний, бытующих в мордовском народе.

По форме своих произведений она — не просто сказительница, а песенница. В сборнике даны (в переводе А. Дорогойченко): «Колхозная песня», «Послание Джамбулу» и «Новая песня (предвыборная)».

Песни Беззубовой глубоко эмоциональны и богаты. Эти черты ее творчества особенно хорошо выражены в «Послании Джамбулу».

Из произведений Е. П. Кривошеевой в сборнике приведены: «Как мне горе мое выплакать» — «Плач о Сергее Мироновиче Кирове», хорошо известный нашему читателю по книге «Творчество народов СССР», и «Завещание матери». «Как мне горе мое выплакать» — скорбно-величественная поэма, одно из лучших произведений, посвященных пламенному трибуну революции С. М. Кирову.

В заключение — о Михаиле Безбородове. Зачинатель мордовской поэзии, Безбородов все же не поднялся над уровнем других, более молодых мордовских поэтов. В его творчестве, собственно, отразилась эволюция мордовской советской поэзии — от примитива к современному стиху. Три стихотворения, помещенные в сборнике, понятно, не отражают всего творчества Безбородова, но они все же весьма характерны для него. Если, например, стихотворение «Поэт-пахарь» отличается законченностью и чувством художественного такта, то стихотворение «Сенокос», при всей своей звучной фразировке, имеет признаки некоторой экстравагантности. Недостаточная культура стиховой формы Безбородова приводит к однотонности, а в конструктивном отношении — к штампу (например, вторая — «кольцовская» — половина стихотворения «Поэт-пахарь»). Там же, где поэт делает попытку освободиться от штампа, он впадает в риторику и нарочитую игру словами. «Сенокос» (в переводе А. Дорогойченко) имеет, например, такую финальную часть:

— Хо-хо, ха-ха...

Хо-хо, ха-ха...

Вольный смех плывет.

— Вот он, вот он!

Заработал!

Наш! И — не уйдет!

Сборник «Мордовские поэты» дает, несомненно, ценный материал для ознакомления с мордовской поэзией, но поэзия Мордовии неизмеримо богаче того, что дано в сборнике. Как мы уже отмечали, в слишком скромном виде представлен Алексей Лукьянов. Из произведений Федора Ильфека и Мвана Прончатова дано только по одному стихотворению.

Совсем не включены в сборник произведения таких, уже известных, поэтов, как А. Кутурба, П. Гайни, Вечканов, Фролов, Бебан и Коваленин. Не нашли отражения также произведения Пилязина, автора поэмы «За жизнь», и Дурова, написавшего сборник стихов под названием «Серьель».

Но и в таком виде сборник «Мордовские поэты» — отрядное литературное явление. Он свидетельствует о большом культурном росте братских республик и обогащает нас новым поэтическим материалом.

Н. Николаев-Березин

Р. Суинглер. «Нет выбора».
Гослитиздат, 1940.

Книга английского писателя Суинглера вводит нас в круг идей и тем, хорошо знакомых советскому читателю по романам Олдингтона. Главный герой Суинглера — молодой человек, интеллигент, ищущий и не находящий смысла жизни в окружающей его буржуазной среде, подвергающей критике современное английское общество. В романе Суинглера, как и в романах Олдингтона (как, впрочем, в произведениях и других современных передовых иностранных писателей), выражен гуманистический протест против уродующего человека капиталистического строя.

Однако Суинглер своеобразен, он идет своим путем. Исходные позиции его критики капитализма, в особенности, выводы, которые он делает из нее, — иные, чем у Олдингтона.

Мир, описываемый в романе Суинглера, невелик. Это английская провинция, поместье, деревня. Здесь идет «мирная», тихая жизнь — никакие выдающихся событий. Однако, несмотря на эту бедность внешними событиями, роман отличается богатством идейного содержания.

Метод Суинглера — в малом раскрывать большое. Факт, событие привлекают его внимание не столько своей внешней стороной, — яркостью, видимым действием, — сколько своей внутренней значимостью, богатством идейных ассоциаций. Суинглер — психологист, но психологизм его служит орудием социального анализа. Писатель стремится проследить основные социальные противоречия эпохи до самых глубин подсознания. Глубина художественного анализа действительности для него прежде всего — глубина социально-психологического анализа героя.

В этом — как преимущество, так и ограниченность метода Суинглера, сказавшиеся в романе в полной мере. Острое ощущение всеобщей связи вещей и явлений жизни, глубокая и верная направленная интуиция дали Суинглеру возможность осознать и показать глубину раздирающих человеческое сознание социальных противоречий, лишаящих человека его естественной цельности и нависающих над ним неким «роком». С другой стороны, эта же интуиция уводит писателя (еще не освободившегося целиком от абстрактного гуманитарного подхода к человеку) в излишнюю игру символами, иносказаниями.

Едва ли не главное событие, на котором построено действие в романе, — столкновение между деревенскими ребятами и сыном местного землевладельца Хью Эрдем. Ребята уносят одежду купающегося Хью. Последствием этого факта

является выселение семьи батрака Хагги из коттеджа, принадлежащего отцу Хью, разрушение жизни семьи Хагги.

Однако это только внешние последствия, разительные, но все же не главные.

Факт похищения одежды у Хью во время купания служит Суинглеру отправным моментом для развития всей суммы его излюбленных идей и тем.

Хью нарушает запрет родителей, строгих хранителей «добродетели», и купается в озере. Мечтатель, он погружается в излюбленное им состояние блаженного спокойствия, гармонического слияния с природой, созерцательной любви:

«Ему казалось, что он мог бы плыть так долго, долго... до бесконечности. И вдруг со стороны берега, из зарослей папоротника, спускавшихся к озеру, доносится страшный крик. В одно мгновение блаженное одиночество было нарушено, лопнул, как мыльный пузырь, и вся иллюзия безопасности рассеялась в прах».

Перед Хью встает необходимость драться с ребятами, защищаться. Но он «совсем не хочет их бить». «За что они ненавидят меня?» И главное — добрые чувства Хью ничего не могут исправить. «Они находились в разных лагерях, что бы он ни думал».

И автор подводит итог:
«Борьба существовала».

Так раскрывается в романе тема иллюзорности абстрактного гуманизма и «гармонии» природы.

Миром управляют не субъективные желания и идеалы отдельных людей, — пусть даже добрых и хороших, — а законы классовой борьбы и ненависти. Суинглер выше морализующего подхода к этому факту; истина для него дороже «морали». И ценность его романа в том, что он «пошекспировски» рисует жизнь как высшую объективную реальность, из которой должна исходить и мораль. Эта особенность романа Р. Суинглера (коммуниста, редактора левого органа «Левт ревью», активного общественного деятеля) отличает его от произведений многих современных иностранных писателей, запутавшихся в «трех соснах» буржуазного гуманизма, боящихся признать объективную логику жизни, суровую, но неизбежную.

Своим романом Суинглер как бы говорит: гуманистический протест против капиталистического общества естествен и является неизбежной реакцией честной и здоровой человеческой личности против звериной природы капиталистических отношений. Но этот протест недостаточен, малодействен. Только «признав» законность классовой борьбы и чувства активной ненависти против общественного зла, включившись в борьбу на стороне народа, гуманизм становится действенной исторической силой.

Происшествие на озере и переживания Хью и его «противника» Сидди Хагги намечают основные темы романа, получающие дальнейшее свое развитие в судьбе двух главных героев — Рольфа и Сони.

Рольф, сын сельского священника, такой же мечтатель, как Хью. Он не может найти себе места в жизни, где над всем господствует интерес к чистогану, мечется от одной профессии к другой. Он — «лишний человек», как и герой Олдингтона. Подобно Хью, он пытается уйти в «блаженное одиночество», в мирок любви и мечтаний. Но жизнь не дает ему замкнуться в этом

мирке, преподносит наглядные уроки иллюзорности и эгоизма индивидуализма «лишнего человека».

«Хочет он или не хочет», Рольф втягивается в социальную борьбу, развертывающуюся по своей, несколько от него не зависящей логике. Он подвергается избиению группой крестьян, мстящих за выселение семьи Хагги. И вот:

«Рольф был вынужден драться за интересы, о которых он ничего не знал и до которых ему не было никакого дела, но они были интересами того класса, к которому он принадлежал по рождению. В этом простая истина. Нельзя об этом забывать или опровергать это».

Рольф уходит из семьи, рвет с близкой ему средой. Но уединение с любимой женщиной не снимает «киллозорности» его существования:

«Жизнь начинается тогда, когда устраиваешься в обществе... У нас нет своего собственного дома. Мы не участвуем ни в каком деле. Мы, точно боги, едим на спине чужой общины. Но мы ведь не боги. Мы люди, и нам нужна простая человеческая жизнь».

Здесь Суинглер вступает в прямую полемичку с Олдингтоном, герои которого ищут спасения от капитализма в бегстве от жизни, в создании над жизнью иллюзорного мира любви. «Боги», о которых говорит Рольф, напоминают о вступлении к роману Олдингтона — «Все люди враги».

Рольф «переступает» через идеал индивидуальной любви, идя добровольцем на фронт. Здесь, на фронте, по мнению Рольфа, должно, наконец, осуществиться то единение с народом, о котором он давно думает. Здесь он приходит к сознанию о необходимости начать новую, настоящую войну — «войну против системы, порождающей войну». Рольф гибнет во время атаки от пули своего же начальника, за то что он распристрастен среди солдат листовки — «Коммунистический манифест».

Таков обрисованный в романе путь интеллигента от абстрактного гуманизма, от нерешительного социального протеста и неопределенных мечтаний к активной революционной пропаганде, к коммунизму.

Однако нужно сказать, что, несмотря на определенность оптимистического замысла в целом, роман Суинглера оставляет желать много лучшего в отношении ясности и конкретности показа как идеала героя, так и пути, которым он приходит к своим конечным выводам.

Несмотря на глубину и значительность идейного мира героев Суинглера, он еще носит довольно абстрактный характер. Писатель предпочитает оставаться в области чувств, видя в их «косноязычии» залог глубины. И слишком часто он заменяет конкретно-реалистический анализ явления отвлеченными символами, почерпнутыми из области природы и биологии. Совершенно правильно указывает на это автор предисловия к книге, Т. Хмельницкая, приводя, в частности, пример с родами.

Некоторая созерцательность и отвлеченность свойственны всему стилю романа.

Все эти черты, конечно, не случайны и находят свое объяснение в той интимной связи между автором и его героем, которая открывается в романе, несмотря на критическое отношение Суинглера к своему герою.

А. Амстердам

«Владимир Маяковский». Сборник I. Институт Литературы Академии Наук СССР, Изд. Академии Наук СССР, Л., 1940.

Последнее время о Маяковском много пишут, сделано же для изучения его творчества удивительно мало. Выработался целый ряд штампов, связанных с представлением о Маяковском, и штампы эти довольно упорно перекочевывают из одной журнальной статьи в другую. Некоторые статьи отличаются, главным образом, различными комбинациями этих штампов. И очень заметно сказывается отсутствие планомерной и серьезной научно-исследовательской работы.

Сборник Института Литературы Академии Наук СССР, под редакцией А. Л. Дымшица и О. В. Цехновицера, является одной из попыток подойти к творчеству Маяковского более углубленно. Однако попытка эта не во всем удачна.

Сборник состоит из двух частей: исследования и материалы. Нельзя сказать, чтобы темы статей, помещенных в первой части, были малозначительны или неинтересны, но самый подбор тем достаточно случаен. Очевидно, он определен более всего наличием тех или иных авторских заявок или готовых работ. Об этом свидетельствует самый перечень заглавий: «Ранний Маяковский», «Горький и Маяковский», «Маяковский и литература Запада», «Сатира Маяковского», «Поэма Хорошо», «Баня», «Пометки Маяковского на полях сборника «Пролетарские писатели».

Из отдельных произведений Маяковского специальные исследования посвящены двум: поэме «Хорошо» и пьесе «Баня».

Статья М. С. Витенсона о поэме «Хорошо» — обстоятельная и очень добросовестная работа. Об «Октябрьской поэме» Маяковского писали не раз — и об идейном ее содержании, и о специфике ее жанра, и о сатирическом элементе в ней, и об использовании в ней фольклора, и о многом другом. Обо всем этом сказано и в статье Витенсона, однако особенность статьи заключается не в постановке и разрешении этих вопросов.

То новое, что вносит М. С. Витенсон в изучение «Октябрьской поэмы», — это попытка установить непосредственную зависимость поэмы от работ Ленина и Сталина. Не имея документальных материалов, подтверждающих эту мысль, М. С. Витенсон, естественно, ограничивается сопоставлением отдельных мест поэмы с высказываниями Ленина и Сталина.

Самая мысль Витенсона о связи поэмы Маяковского с изучением им работ Ленина и Сталина представляется и правильной и интересной. Однако есть известная опасность в том, как ставит М. С. Витенсон вопрос, известная порочность в том, как понимает он эту связь. Одно дело — говорить, что изучение работ Ленина и Сталина помогло Маяковскому понять те события, которые послужили материалом для его поэмы, но совсем другое — полагать, что Маяковский своей поэмой лишь и иллюстрировал те или иные высказывания Ленина и Сталина. М. С. Витенсон совершенно прав, когда он пишет, что «в произведениях классиков марксизма Маяковский нашел ключ к пониманию событий и характе-

ристику отдельных исторических лиц» (стр. 254), но практически он все время сбивается на трактовку поэмы, как иллюстрации к словам Ленина и Сталина. На стр. 200 Витенсон пишет:

«Маяковский не мог не знать классической работы товарища Сталина по Истории Октябрьской революции, и он дал в главе 2 своей поэмы прекрасную поэтическую иллюстрацию (разрядка моя. — Е. М.) к приветственным словам вождя партии».

«Поэтическая иллюстрация» — это не случайная оговорка: в статье все время проскальзывает именно такое понимание поэмы, и именно поэту М. С. Витенсон старается, с той добросовестностью, которая вообще присуща его работе, что бы то ни стало свести строки Маяковского и даже отдельные выражения его к тем или иным высказываниям Ленина и Сталина, старается во всем подыскать соответствующие места в произведениях классиков марксизма.

Это неизбежно приводит к натяжкам. Так, на стр. 204 читаем: «П. Н. Милюкова Маяковский назвал «уастый нянь», то есть подчеркнул, что Милюков — уже испытанный старый делец буржуазии. Эта характеристика Милюкова прямо восходит к той, которую дал в своих статьях товарищ Сталин. Гучков и Милюков, — писал товарищ Сталин, — «старые дельцы империализма». В другом месте: «старый делец контрреволюции Милюков». Товарищ Сталин писал в «желаниях» «старой лисы русской буржуазии г. Милюкова».

Во всех этих цитатах разрядка принадлежит М. С. Витенсону. Витенсон усиленно подчеркивает в высказываниях Сталина эпитет «старый». Если при этом он имеет в виду не возраст Милюкова, а его опытность, политическую искусственность, то непонятно, почему это является синонимом слова «уастый»; а если речь идет о возрастном признаке, то неужели сведения Маяковского о возрасте Милюкова нужно объяснять обращением поэта к сочинениям Ленина и Сталина?

В статье Витенсона довольно много места отводится вопросу о влияниях, которые отразились на поэме Маяковского. Особое внимание уделяется вопросу о влиянии «Слова о полку Игореве»: «Хотя у нас нет материала, который бы осветил лабораторную сторону этого процесса, — пишет Витенсон, — анализ текста приводит к заключению, что внимание Маяковского привлечен знаменитый певец XII века, неизвестный нам автор «Слова о полку Игореве» — героического эпоса русского народа» (стр. 236).

Однако анализ текста, произведенный М. С. Витенсоном, не подтверждает его мысли. Так, в результате анализа оказывается, что общее у поэмы Маяковского со «Словом о полку Игореве» — деление на 3 части: «вступление, содержание и заключение». Мы, с своей стороны, устанавливаем те же «основные композиционные принципы» для множества других произведений — например, для поэм Пушкина «Руслан и Людмила», «Медный всадник» и т. д., из чего однако стипунд не следует, что они повлияли на «Октябрьскую поэму» Маяковского. Совершенно ясно, что деление произведения на вступление, содержание и заключение — настолько общий признак, что, оперируя им, вообще нельзя ничего доказать.

Таким же неубедительным представляется и сближение «Хорошо» и «Слова о полку Игореве» как «лиро-эпических героических произведе-

■ и не совсем понятное утверждение, что в сборн этих произведениях тема «как обруч опоясывает все части одной вещи» (стр. 238).

Надо сказать, что в статье Витенсона высказан вообще ряд догадок, которые представляются сомнительными. Так, например, сомнительно, что в 2—8 главах поэмы у Маяковского была установка на театр, что слово «хорошо», дважды приписанное Маяковским Блоку, Блоком произнесено не было. Можно, конечно, оспаривать мнение, что название поэмы «Хорошо» полемически направлено против Блока (мнение это было высказано Б. Бурсовым и мной), но нет никаких оснований полагать, что Маяковский произвольно дважды вложил это слово в уста Блока.

Кроме поэмы «Хорошо», отдельная статья посвящена, как сказано, «Бане». Автор статьи, А. В. Февральский, дает детальный анализ пьесы, широко используя черновую рукопись «Бани». Интересный материал представляют собой приведенные в статье отклики на чтение «Бани» на рабочих собраниях и в клубах, а также отклики на постановку «Бани».

Одной из наиболее серьезных работ в сборнике является статья А. И. Метченко «Ранний Маяковский». В статье подробно освещается вопрос о взаимоотношениях Маяковского и футуристов и о преодолении Маяковским своих футуристических иллюзий. Подробно останавливается автор на борьбе футуристов с символистами. Подчеркивая прогрессивную роль эстетического бунта гилейцев, он убедительно показывает, что борьба их против символистов не носила последовательного характера, так как самые принципы их эстетики возникли на почве того же самого буржуазного декаданса.

Любопытны приведенные в статье цитаты из зарубежных книг Д. Бурлюка, проясняющие отношения между ним и Маяковским. Как известно, Маяковский называл Бурлюка своим «учителем». Вряд ли можно принимать эти слова некритически и представлять себе дело так, будто Бурлюк сыграл решающую роль в формировании эстетических воззрений Маяковского. Однако было бы неправильно полностью отрицать влияние Бурлюка. Материалы, которые приводит Метченко, заставляют согласиться с его мнением, что «наиболее формалистски-экспериментальные вещи Маяковского написаны под непосредственным руководством Д. Бурлюка» (стр. 30). Наиболее интересна первая часть статьи Метченко — Маяковский до 1914 года; во второй части больше положений, уже вошедших в литературно-критический обиход; кое-что в этой части статьи вызывает возражения.

Нельзя согласиться с Метченко, когда он отрицает какой бы то ни было индивидуализм и «ячество» у дореволюционного Маяковского (стр. 65). Индивидуализм Маяковского питался другими источниками, чем, скажем, буржуазный индивидуализм декаданса, но наличие его в ранних произведениях Маяковского несомненно. Индивидуализм Маяковского связан с той, в сущности изолированной, позицией, которую занимал Маяковский среди футуристов, с чувством одиночества, которое он испытывал. Недаром после Великой Октябрьской революции, создавая «150.000.000», ощутил свою связь с народом, он настолько увлекся идеей «коллективизма», что предпочел утаить свое авторство, дабы

голос его звучал голосом всего 150-миллионного населения.

В. Д. Дувакин в статье «Сатира Маяковского» ставит перед собой задачу «дать конкретно-исторический обзор сатиры Маяковского, проследить, как менялись ее тематика и проблематика, как, в связи с этим, менялся не только состав сатирических образов Маяковского, но и их художественная структура, то есть осмыслить сатиру Маяковского в плане общего движения Маяковского к реализму и основным идейным проблем его творчества» (стр. 129).

Статья В. Д. Дувакина — серьезная работа, но не случайно сформулировал он свою задачу как обзор сатиры Маяковского: статья носит в достаточной степени обзорный характер, в ней очень много места уделено описаниям. Так, например, детально описаны изображения на плакатах «Окон РОСТА»; удачные наблюдения и правильные мысли тонут среди множества описаний.

Несколько упрощен в статье Дувакина образ дореволюционного Маяковского. Невозможно согласиться с утверждениями, что Маяковский уже в дореволюционное время являлся «подлинно народным поэтом», что ему чужд был пессимизм, что «даже в самое тяжелое для него время, в последний предоктябрьский год, его не покидала уверенность в социальном преобразовании мира» (стр. 238). Маяковского, действительно, никогда не покидала мечта о будущем мире, но пути, ведущие к нему, первоначально были ему не ясны, и самое это будущее не имело для него конкретных очертаний. Потому-то создание гуманистических утопий было вначале единственным путем преобразования мира — отсюда и пессимизм Маяковского в его ранних произведениях. И совсем странно, что в приведенной цитате Дувакин, в применении к предреволюционному периоду, пишет «даже», хотя именно в этот период у Маяковского впервые прозвучала уверенность в наступлении революции.

Статья А. В. Федорова «Маяковский и литература Запада» устанавливает литературные связи Маяковского с новейшей западной поэзией. Вопрос о связи творчества Маяковского с «проклятыми поэтами», с Уитменом, с Берхардом, затрагивался уже не раз. А. В. Федоров вносит в постановку этого вопроса большую осмотрительность, избегая выводов на основании текстовых сопоставлений и оперируя, главным образом, сопоставлением самых принципов творчества.

Н. В. Реформатская в статье «Пометки Маяковского на полях сборника «Пролетарские писатели» приводит ряд интересных материалов, характеризующих отношение Маяковского к творчеству молодых вапповцев. Замечания Маяковского носят в большинстве случаев характер кратких помет, не всегда легко поддающихся расшифровке; тем не менее, все они, вместе взятые, дают любопытный материал для суждения об эстетических взглядах Маяковского.

Среди добросовестных, но несколько тяжелых статей сборника выделяется статья Бялика «Горький и Маяковский», выделяется уже тем, что она очень живо написана. Статья интересна и по содержанию. Правда, основные ее мысли уже были ранее высказаны Бяликом в одноименной статье, помещенной в журнале «Реф» (1939, № 17—18, стр. 18—22), но в

Сборнике Института Литературы они получили значительно более полное развитие и подкрепление новыми материалами.

Интересна и самая постановка вопроса. Оставившись на инциденте, связанном с отзывом Горького о футуристах: «В них что-то есть», Бялик справедливо отделяет отношение Горького к футуристам от отношения его к Маяковскому. Горького в Маяковском больше всего привлекал высокий революционный гуманизм. Сближала их также борьба с декадентским искусством, с субъективистской эстетикой, означавшая одновременно утверждение конкретного земного мира. Основная мысль, проникающая статью Бялика, — это мысль о творческой близости Горького и Маяковского, которую не могли нарушить никакие литературные и личные разногласия.

В общем, отдел «Исследований» производит в целом положительное впечатление. Достоинством всех статей является их бесспорная научная добросовестность, но большинство статей растянуты и скучны. В предисловии к сборнику редакторы предупреждают, что «не все статьи связаны абсолютным единством суждений и оценок», но что это не есть следствие некоторой нерадивости:

«Мы стремились к тому, чтобы публикуемые исследования были спаяны единством научного, марксистско-ленинского метода, но требовать от авторов полного тождества суждений по частным, а иногда и второстепенным вопросам мы не хотели, исходя из уверенности, что истинные суждения по таким вопросам могут родиться только из спора, из столкновения разнообразных мнений».

Со сказанным нельзя не согласиться. Однако авторам помещенных статей вовсе не грозит опасность разногласий; наоборот, можно пожалеть, что в этих статьях слишком много повторений одних и тех же мыслей.

Вторую часть сборника составляют «Материалы»: новые тексты произведений Маяковского, автографы, документы, относящиеся к биографии Маяковского. В числе впервые публикуемых материалов — наброски «Комедии с убийством», задуманной Маяковским в двадцатых годах. Сохранившиеся наброски плана комедии и отдельных сцен очень фрагментарны. В связи с этим, и догадки в примечаниях А. В. Февральского не всегда убедительны.

Несомненный интерес представляет обзор рукописного наследия Маяковского, сделанный Н. В. Реформатской. Обзор включает публикацию некоторых текстов Маяковского и снабжен удачными наблюдениями Н. В. Реформатской над техникой поэтической работы Маяковского. Привлекает к себе внимание план литературного обзора, извлеченный из записной книжки Маяковского 1923 года.

Из публикуемых в Сборнике надписей Маяковского на книгах, подаренных различным лицам, наиболее интересны дарственные надписи Блоку. Примечания Вл. Орлова к этим надписям весьма содержательны и прибавляют новое к пониманию взаимоотношений двух крупнейших поэтов XX века.

Публикация А. И. Жезежеева «История текста трагедии «Владимир Маяковский» представляет сравнение цензурного экземпляра трагедии с окончательным текстом и дает целый ряд ва-

риантов стихов и в особенности авторских редакток.

В целом, отдел «Материалов» составлен продуманно, и подбор материалов не носит того несколько случайного характера, как подбор статей в отделе «Исследований».

Очень удачен выбор иллюстраций, помещенных в книге (неизданные портреты Маяковского, обложки книг с дарственными надписями Маяковского и т. д.).

Е. Макина

С. А. Козин. «Джангариада» (Героическая поэма калмыков). Введение в изучение памятника и перевод торжественной его версии. Изд. АН СССР, 1940.

В сентябре 1940 года народы Советского Союза праздновали пятисотлетний юбилей замечательной калмыцкой эпопеи, получившей в европейской литературе имя «Джангариады» и повествующей о жизни и делах могучего Джангара — повелителя чудесной страны Бумба — и его непобедимой и верной дружине, состоявшей из шести тысяч двенадцати богатырей.

К юбилею был выпущен стихотворный перевод этой героической поэмы, сделанный Семеном Липкиным. Журналы и газеты посвятили юбилею ряд статей, в большинстве случаев весьма трафаретных и поверхностных. Авторам этих работ нельзя отказать в искреннем желании познакомить советскую общественность с поэмой, но отсутствие необходимых материалов значительно ограничило их возможности, помешало им должным образом разобрать и оценить произведение. Научное изучение Джангариады только начинается. Специалистам-востоковедам она известна уже достаточно долгое время, однако до сих пор ничего другого кроме записей ее песен, заметок и отдельных высказываний о ней мы не имеем. Поэтому книга Козина, хотя и представляющая собой только вводный очерк к изучению Джангариады, приобретает огромный интерес.

Особое достоинство рецензируемой книги заключается в том, что автор — не только пылкий исследователь, в совершенстве владеющий языком и материалом, но и человек, вооруженный знанием эпохи и тонко чувствующий живую прелесть стихов. В предисловии к этой книге академики Алексеев и Поппе высказывают глубоко справедливую мысль, реализацию которой отродно было бы найти в каждом научном труде:

«Ученый должен в известной мере сочетаться с художником, и в переводах С. А. Козина мы это с большим удовольствием отмечаем. Он увидел ритм и стих там, где его предшественники на Востоке (в Китае) и на Западе видели лишь примитивное историческое повествование, и сумел передать их в том самом разнообразии ритмов и стихов, в каком они представлены оригиналом. Всякий, кто читал эти оригиналы, может засвидетельствовать, что переводы С. А. Козина решили труднейшую задачу наилучшим образом».

Своему исследованию Джангариады Козин предпосылает «Очерк развития письменностей и литературы монгольских народов (XIII—XVIII ве-

ка)», изобилующий фактическими данными и цитатами из оригинальных источников. Козин знаком читателю с важнейшими вкладами истории ойратского (калмыцкого) народа и подробно останавливается на трех замечательных памятниках монгольской литературы: «Сокровенном сказании» — художественно оформленной хронике 1240 года, несущей в себе зачатки различных литературных жанров, «Пути восхождения к свету» — буддийской философской и лирической поэме и «Изъяснении сердечного покрова» — труде Чойджи-Одзера, закладывающем основы филологической науки.

Начиная исследование Джангариады, автор указывает, что одна из ее песен по замыслу и композиции стоит очень близко к «Сокровенному сказанию», а также к «Исторической песне» — памятнику ойратского эпоса 1587 года, прославляющему патриотический подвиг юноши-ойрата.

В книге Козина много интереснейших, свежих и убедительно аргументированных мыслей, проливающих свет на ряд темных и неясных вопросов.

Одна из важнейших проблем исследования Джангариады — установление времени и места ее создания.

Старое калмыцкое предание, которое приводил еще проф. Бобровников, связывает возникновение поэмы со временем бегства части калмыков с Волги в Джунгарию, на свою первоначальную родину. Калмыки появились у волжских берегов около 1640 года, а во второй половине XVIII столетия, под влиянием многих обстоятельств и прежде всего гнета царского правительства, потянулись со своими кибитками к Алтаю.

Козин выступает решительным противником гипотезы о том, что местом возникновения Джангариады была Волга. Почти все места, которые называет поэма, географически входят в состав Джунгарского государства поры его расцвета. Никаких указаний ни на географию Поволжья, ни на его естественно-исторические особенности поэма не содержит. Анализ языка поэмы, сделанный Козиным с большой тщательностью и эрудицией, также подтверждает мысль автора, что Джангариада была создана на первоначальной родине калмыков — в Джунгарии.

Сложение основного ядра поэмы Козин относит к середине XV столетия, причем указывает, что наиболее древние элементы Джангариады появились даже в начале XIV века, а наиболее поздние — в середине XVIII-го. Старинное калмыцкое предание не теряет своего исторического значения. Козин дает ему лишь новое освещение, чем устраняет кажущееся противоречие. Он утверждает, что в степях Поволжья, среди оставшихся здесь калмыков, поэма «как бы заново родилась», приобрела новые черты и новую тональность. Волжские калмыки вложили в нее всю тоску и боль своей бесправной жизни, страстную жажду освобождения.

«О чем ином, — спрашивает автор, — могли гресть все... по малодушию отставшие от своего народа или покинутые им «на реках Вавилонских», как не о своей старой альпийской родине?... О чем ином, как не о чудодейственно-могучем герое Джангаре, который избавит их из плена и неволи?»

В связи с таким толкованием этого исторического вклада жизни Джангариады возникает вопрос, который Козин почему-то обходит молчанием. Ранее он указывает, что проф. Бобровникову Джангариада представлялась произведе-

нием скорее лирическим, чем эпическим. Не в тому ли, что имевшиеся в его распоряжении записи (Хошеутовская и Багадохуровская) воспроизводили именно тот вариант поэмы, который сложился в «осиротелых степях» и звучал как «песнь печали»?

Очень редко и только мимоходом говорит Козин о влияниях (повидимому, весьма многочисленных) иноземных культур, сказавшихся на Джангариаде. Покойный академик Владимирцов предполагал в ней влияние персидского эпоса и Шах-Намэ, обнаруживал черты героического сказания о Гесер-хане.

Чувствуюсь в Джангариаде и китайские влияния. Так, например, музицирование жены Джангара на «гуслях» очень напоминает строки знаменитого китайского поэта VIII века Бо Цзюйи из поэмы «Лютня», а также изобразительную игру древнего китайского виртуоза Юй Боя.

Очень подробно и с большим знанием дела останавливается Козин на социальной сущности Джангариады. Он справедливо рассматривает ее как поэму о затаянных надеждах и чаяниях народа, стремившегося создать воображаемый идеальный мир:

«Оставаясь в существенном на исторической почве, — говорит автор, — Джангариада оставляет ее и уводит в область фантастической символики тотчас же, когда дело идет о лицах или предметах преходящих, далеких от чаемого идеала».

Джангар чаще всего именуется в поэме «сиротой у времен» (то есть личностью, не связанной с какой-либо определенной эпохой). К имени Джангара нередко приставляется эпитет «бессмертный, которому вечно 20 лет». В этих эпитетах заложен глубокий смысл: Джангар — символ всего калмыцкого народа, он вечно юн и бессмертен, как бессмертен создавший его народ. Джангарчи (певцы-сказители Джангариады), по объяснению Козина, прославляли не какого-нибудь исторически известного хана, а воспевали «идеального народного вождя, способного творить чудеса силой богатых народа».

Своим анализом Джангариады Козин блестяще подтверждает высказанное некоторыми другими авторами мнение о том, что войны Джангара и его богатырей с иноземными врагами родины, «заслоняющими солнце народу», мыслятся исключительно как войны оборонительные и освободительные, лишенные агрессивных замыслов. Когда любимец Джангара, богатырь Хангор-Альый Лев, появляется во вражьем стане, он тотчас становится своим для народных масс чужой национальности, их освободителем от гнета и прозвонит вола господ, толкающих народ на несправедливые завоевательные битвы. Все это делает Джангариаду подлинно народным национальным произведением, зеркалом, отражающим доблесть, благородство, высокие идеалы калмыцкого народа.

С. А. Козин продолжает свою плодотворную работу над Джангариадой, подготавливая издание всех имеющихся текстов поэмы и полный перевод ее на русский язык. Читатель, познакомившийся с рецензируемой книгой, с нетерпением будет ждать появления других работ Козина, которые, несомненно, представят глубокий интерес не только для специалистов-монголоведов, но и для широких кругов советской общественности.

Вл. Рудман

Судьба знаменитого негритянского трагика, «черного Росция», как называли его в Америке, сложилась неожиданно и странно. Изгнанный со своей американской родины, он становится широко популярным на европейском континенте. Его творчество, несомненно, оставило глубокие следы и в германской театральной культуре и особенно в театральной культуре нашей страны. Последние восемь лет своей жизни (1859—1867) Олдридж провел преимущественно в России. Он похоронен в Лодзи, на территории тогдашней Российской империи. Он объездил всю русскую провинцию. Не было города со сколько-нибудь приличным театральным зданием, не было кружной ярмарки, где он не побывал бы во время своих странствований.

И всюду Олдридж выступал неустанным пропагандистом великого шекспировского творчества. Для знакомства с Шекспиром, особенно в русской провинции, Олдридж сделал немало. Именно после гастролей Олдриджа Шекспир занял достойное место в репертуаре провинциальных театров. И в этом — большая культурная роль спектаклей Олдриджа. Недаром его восторженно приветствовали широкие круги русской интеллигенции. Олдридж дружил с Тарасом Шевченко. Об Олдридже, исключительно высоко оценивая его дарование, писали А. Писемский и И. Панзев, М. Погодин, В. Стасов. У Олдриджа учились корифеи как московской, так и петербургской русской сцены. Все это говорит о том, насколько значительным художественным явлением было творчество знаменитого негритянского трагика и какое большое влияние он оказал на русский театр.

Книга С. Дурылина является первым опытом научного театроведческого изучения творчества Олдриджа. Об Олдридже, правда, существовала сравнительно большая литература на английском и немецком языках. Но это были либо полурекламные проспекты, либо популярные биографии, иногда роскошно изданные. Творчество замечательного художника в них рассматривалось как некое «экзотическое чудо» — и только. Между тем, творчество Олдриджа имело, несомненно, большое общественное значение.

В этом смысле первые главы книги С. Дурылина представляют особый интерес. Об американском и английском периодах творческой работы Олдриджа мы знаем немного. Начало славы Олдриджа относится к концу сороковых годов, когда в Америке начал ставиться вопрос об освобождении миллионов черных рабов. Сторонники рабства утверждали, что негр является существом низшим и что европейская художественная культура для него недоступна. И вот в эти годы начинающейся борьбы за освобождение негров на американской сцене появляется великий черный актер, с огромным успехом выступающий в произведениях Шекспира и Шиллера.

Виднейшие американские критики и журналисты готовы признать его величайшим актером Нового Света. Творческая работа Олдриджа являлась наглядным опровержением тезисов рабовладельцев о неполноценности негритянской расы. И недаром против Олдриджа ведется ожесточенная борьба, борьба политическая. Рабовладельцы

готовы были еще допустить его успехи в специальных маленьких театрах, рассчитанных на негритянскую аудиторию. Но первые успехи Олдриджа на большой сцене, перед белыми зрителями, вызывают травлю замечательного художника. Антрепренеры, принужденные считаться с этим буржуазным «общественным мнением», закрывают перед ним двери своих театров. И Олдридж, после ожесточенной борьбы, принужден переехать в Англию. Впрочем и в Англии повторяется почти та же картина.

Здесь негритянский трагик пользуется огромным успехом в английской провинции. Особенно триумфальны его выступления в ирландской столице Дублин. Повидному, здесь сказывалось своеобразное сочувствие угнетенных ирландцев к представителю другой угнетенной национальности. Но двери лондонских театров долго еще оставались закрытыми для негра, и только когда негритянский трагик начинает пользоваться огромной популярностью на Британских островах, отдельные директора лондонских театров приглашают Олдриджа, но приглашают с опаской, на свой страх и риск.

Характерно, что часть английской консервативной прессы продолжает травить Олдриджа. Выступления негритянского трагика рассматриваются этой последней как «оскорбление Шекспира».

И только несколько позже, уже на европейском континенте, Олдриджа безоговорочно признают. Избрание знаменитого трагика почетным членом Прусской и Венгерской академий знаменовало признание огромного культурного значения его творчества. Из Германии, где Олдридж пользовался исключительной популярностью, он попадает в Ригу, а затем в Петербург. Здесь, в России, трагик находит аудиторию особенно отзывчивую, особенно ценящую его дарование. И недаром Олдридж любил русского зрителя. В России он провел последние годы своей жизни.

В России он впервые появляется в 1853 году. Недавно окончилась Севастопольская война. На очереди стоял вопрос об обновлении всего русского государства, об изменении общественного уклада, в частности об освобождении миллионов белых рабов. При этих условиях огромный успех негритянского трагика воспринимали своеобразно. Его триумфы являлись особой формой агитации за освобождение русских крепостных. Так воспринимали творчество Олдриджа представители различных слоев русского общества. Эта тема как бы читается между строк во многих отзывах об его игре, в том числе в статьях И. Панаева, напечатанных в «Современнике». И недаром в этих статьях много говорится о рабстве негров, и под неграми здесь, пожалуй, подразумевается русское крепостное крестьянство. Во всяком случае, как бы подчеркиваются некоторые общие черты в судьбе негритянских рабов и русских крепостных.

Вот почему так нежно относился к Олдриджу Тарас Шевченко, почувствовавший в жизни и творчестве великого негритянского трагика что-то близкое, родственное, и так восторженно приветствовал его М. Щепкин, великий русский актер, вышедший из крепостных и испытавший весь гнет «рабского состояния».

Крепостники пытались выступать против Олдриджа, доказывать, что его искусство было изменным, грубым. Но эти отдельные суждения топились в хоре почитателей негритянского трагика.

С. Дурылин рассказывает о том, как Олдридж объехал всю Россию, как он побывал в таких медвежьих углах, где не показывались никогда русские театральные знаменитости. Можно сказать, что Олдридж познакомил русскую провинцию с сценическим воплощением Шекспира, причем в образцовом исполнении. Огромной была культурная роль этих гастролей Олдриджа. Эту часть творческой биографии негритянского художника С. Дурылин сумел хорошо осветить и интересно рассказать о ней читателю.

Более спорно обстоит дело, как нам кажется, с театроведческим анализом творчества Олдриджа. С. Дурылин подробно останавливается на основных ролях Олдриджа, на его воплощении Лира, Шейлока, Макбета, Отелло, наконец на его исполнении комической роли слуги-негра Муни в водевиле Бикорстаффа «Висячий замок».

Особенно подробно рассказано в книге об исполнении Олдриджем роли Отелло. Здесь показано, как в образе Отелло Олдридж по-своему раскрывает близкую ему тему национального и расового угнетения. Интересно отметить, что отдельные детали в исполнении Олдриджем этой роли нам кажутся близкими к замечательной передаче образа Отелло советским актером А. Остужевым. Здесь нет, конечно, непосредственного подражания, но это, пожалуй, показывает, насколько сильны традиции игры Олдриджа может быть даже сейчас в нашем советском театре.

Только нам кажется, напрасно С. Дурылин, рассматривая игру Олдриджа, все время упорно старается доказать, что Олдридж является законченным актером-реалистом. Это, конечно, не совсем верно. Творчество Олдриджа, несомненно, близко к игре американских и английских трагиков начала и середины прошлого века. Здесь были и пафос и бурное кипение страстей, здесь чувствовалась подлинная, высокая романтика. Именно это восторгало и потрясало зрителя.

С. Дурылин напрасно считает, что игра Олдриджа почти ничем не отличалась от творчества актеров реалистической школы Малого и отчасти Александринского театров. В игре Олдриджа были, несомненно, реалистические элементы, но в основном это все же была возвышенная трагическая игра.

Характерно, что русские критики того времени резко противопоставляли игру Олдриджа в роли Лира исполнению той же роли В. Самойловым, который пытался истолковать короля Лира несколько упрощенно, подчас натуралистически, и упорно подчеркивал «клинические» элементы в изображении безумия. Это не помешало впрочем Олдриджу дать восторженную оценку игры русского актера в смысле ее психологической верности (напрасно С. Дурылин забыл об этом единственном отзыве самого Олдриджа об игре русского актера).

Кстати сказать, напрасно С. Дурылин не пытается раскрыть истоки художественного творчества Олдриджа. На него, несомненно, оказали большое влияние английские и американские трагики, его современники. С. Дурылин почти обошел этот вопрос, который в свое время, правда, вскользь ставился в немецкой театроведческой литературе. В частности, Олдридж, повидимому, серьезно учился у Эдмунда Кина (который тоже был великим мастером и вдохновенным художником, а не только «гулякой праздным», как он изображен в мелодраме А. Дюма).

В свою очередь, влияние Олдриджа на русских актеров было, несомненно, значительным. Однако нам кажется, что он больше всего и прежде всего влиял на провинциальных трагиков, которые, вслед за ним и в подражание ему, стали нести в глухую русскую провинцию великое шекспировское слово. В этом смысле очень интересны приводимые в книге отрывки из неизданных записок известного провинциального трагика В. Чарского. Огромное впрочем впечатление производило мастерство Олдриджа и на крупных мастеров русской сцены, что зафиксировано в записках П. Стрепетовой, Г. Федотовой, В. Давыдова.

Несомненно, для роста художественной культуры русского актерства спектакли Олдриджа имели огромное значение. Но вряд ли нужно делать выводы слишком прямолинейные. Так, С. Дурылин считает, что, под впечатлением игры Олдриджа, А. Мартынов перешел к драматическим ролям. Это нам кажется неверным. Драматические черты в даровании гениального петербургского актера стали явственно раскрываться еще до того, как Олдридж впервые появляется в России.

Желая показать несомненное значение Олдриджа для роста культуры русского актера, С. Дурылин иногда прибегает к ненужным преувеличениям. И все же его книга, несмотря на отдельные ее недостатки, интересна и ценна: она показывает замечательный творческий облик негритянского трагика, связавшего свою жизнь с великой художественной культурой русского народа. Именно в России полностью раскрылось трагическое дарование Олдриджа. Россия оказалась его второй родиной.

И. Березарк

О. Лясковская. «Карл Брюллов». Гос. изд. «Искусство», М.-Л., 1940.

Один из виднейших мастеров XIX века, художник, стяжавший неслыханный успех у своих современников, до сих пор не удостоился монографии, которая могла бы опровергнуть ошибочные и пристрастные суждения о нем, разбросанные в различных довольно устарелых критических статьях. В свое время Брюллов был, как известно, развенчан сначала В. В. Стасовым, затем, — с других позиций, но не менее решительно, — А. Н. Бенуа.

Работа О. Лясковской пытается дать анализ творчества Брюллова, выяснить характерные особенности его мастерства. Нельзя сказать, что эта попытка совсем не удалась автору. О. Лясковская использовала большой материал, связанный с Брюлловым, изучила всю (или почти всю) литературу о нем. Однако этого еще недостаточно для того, чтобы воссоздать живой, убедительный образ художника. «Повесть» о Брюллове, написанная Лясковской, производит впечатление раздробленности и разрозненности. Это как бы мозаика, старательно составленная на основе обширной картотеки выписок, отзывов, справок и цитат. Все детали книги как будто вполне уместны и бесспорны, но целое лишено стройности и выразительности.

В книге девять глав, но разделение на главы не имеет конструктивного оправдания. Биографические сведения переплетаются с критическими

замечаниями, постоянно перебивая друг друга: в этом потоке трудно уловить сколько-нибудь четкую периодизацию творчества Брюллова.

Не вполне удовлетворяет нас и критический анализ художественного наследия Брюллова. Что следовало бы выяснить в первую очередь? — Место и роль Брюллова в русском искусстве и его связь с искусством западноевропейским. Это можно было бы сделать, в частности, при разборе его капитальнойшей картины «Гибель Помпеи» (Последний день Помпеи).

Ляскова очень подробно останавливается на истории создания этой прославленной картины, на ее композиции, причем упускает из виду те явные реминисценции (главным образом композиционные), которые позволяют усмотреть в творчестве Брюллова косвенное воздействие ватиканских фресок Рафаэля (особенно «Пожара в Борго»). Нет в книге и анализа того влияния, которое оказала на замысел Брюллова постановка оперы Паччини «Последний день Помпеи» в миланском театре La Scala. Об этом сказано вскользь (стр. 42): «Между прочим (!), следует отметить, что опера Паччини того же содержания (?), под влиянием которой К. Брюллово будто бы и задумал свою картину, появилась на сцене в 1829 году». Если бы, «между прочим», О. Ляскова познакомилась с имеющимся в библиотеке Гос. Эрмитажа гравированным эскизом декорации Санквирико к упомянутой опере Паччини, она смогла бы сделать довольно определенный вывод о значении работы миланского декоратора для замысла Брюллова.

В чем значение художественного наследия Брюллова для советского искусства? Этот вопрос, казалось бы, требует вразумительного ответа. Ляскова не обходит его, но высказывается слишком кратко и крайне невнятно. Ссылаясь на «интерес к прекрасному человеческому телу» и на «законы, которые заставляют видеть при известных условиях пластическую полноту объема на открытом воздухе не только не уничтоженной, но как бы подчеркнутой» (эти законы, по мнению автора, «намечались» в живописи Брюллова), Ляскова упоминает о киносьемках, которые «показывают, что физкультурный парад в СССР нельзя написать импрессионистически», а «надо владеть и пластикой и ритмом». «Поэтому, — говорит автор, — мы думаем, что изучать мастерство К. Брюллова, рисовальщика и живописца было бы полезно советским художникам».

Это туманное рассуждение нельзя считать ни постановкой, ни тем более решением затронутой проблемы.

Некоторые параллели, едва намеченные автором, следовало бы развить и углубить, например: Брюллово и Делакруа, Брюллово и Энгр.

Придирчивому читателю могут не понравиться

некоторые бессодержательные формулировки. Очень нравится автору, когда что-нибудь «вибрирует»: «кожа вибрирует в свету» (стр. 126), «страдая толпа расплывается в воздухе и вибрирует в свету» (стр. 133). Всякому свое: толпа вибрирует, а кн. Салтыкова «сидит напряженно и даже не мечтает, а чего-то ждет. Чего она ждет — неизвестно» (по мнению О. Лясковской, «какого-то сказочного происшествия»). «Поэза ее неловка» (что явствует из напряженности, ранее отмеченной), но, оказывается, «ключом к пониманию картины» служит «рама с причудливо переплетающимися виноградными лозами, животными и птицами» (стр. 100). Поистине, есть что-то напряженно-неловкое и в этом описании и в смелом предположении, что рама может служить ключом к идее картины.

Вместо подобных размышлений можно было поставить вопрос о созданном Брюлловым женском типе, о брюлловском критерии женской красоты, в котором отразились, в сущности, эстетические вкусы пушкинской эпохи.

Слабо освещены в книге формальные и технические особенности рисунков и акварелей Брюллова. Между тем, для верного понимания творческой личности художника очень важен анализ его графического и живописного «почерка».

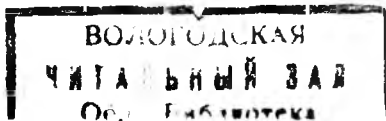
В конце монографии даны списки произведений К. П. Брюллова и литературы о нем. Оба списка не совсем полны. Автору осталась неизвестным ряд произведений Брюллова, находящихся в частных собраниях (напр., в собрании проф. В. И. Павлова, проф. В. А. Десницкого, П. Г. Иванова и др.), и ряд статей, связанных с Брюлловым.

Выбор репродукций, в общем, довольно удачен, некоторые из них (напр., фототипии) исполнены неплохо, но удивляет полнейшее отсутствие красочных воспроизведений. Можно ли пренебречь ими в книге о таком колористе, как Брюллово?

Обнаружив большую щедрость при репродукции набросков к «Гибели Помпеи», автор не воспроизвел несколько значительных работ Брюллова, о которых в книге идет речь; таковы, например, блестящий портрет Гагариной с сыновьями (написанный в Гротта Ферраре), частично неоконченный, но замечательный портрет красавицы Меллер-Закомельской с дочерью в лодке (с Брюлловым на веслах), находящийся в Русском музее, и др.

Недостатки и пробелы, имеющиеся в работе О. Лясковской, не мешают нам признать за ней известное значение: она являет собою некую «кодификацию» существующих сведений о Брюллове и в этом смысле может быть признана полезным (хотя и мало оригинальным) вкладом в нашу искусствоведческую литературу.

Э. Голлербах



Редакционная коллегия: И. А. ГРУЗДЕВ, В. А. КАВЕРИН, П. И. КАПИЦА, В. А. ЛАВРЕНЕВ, Н. В. ЛЕСЮЧЕВСКИЙ, М. А. СЛОНИМСКИЙ, Н. С. ТИХОНОВ

Год издания 18-й. Подписано к печати 23 IV 1941 г. М44932. Тираж 2000 экз. Авг. л. Пет. л. 11^{1/2}. Тип. экз. на 1 печ. л. 78000. Заказ № 1012.

Набрано и отпечатано в тип. № 1 Управления издательства и полиграфии Исполкома Ленгорсовета, Ленинград, Социалистич., 14.